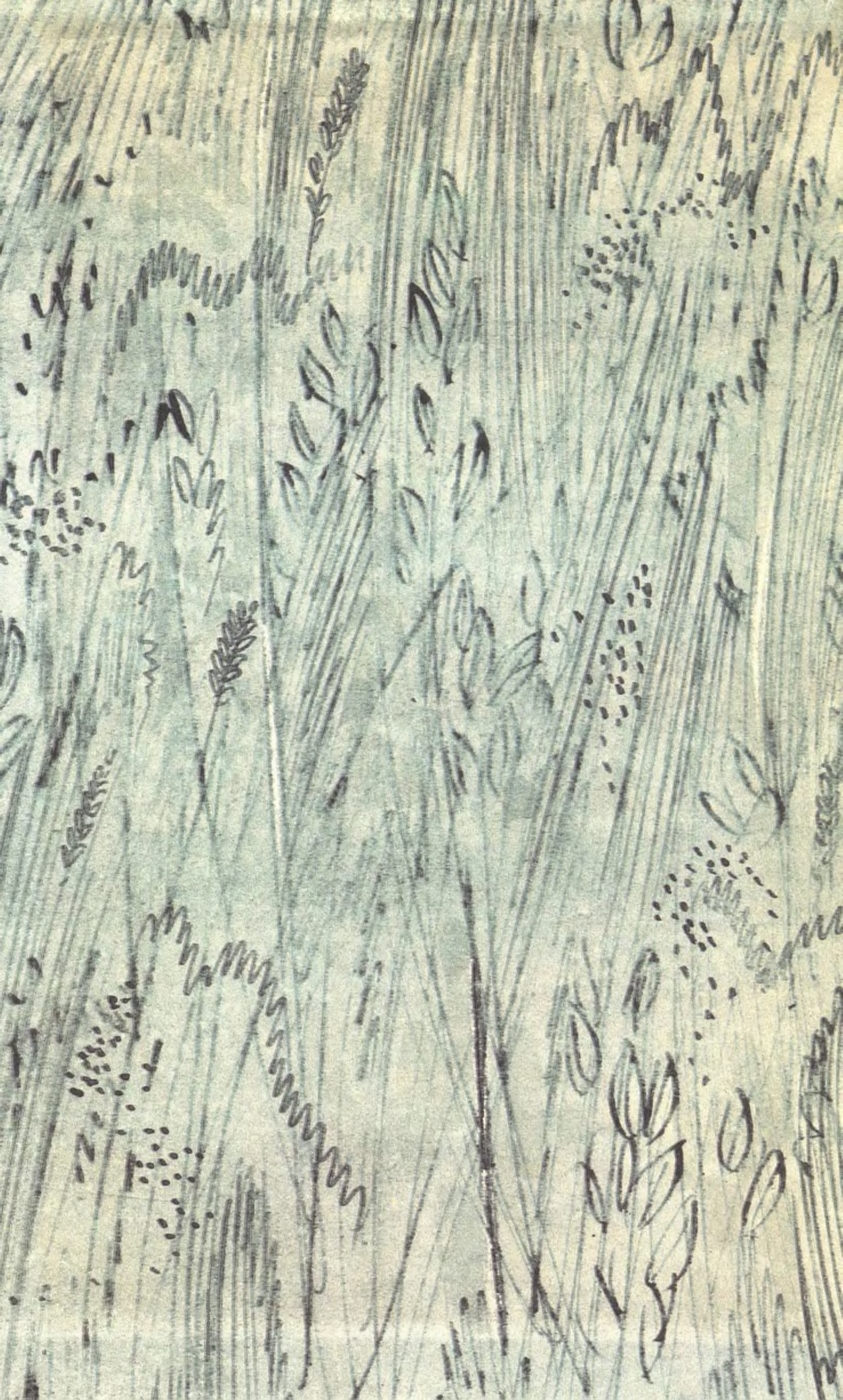
ЕВГЕНИЙ НОСОВ

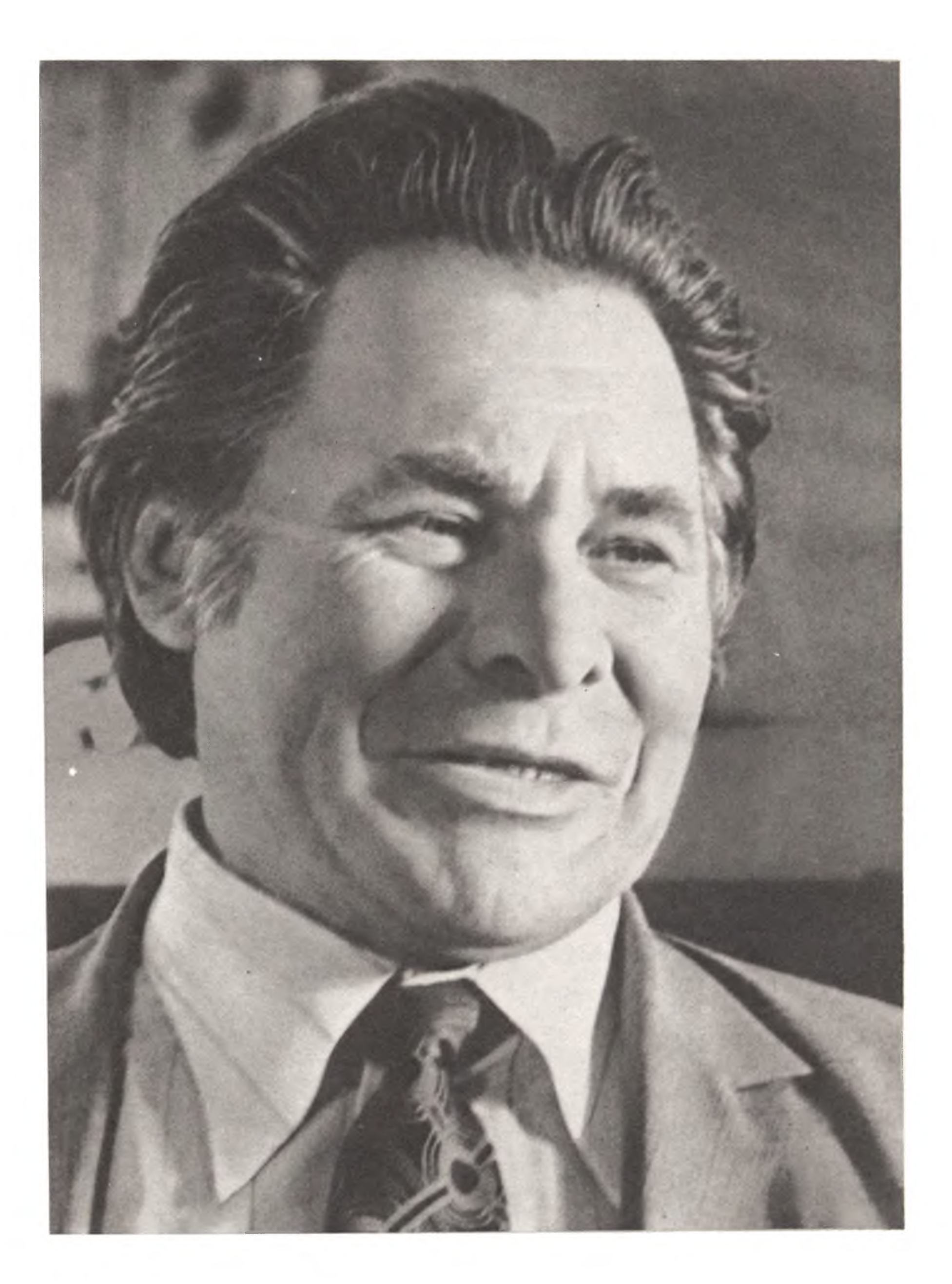
УСВЯТСКИЕ ШЛЕМОНОСЦЫ

УСВЯТСКИЕ ШЛЕМОНОСЦЫ



ЕВГЕНИЙ НОСОВ

УСВЯТСКИЕ ШЛЕМОНОСЦЫ



УСВЯТСКИЕ ШЛЕМОНОСЦЫ

ПОВЕСТЬ, РАССКАЗЫ

МОСКВА
СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
1986

ЮЮК 84.Р7

Н84

Художник *Борис МАРКЕВИЧ*

Н $\frac{4702010200-123}{083(02)-86}$ 97—85

УСВЯТСКИЕ ШЛЕМОНОСЦЫ

ПОВЕСТЬ

И по Русской земле тогда
Редко пахари перекликалися,
Но часто граяли враны.

«СЛОВО О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ»

---

*

1

В лето, как быть тому, Касьян косил с усвятскими мужиками сено. Солнце едва только выстоялось по-над лесом, а Касьян уже успел навихлять плечо щедрой тяжестью. Под переменными дождями в тот год вымахали луга по самую опояску, рад бы поспешить, да коса не давала шагнуть, захлебывалась травой. В тридцать шесть годов от роду силенок не занимать, самое спелое, золотое мужицкое времечко, а вот поди ж ты: как ни тужься, а без остановки, без роздыху и одну прокошину нынче Касьяну одолеть никак не удавалось — стена, а не трава! Уже в который раз принимался он монтачить, вострить жало обливным камушком на деревянной рукоятке. По утренней росе с парным сонным туманцем ловкая обношенная коса не дюже-то и тупилась, но при народе не было другого повода перемочь разведенное плечо, кроме как позвякать оселком, туда-сюда пройтись по звонкому

полотну. А заодно оглянуться на чистую свою работу и еще раз поудивляться: экие нынче непроворотные травы! И колхоз, и мужики с кормами будут аж по самую новину, а то и на другой год перейдет запасец.

Вышли хотя и всей бригадой, но кусты и облесья не позволяли встать всем в один ряд, и порешили косить каждый сам по себе, кто сколько наваляет, а потом уж обмерить в копнах и определить сдельщину. Посчитали, что так даже спорее и выгоднее.

Радуясь погожему утру, выпавшей удаче и самой косьбе, Касьян в эти минутные остановки со счастливым прищуром озирал и остальной белый свет: сызмальства утешную речку Остомлю, помеченную на всем своем несмелом, увертливом бегу прибрежными лозняками, столешную гладь лугов на той стороне, свою деревеньку Усвяты на дальнем взгорье, уже затеплившуюся избами под ранним червонным солнцем, и тоненькую свечечку колокольни, розово и невесомо сиявшую в стороне над хлебами, в соседнем селе, отсюда не видном, — в Верхних Ставцах.

Это глядеть о правую руку. А ежели об левую, то виделась сторона необжитая, не во всяк день хоженная — заливное буйное займище, непролазная повительная чащоба в сладком дурмане калины, в неуемном птичьем посвисте и пощелке. Укромные тропы и лазы, обходя затравенелые, кочкарные топи, выводили к потаенным старицам, никому во всем людском мире не известным, кроме одних только усвятцев, где и сами, чего-то боясь, опасливо озираясь на вековые дуплистые ветлы в космах сухой куги, с вороватой поспешностью ставили плетеные кубари на отливавшую бронзой озерную рыбу, промышляли колодным медом, дикой смородиной и всяким снадобным зельем.

Еще с самой зыбки каждого усвятца стращают уремой, нечистой обителью, а Касьян и до сих пор помнит обрывки бабкиной присказки:

Как у сгинь-болота жили три змеи:
Как одна змея закликуха,
Как вторая змея заползуха,
Как третья змея веретенка...

Но выбирались пацаны из зыбок, и, вопреки всяким присказкам, никуда не тянуло их так неудержимо, как в страховитую урему, что делалась для них неким чистилищем, испытанием крепости духа. А став на ноги, на всю жизнь сохраняли в себе уважение к дикому чернолесью. И кажется, лиши усвятцев этого никчемного, бросового закоулка их земли, и многое отпало бы от их жизни, многое потерялось бы безвозвратно и невосполнимо. Что ни говори, а даже и теперь, при тракторах и самолетах, любит русский человек, чтобы поблизости от его жилья непременно было вот такое занятное место, окутанное побасками, о котором хочется говорить шепотком...

Займище окаймлял по суходолу, по материковому краю си-

вый от тумана лес, невесть где кончавшийся, за которым, признаться, Касьян ни разу не был: значилась там другая земля, иная округа со своими жителями и со своим начальством, ездить туда было не принято, незачем, да и не с руки. Так что весь мир, вся Касьянова вселенная, где он обитал и никогда не испытывал тесноты и скуки, почитай, описывалась горизонтом с полдюжиной деревень в этом круге. Лишь изредка, в межсезонье, выбирался он за привычную черту, наведывался в районный городок приглядеть то ли новую косу, то ли бутылку дегтя на сапоги, лампового стекла или сменить поизносившийся картуз.

Куда текла-бежала Остомля-река, далеко ли от края России стояли его Усвяты и досягаем ли вообще предел русской земли, толком он не знал, да, поди, и сам Прошка-председатель тоже того не ведал. Усвятский колхоз по теперешним отмерам невелик был, кроме плугов да телег, никакой прочей техники не имел, так что Прошка-председатель, сам местный мужик, не ахти какой прыщ, чтобы все знать.

Правда, знал Касьян, что ежели поехать лесом и миновать его, то сперва будут Ливны, а за Ливнами через столько-то дён объявится и сама Москва. А по тому вон полевому шляху должен стоять Козлов-город, по-за которым невесть что еще. А ежели поехать мимо церкви да потом прямки, прямки, никуда не сворачивая, то на третьем или четвертом дне покажется Воронеж, а уж за ним, сказывали, начинаются хохлы...

Была, однако, у Касьяна в году одна тысяча девятьсот двадцать седьмом большая отлучка из дому: призывался он на действительную службу. Трое суток волокся состав, и все по неоглядной желтеющей поздним жнивьем земле, пока не привезли его к месту назначения. Попал он в кавалерийскую часть, выдали шашку с винтовкой, но за все время службы ему не часто доводилось палить из нее и махать шашкой, поскольку определили его в полковые фуражиры, где ничего этого не требовалось. А было его обязанностью раздавать поэскадронно прессованные тюки, мерить ведрами пыльный овес, а в летнее время вместе с выделенными нарядами косить и скирдовать военхозовское сено. За тем делом и прошла вся его служба, ничего такого особенного не успел повидать, даже самого Мурома, через который и туда, и обратно проехали ночью. И хотя в Муроме и останавливались оба раза, но эшелон был затиснут между другими составами, так что когда Касьян высунулся было из узкого теплушечного оконца, то ничего не увидел, кроме вагонов и станционных фонарей, застивших собой все остальное.

Больше всего запомнилась ему дорога, особенно обратная, когда не терпелось поскорее попасть домой, а поезд все не спешил, подолгу стоял на каких-то полустанках, потом опять принимался постукивать колесами, и окрест, в обе стороны от полотна, простирались пашни и деревеньки, бродил по лугам скот, ехали куда-то мужики на подводах, кричали и махали поезду

такие же, как и везде, босые, в неладной обношенной одежде белоголовые ребятишки... Тогда-то и запало Касьяну, что нет ей конца и краю, русской земле.

Случалось, на старых бревнах говаривали бывалые старики про разные земли, кому где довелось побывать или про то слышать, и вот в такие вечера Касьян, отрешаясь от своих дел и забот, вспоминал, что, кроме русской земли, есть еще где-то и иные народы, о которых на другой день при солнечном свете сразу же и забывалось и больше не помнилось. И если бы теперь оторвать Касьяна от косьбы и спросить, в какой стороне должны быть, к примеру, китайцы и в какой турки, — Касьян досадливо б отмахнулся: «Делать, что ли, окромя нечего, как думать про это». И опять с размашистой звенью принялся бы ходить косой.

За три года солдатчины Касьян попривык к сапогам и, вернувшись, больше не носил лаптей, но всегда плел свежую пару к петрову дню, к покосам. И теперь, обутый в новые невесомые лапотки, обшорканные о травяную стерню до восковой желтизны и глянцевитости, с легкой радостью в ногах притопывал за косой, выпростав из штанов свежую выстиранную косоворотку. Да и все его крепкое и ладное тело, взбодренное утренней колкой свежестью, ощущением воли, лугового простора, неспешным возгоранием долгого погожего дня, азартно возбужденное праздничной работой, коей всегда считалась исконно желанная сенокосная пора, ожидаемая пуще самих хлебных зажинков, — каждый мускул, каждая жилка, даже поднывающее натруженное плечо сочились этой радостью и нетерпеливым желанием черт знает чего перевернуть и наворочать.

Солнце тем временем вон как оторвалось от леса, кругов этак на пятнадцать, поменело, налилось белой каленой ярью. Глядит Касьян: забродили мужички, один за другим потянулись кто к припасенным кувшинам, кто к лесным бочажкам. Касьян и сам все чаще задирал подол рубахи, чтобы обтереть пот, сочившийся сквозь брови, едуче заливавший глаза. И вот уже и он не выдержал, торчком занозил косье в землю и, на ходу стаскивая мокрую липучую рубаху, побрел к недалекой горушке, из-под которой, таясь в лопушистом копытнике, бил светлый бормотун-ключик. Разгорнув лопушье и припав на четвереньки, Касьян то принимался хватать обжигающую струйку, упруго хлеставшую из травяной дудочки, из обрезка борщевня, то подставлял под нее шершавое, в рыжеватой поросли лицо и даже пытался подсунуть под дудку макушку, а утолив жажду, пригоршнями наплескал себе на спину и, замерев, невольно перестав дышать, перемогая остуду, остро прорезавшую тело между сдвинутых вместе лопаток, мученически стонал, гудел всем напряженным нутром, стоя, как зверь, на четвереньках у подножия горушки. И было потом радостно и обновленно сидеть нагишом на теплом бугре, неспешно ладить самокрутку и так же неспешно поглядывать по сторонам.

Отсюда хорошо были видны сенокосное угодье и все косцы, человек двадцать, тут и там мелькавшие рубахи меж кустов и куртин, аккуратно обкошенных и четко выделявшихся темной зеленью на свежей стерне. Трав свалили уже порядком, впору раздергивать валки, выстилать на просушку, вон и ветерок заиграл, заполоскал листвой, и Касьян, застясь от встречного солнца, поглядел в сторону села, не идут ли на подмогу бабы. По уговору им отпущено время управиться по дому, но чтобы часам к одиннадцати быть на покосе.

Бабы, и верно, уже бежали. Касьян сперва не приметил их среди ряби рассыпавшихся по выгону коров. Но вот от стада отделился пестрый рой и покатился, покатился лугом. Уже и белые платки стало видать, и щетинка граблей замаячила над головами, а скоро и бабья галдеца донеслась до слуха. Спешат, судачат крикливо на весь луг, а за торопкой этой ватажкой — хвост ребятни, мал мала меньше. Упросились-таки, пострелята, выголосили себе приключение. Да и какому мальцу охота сидеть в опустевшей деревне, когда приспел сенокос, когда неудержимо тянет к себе парной теплынью речка Остомля, а займище полно земляники и всякой лесной и луговой забавы — цветов, стрекоз и птах.

Правда, Касьян не велел появляться своей Натахе: на восьмом месяце ходила она уже третьим младенцем. Так что не очень-то перебирал глазами баб, не искал свою с узелком покосных гостинцев, какие всегда было заведено носить в луга об эту пору. С вечера сам собрал себе торбочку: отрезал ломоть сала, сунул горбушку крутого, недельного хлеба, тройку яиц, уже по-темному нащипал в огороде перышек молодого лука да заправил кисет жменей табаку, всего-то и надо — раз присесть, перекусить одному накоротке. Но когда бабы уже бежали зыбким, в две тесины, мостком через Остомлю, растянулись по нему, все видные до единой, вдруг высмотрел Касьян и свою Натаху. Вон она: мелькает белыми шерстяными носками в легких чуньках, белый узелок в руке, в другой руке грабли, а живот выше мостковых перилец. По животу, по кургузой фигуре и узнал свою. Сергунок с Митюнькой следом. Сергунок, старшенький, восьми годов, смело бежит впереди по лавам, хворостинкой играючи постукивает по встречным столбикам. А Митюнька, белоголовенький, как луговой молошник, за мамкин подол держится, видать, высоты боится. Третий годочек пошел только, впервой ему и мосток этот, и сама Остомля, и вся дорога в займище. Все ж молодец парнишка: три версты от дому своим ходом пробежал, мать-то уж наверняка не пособляла, на руки не брала. Вон как пыхкает, куда бежит такая, дурья голова, мало ли чего с ее положением... Ох и упорна, все по-своему повернет — говори не говори... Побранил Касьян Натаху за своенравие, а у самого меж тем при виде ее полыхнуло по душе теплом, мужицкой гордостью: пришла-таки!

Работать, конечно, он ей не дозволит, пусть под кустом с ре-

бятами посидит, в кои-то разы поваляется на воле, какая с нее помощница, но зато, как и другие, всей семьей вместе будут. И Касьян, отшвырнув цигарку, крупно пошагал, почти побежал навстречу, на ходу напяливая обсохшую рубаху.

— Папка! Папка-а! — уже горланил и мчался, завидев Касьяна, старшой, и его колени дробно строчили, вымелькивали среди ромашек и колокольцев. — Папка! Мы пришли-и!

Митюнька тоже кинулся бежать к отцу, но не одолел травы, запутался, плюхнулся ничком, канул с головой, будто в бочаг, завопив горласто, басовито. Касьян отыскал по реву, цапнул пятерней за рубашонку, подкинул враз оторопело примолкшего парнишку, по-лягушачьи растопырившего кривулистые ножки, и, поймав на лету, сунулся колючим подбородком в мягкий живот. От этого прикосновения к сынишке уже в который раз за сегодняшнее утро все в нем вскипело буйной и пьяной радостью, и он, вжимаясь щекой в сдобное, пахучее тельце, утратил дар речи и лишь утробно стонал, всей грудью выдыхая нечто лесное, медвежье: «мвав! мвав!», как тогда, под струями родникового ключа. Митюнька же, позабыв свои минутные слезы, счастливо закатился от щекотки, немощно отпихиваясь обеими ручками от горячей кудлатой головы, пинал ножонками в грудь, в лицо, хватал отца за уши. А когда тот насытился лаской, мальчонка тут же, как ни в чем не бывало, цепко, привычным манером обхватил крутую Касьянову шею и завертел белой одуванчиковой головкой, озирая неведомый ему заречный мир с высоты отцовского плеча.

— Чего пришла-то? — запоздало строжась, глянул Касьян на жену остывшими от забавы глазами. — Говорил же...

— Да это они все: пойдем к папке, пойдем да пойдем.

— Мало ли чего они... Сама должна понимать.

— Да и как было не пойти? Гляну, гляну в окошко, все идут... Так ждала этого дня...

Касьян перехватил из ее рук узелок, бугристо набитый чем-то теплым, духмяным.

— Это гостинчик тебе, — пояснила Натаха.

— А грабли зачем? Или еще не натягалась?

— Я ж думала, забыл ты их. Смотрю утром, грабли дома. Дай, думаю, снесу, а то как же без граблей-то?

— Ну да, ну да, мели, а я поверю, — с укором гуднул Касьян. — Или я тут рогулю не срубил бы. Обошелся бы и без граблей...

— Да ладно тебе, Кося. — Натаха обхватила Касьянову руку, повисла на ней, заглядывая в лицо. — Или не рад, што ли, нам?

— Ну, ладно, ладно нежности разводить, — озирнулся по сторонам Касьян. — Идем к месту, раз уж пришли.

На своей обкошенной деляне он опустил на землю Митюньку, сложил к его ногам узелок и, завернув беремок уже обвялой медово истекавшей кошенины, отнес его под куст краснотала.

— Во! Тут сидите, — приказал Касьян, расстилая траву в те-

ни. — На-кось тебе, Сергунок, ножичек, поиграйся. Свистульку вырежи. Себе и Митрию. Смотри, не зарони.

— Не-е! — обрадовался Серёнька, обеими руками принимая от отца заветный складничек. — Я его покамест в карман спрячу.

— А никак, дырка в кармане?

— Какая дырка? — засмеялась Натаха. — Ты, отец, и не видишь, что у твоих сынов штаны новые?

— Глянь-кось! — изумился Касьян. — А я и правда не вижу. Ну-ка, Серёнь, повернись, погляжу.

Сергунок, засунув руки в карманы, горделиво прошелся в новых штанах туда-сюда.

— И я! И я в новых! — потребовал к себе внимания младшенький.

— Дак и ты! Ну, герои! Ну, молодцы! — похвалил отец.— И в каком же таком магазине куплены такие хорошие штаны? Да еще с карманами!

— Это мамка нам сшила.

— Неужто мамка? — опять нарочито изумился Касьян. — Экая рукодельница у нас мамка!

— Вчера дошила, — радостно закраснелась Натаха от своего же признания.

— На руках? — продолжал играть Касьян. — Ну, чудеса! А как магазинские!

— Машинкою оно б поладней вышло. Да уж какие получились.

— А чего? Хорошие штаны! Ну, давай, Натаха, займись с ими, — кивнул он на ребятишек. — Пить захотите, вон горушка, а под нею ключик. Там и ягод полно, позабавьтесь.

— Где? Па, где ягоды? — навострился Сергунок.

— Да вона, вишь бугор! Прямо обсыпан весь. Ложись на живот и ешь. Ну, давайте, давайте, делайте чего-нибудь. А то я вон сколь время потерял с вами.

Еще издали нетерпеливо примериваясь глазами, жадно целясь в незавершенный прокос, Касьян поплевал на руки и выдернул из земли косье. Чувствуя, что за ним наблюдают домашние, он, превозмогая боль в плече, молодцевато, одним духом выбрил закоулок между двумя куртинками ивняка и уже было собрался без всякого роздыха сделать новый зачин, как, обернувшись, увидел позади себя Натаху. Насунув на глаза платок, она негнуче, бугрясь тяжким животом, неловко накидывала грабли, пытаясь раздергивать неподатливые, уже успевшие слежаться пласты кошенины. Сергунок с Митюнькой тоже вовсю старались, пыхтя, загребали еще нехваткими руками сырую траву и, зарывшись в ней с головой, тащили и раскладывали на поляне.

— Ого, я сколько! — радостно звенел голосок Митюньки. — Мам, мам, погляди!

— А ну, брось! Брось! — осерчал Касьян, подбегая к Натахе. — Или время свое не знаешь?

Натаха приостановилась, оперлась о держак.

— Да я, Кося, легонечко. — Круглое ее лицо жарко румянилось под слабой тенью косынки. — Трава парится, а я сидеть стану.

— Гляди, девка, не шуткуй мне с этим.

— Да не бойся ты! Чудной, право! Разве это трудно — граблями-то шевелить? Парню одна польза от этова, когда не сидеть.

— Какому парню? — не понял Касьян.

— Как это какому! А который будет.

— А ты почем знаешь, что парень?

— Да уж знаю. Поди, не впервой. Я-то ваш завод за три месяца чую. Драчунов. — Натаха сдернула на затылок платок, открыла мужу усмешливое лицо. — Или уже не нужен парень-то?

— Чево городишь пустое?

Чтобы скрыть толкнувшую его отцовскую радость, Касьян полез за кисетом. Слюнявя языком цигарку, он кивнул на ребятишек.

— Гляди-ка, косари наши стараются. Работнички! А Митька, Митька-то, ну, пыхтун! — и, смягченно толкнув Натаху в плечо, сказал: — Ну, ладно... Ты смотри тут, не дюже-то... А я пойду покошусь. Сена́-то нынче какие, а? Эх, благодать-то!

2

Часу в двенадцатом, когда уже припекло невмоготу, косари начали разбредаться по кустам, по семейным сижам. Касьян, докосив свое, побег еще помочь Натахе разбросать валки, а когда и с этим управились, велел кликнуть обедать пацанов, которые успели улепетнуть на бугор по ягоды. Сам же пошел к мужикам, не терпелось поглядеть, у кого сколько накошено.

Воротился он, когда Натаха уже выложила свои покосные гостинцы — бутылку молока для ребят, черепушку томленной на сале картошки, дюжину румяных пирожков, лоснящихся, отпотевших от собственного тепла.

Касьян довольно хмыкнул, увидев пироги: когда и напечь успела! Однако, вытащив из куста и свою торбочку, объявил:

— Давай, Натаха, собирай все это. Мужики к себе зовут.

— А может, одни посидим?

— Пошли, пошли. — Касьян подхватил Митюньку на руки. — Чего мы одни будем. Нехорошо сторониться.

Под разметавшимся кустом калины в тучных набрызгах завязи, где устроил свой стан Иван Дронов, колхозный бригадир, уже собралась целая ватага. Бабы отдельной стайкой примостились по одну сторону калины, мужики — по другую, разморенно развалясь и так и этак, покуривали в прохладной траве. В стороне, невидимый на жаре и солнце, потрескивал, дрожал

светлым пламенем большой бездымный костер, распаленный ребятишками. На рядне, разостланном по выкошенной палестинке, горкой высилась складчина: снесли вместе и навалили безо всякого порядка яиц, бочковых огурцов, отварной солонины, охапок лука, чеснока, картошки, сала, и все это вперемешку с пирогами всех фасонов и размеров — серыми, белыми, ржаными, кто на какие сподобился.

— Мир вам, люди добрые, — чинно поклонилась Натаха и выложила и свою снедь на общую скатерть.

— Давай, давай, Наталья, подсаживайся.

— Ох ты, пир-то какой! — подал из-под куста голос косец Давыдко. — Тридцать три пирога с пирогом, да все с творогом! Ужли все одолеем?

— А чего ж не одолеть? — откликнулись бабы. — Враз и умолотим.

— Ой ли... — засомневался Давыдко, дочерна запеченный мужик в серебре щетины по впалым щекам. — Оно ведь о сухую траву и коса тупится...

Мужики сразу поняли Давыдкин уклон, оживленно поддержали:

— Да уж надо бы... тово... для осмелки.

— Оно, конешно, смочить начатое дело не помешало бы.

— Ох! Сразу и за свое! — дружно накинулись, зашумели бабы. — Мочильщики! Сперва управьтеся, а тади и замачивайте. Сказано: конец — всему делу венец.

Но Давыдко тут же оборол бабью присказку своим присловьем:

— Однако и говорится: почин дороже овчин. А уж почин нынче куда с добром!

— Да уж чево там! — закивали мужики. — В кои годы такое видано. По таким сенам оно бы от самого правления магарыч поставить.

— За таким-то столом и чарка соколом, — вставил свое слово и дедушко Селиван, одинокий старец, тоже поохотившийся наведаться в покосы — кому в чем помочь поелико возможно, а больше пообтираться среди мужиков, вспомнить и свое былое, прошедшее. — Не перечьте, бабоньки. Дорого не пиво, а изюминка в ем. В одном селе живем, а за одним столом не каждый день сиживаем.

— Ну, раз такое дело... — подбил разговор Иван Дронов. — Тогда вот чево. Бери, Давыдко, моего мерина, вон, вишь, в воде на песках стоит, да скачи в сельпо. Скажи продавщице, что, мол, шесть бутылок в долг до завтрева. А завтра, скажи, бухгалтер отдаст.

— А ежели не отдаст, заупрямится?

— Отдаст, говорю. Дело артельное. Потом на веревки спишет.

— Бумажка какая будет? — заколебался Давыдко.

— Валяй без бумажки. Скажи, Дронов просил.

— Ага, ага. Тогда уж спрошу десять головок. Чево уж дробить.

Маленький щуплый бригадир дернулся книзу щекой, как делалось с ним всякий раз, когда ему попусту возражали.

— Сказано: шесть! — отрезал он, насунув белые ребячьи брови.

— Хватит и этова, — поддержали бригадира женщины.

— Да я ж за вас и хлопочу. С вами вон нас сколь.

— Обойдемся, таковские.

— Шесть дак шесть. — Посыльный поднялся, поддернул штаны. — Дай-ка, Касьян, твою торбу.

Босой Давыдко побежал трусцой к реке.

Дело было затеяно, пусть и праздное, а потому никто не притрагивался к еде, одних только ребятишек оделили пирогами да крутыми яйцами, и те побежали на бережок Остомли. Сами же мужики уже в который раз принимались за курево, в неторопливом ожидании наблюдали, как Давыдко, засучив штанины, ловил в реке мерина, не дававшего себя обротать, как потом долго водил его по отлогому берегу, ища какое-нибудь возвышение, опору для ног, как наконец все-таки взгромоздился, перекинувшись животом поперек хребтины, и в таком положении норовистый мерин попер его неглубоким бродом. На той стороне Давыдко выпрямился, окорячил коняку, поддал ему голыми пятками и сразу хватил галопом.

Было видно, как он проскочил стадо, улегшееся на жвачку, и вот уже малой букашкой едва приметно зачернел на узволоке, на деревенском взгорье.

— Ну, лих парень! — усмехались под кустом мужики. — Прямо казак.

— Казак — кошелем назад, — съязвил кто-то из бабьего стана. — За этим-то он швыдок. Пошто мне соха, была бы балалайка.

— Ох ты, мать честная! Сегодня же воскресенье. Магазей не работает, — вспомнил кто-то из мужиков.

— А верно, братцы. Как же это мы не подумали?

— Ничево! Этот найдет! Под землей, а Клавку сыщет. У нее дома завсегда припасено.

Слушая мужиков, Касьян из-под полусмеженных век умиротворенно поглядывал, как Натаха, упрятавшись от жары под резное кружево калиновых листьев, трудно, неудобно сидя на земле, баюкала на руках сомлевшего Митюньку, отмахивая от его потного личика молодых июньских комарков, еще неумело докучавших в тенистой прохладе. Она и сама взопрела, отчего на круглом простеньком лице грубо проступили предродовые пятна. Но от этой временной Натахиной дурноты, от сознания внутренней тайной работы, которая, несмотря ни на что, свершалась в ней ежеминутно и которую она молча перебарывала и терпела, Натаха казалась ему еще родней и ближе, ответно полня все его существо тихим удовлетворением. И когда это она успела и штанишки ребятам исшить, и пирогов напекти... Вот получу на трудодни

сено, куплю ей швейную машину, думал он, начиная задремывать. Пусть себе рукодельничает.

Привиделось ему, будто и в самом деле славно выручился он за излишки сена и дали ему совсем новую пачку денег, еще не хоженных по рукам, перепоясанных красивой бумажной ленточкой. Сели они с женой за стол считать. Натаха радуется, постелила белую скатерть, чтоб чисто было, ничто не мешало счету. Касьян разрезал на ровном, аккуратном кирпичике опояску, поплевал на пальцы, метнул на стол первую денежку. Новенький червонец перевернулся в воздухе и лег на самой середине скатерти другой стороной. Глянули, а это вовсе не червонец, а король червей! Переглянулись они с Натахой: что за притча? Касьян метнул еще раз — шестерка крестовая! «Глянь-ка, — всплеснула руками Натаха, — да ведь король — это ж ты, Кося! А шоха — это тебе дорога будет. А ну кинь, кинь еще». Кинул Касьян очередной червонец — и опять все своим чередом: лощеная бумажка повернулась и выложилась на стол тузом — посередине бубна, вроде подушки-думки, а от нее в разные стороны красные перья, будто огонь брызжет, жаром пылает. «Во! — опять изумилась Натаха. — Туз — это казенный дом означает, какая-то контора». — «Нет, это не контора, — не согласился Касьян. — Ежели казенный, дак не иначе как магазин. Я, откроюсь тебе, в самый раз туда собирался. Швейную машинку хочу купить. Хочешь швейную машинку?» — «Ой,родненький! — обрадовалась Натаха. — Да как же не хотеть? Я и сама про нее все время мечтаю, да боюсь тебе сказать». — «Ну вот, родишь мне сына — и куплю. Истинное слово!» — «Ну, тогда дай я еще выну карту, у меня рука легкая», — Натаха перехватила пачку, принялась перетасовывать, тесать остренькие червонцы промеж собой, а потом весело зажмурилась и потянула ощупью из самой середки. «Ну-ка, гляди, Кося, какая?» Она подкинула бумажку, чтоб подольше летела, и та заходила над столом кругами. Кружит и не падает, вьется и все никак не ложится. А потом вертанулась и объявилась дамой пик: белая невестина фата на ней, а сама желтый цветок нюхает. Увидела даму Натаха, покраснела, смутилась вся: «Нет, Кося, не ту карту вытянула. Я ж другую хотела». — «Как же не ту? — возразил Касьян. — Все верно: это же наша Клава-продавщица! Все сходится у нас с тобой!» — «Ну как же ты не видишь? — это же ведьма! Пиковая дама завсегда ведьмой считалась». — «А Клавка и есть змея подколодная, — засмеялся Касьян. — Опять скажет, дескать, яички сперва давай, а потом и машинку спрашивай. А у нас до пая еще триста штук не хватает. Клавка и есть, ее рожа». Стали разглядывать, а у дамы вовсе и не лицо уже, а череп кладбищенский: глаза пустые, зубы ощерены и желтый лютик-дурман к дырявому носу приставлен. «Ох, Касьян, Касьян, гляди получше, не Клавка это... Вот тебе крест». — «Да кто же еще, дуреха, кому быть-то?» — «Не знаю, родненький, но токмо не продавщица она... Какая-то не такая эта

денежка, уж не фальшивая ли? Ты вот не посмотрел сразу, когда деньги-то брал, доверился, а тебе и подсунули, недотепа». Касьян взял в руки диковинную бумажку, повертел и так, и этак, положил обратно, но уже не дамой, а обратной стороной, червонцем кверху. «Да ты не прячь ее, — вскинулась Натаха. — Так-то от нее не отделаешься. Ты давай бери-ка да снеси нашему бухгалтеру, сменяй у него на хорошую, а он потом в банке поменяет». — «Да не возьмет он, дьявол косоглазый! Скажет: тебе всучили, ты и отбояривайся». — «Ну, тади Лексею Махотину отнеси: я у них, у Махотиных, помнишь, десятку занимала налог уплатить. Вот и возверни ему. Сверни пополам, чтоб пика внутри оказалась, и подай. Мол, спасибо, извините, что не сразу. А он и примет, не догадается». — «Нет, — сказал ей Касьян. — Негоже такое делать. Нам с тобой выпало, чего уж другим подсовывать. Да и подумаешь — десятка! У нас их вон еще сколь! Тут тебе не только на швейную, а и на плюшевый жакет хватит, и на пуховый платок. Все твои! А эту мы вон как...» Касьян схватил даму, рванул ее пополам, сложил две половинки и еще раз располовинил, а потом покрошил и того мельче. «Вот тебе и вся недолга, — засмеялся он довольно. — Была — и нету ее».

Касьян слышал, как тормошил его кто-то, торкал ногою в лапоть, но никак не мог побороть сна, да и очень уж хотелось довести задуманное до конца — забежать в сельпо и купить Натахе обещанный подарок. Но ему, как нарочно, мешали:

— Вставай, вставай, Касьян! Хватит дрыхнуть. Давыдко вон уже скачет.

Кто-то повозил в носу травинкой, Касьян отчаянно чихнул и под дружный хохот подхватился и сел, подобрав коленки.

Промигав все еще изморно слипавшиеся глаза, он глянул за реку: по знойной ровноте выгона и впрямь уже мчался Давыдко. И все засмотрелись на его разудалый скач — локти крыльями, рубаха пузырем, а сам, не переставая, знай наяривает мерина пятками. По тому, как он поспешал, охаживал лошадь, всем стало ясно, что гонит он так неспроста, что наверняка разжился, раскопал-таки Клавку, иначе чего бы ему палить коня без всякого резона.

— Ну, артист! Вьюн-мужик!

Косари, повскакав на ноги, засмотрелись на Давыдкину лихость.

— Этак и бутылки поколотит.

— Умеючи не поколотит. Должно, переложил чем-нибудь.

— Эх, ребята, а и верно, промашку дали: надо было все ж таки десять штук заказывать. Чего уж там!

Между тем Давыдко, даже не придержав коня, на рысях скатился с кручи; было видно, как посыпались вслед и забухали в воду оковалки сухой глины. Мерин ухнул в реку и, поднимая брызги, замолотил узловатыми коленками.

— Да что ж он, скаженный, делает! Детей подавит, — всполо-

шились бабы, когда верховой выскочил на эту сторону и голые ребятишки, валявшиеся на песке, опрометью шарахнулись врассыпную.

— Да не пьяный ли он часом?! — тревожились бабы. — Эк чего выделывает! По штанам, по рубахам прямо!

— А долго ли ему хлебнуть, паразиту!

— Бельма свои залил — никого не видит.

Еще издали, там, на песках, Давыдко заорал, замахнулся кулаком — на ребятишек, что ли? — и, все так же колотя пятками в конское брюхо и что-то горланя — «а-а!» Да «а-а!», — пустился покосами. Раскидывая оборванные ромашки и головки клевера, мерин влетел на стан и, загнанно пышкая боками, осел на зад. Распахнутая пасть его была набита желтой пеной. Посыльный, пепельно-серый то ли от пыли, то ли от усталости, шмякнув о землю пустую торбу, сорванно, безголосо выдохнул:

— Война!

Давыдко обмякло сполз с лошади, схватил чей-то глиняный кувшин, жадными глотками, изнутри распиравшими его тощую шею, словно брезентовый шланг, принялся тянуть воду. Обступившие мужики и бабы молча, отчужденно глядели на него, не узнавая, как на чужого, побывавшего где-то там, в ином бытии, откуда он воротился вот таким неузнаваемым и чужим.

С речки, подхватив раскиданные рубахи и майки, примчались ребятишки и, пробравшись в круг своих отцов и матерей, притихшие и настороженные, вопрошающе уставились на Давыдку. Сергунок тоже прилепился к отцу, и Касьян прижал его к себе, укрыв хрупкое горячее тельце сложенными крест-накрест руками.

Давыдко отшвырнул кувшин, тупо расколовшийся о землю, и, ни на кого не глядя, не осмеливаясь никому посмотреть в лицо, будто сам виноватый в случившемся, запаленно повторил еще раз:

— Война, братцы!

Но и теперь никто и ничего не ответил Давыдке и не тронулся с места.

В лугах все так же сиял и звенел погожий полдень; недвижно дремали на той стороне коровы, с беспечным галдежом и визгом носились над Остомлей касатки, доверчиво и открыто смотрели в чистое безмятежное небо белые кашки, туда-сюда метались по своим делам стрекозы, — все оставалось прежним, неизменным, и невольно рождалось неверие в сказанное Давыдкой: слишком несовместимо было с обликом мира это внезапное, неожиданное, почти забытое слово «война», чтобы вдруг, сразу принять его, поверить одному человеку, принесшему эту весть, не поверив всему, что окружало, — земле и солнцу.

— Врешь! — глухо проговорил бригадир Иван Дронов, неприязненно вперив в Давыдку тяжелый взгляд из-под насунутой фуражки. — Чего мелешь?

Только тут людей словно бы прорвало, все враз зашумели, накинулись на Давыдку, задергали, затеребили мужика:

— Да ты что, кто это тебе сказал?

— Мы ж только оттуда, — напирали бабы. — И никакой войны не было, никто ничего.

— Да кто это тебе вякнул-то?

— Может, враки пустили.

— Потому и ничего... — отбивался Давыдко. — Дуська нынче не вышла, у нее ребенок заболел...

— Какая Дуська? При чем тут какая-то Дуська?

— Дак счетоводка, какая ж...

— Ну?!

— Вот и ну... А бухгалтер кладовку проверял, не было его с утра в конторе. А Прохор Иваныч тоже был уехамши. Может, и звонили, дак никого при телефоне-то и не сидело. А война, сказывают, еще с утра началася.

— Да с кем война-то? Ты толком скажи!

— С кем, с кем... — Давыдко картузом вытер на висках грязные потеки. — С германцем, вот с кем!

— Погоди, погоди! Как это с германцем? — продолжал строго допытывать Иван Дронов. — Какая война с германцем, когда мы с им мир подписали? Не может того быть! И в газете о том сказано. Я сам читал. Ты откуда взял-то? За такие слова, знаешь... Народ мне смущать.

— Поди, кто сболтнул, — снова загалдели бабы, — а он подхватил, нате вам: война! Ни с того ни с сего.

— Не иначе, брехня какая-то, — обернулся к Касьяну Алешка Махотин, кудлатый, в смоляных кольцах косарь. Перочинным ножичком он машинально продолжал надрезать квадратики и выковыривать кожуру на ореховой тросточке, которую от нечего делать затеял еще в ожидании Давыдки.

— Мир-то мир, а с немцем всякое могет статься, — запальчиво выкрикнул дедушко Селиван. — С германца спрос таковский. Немец, он и бумагу подпишет, да сам же ее не соблюдет. Бывало уж так-то, в ту войну, в германскую.

Однако мужики и сами уже нутром чуяли, что посыльный не врал, им только не хотелось в это верить, потому что от худой этой вести многое, может быть, придется отрывать, бросать и рушить, о чем пока не хотелось и думать, а потому их наскоки на Давыдку выглядели всего лишь неловкой и бессильной попыткой остановить время, обмануть самих себя. Давыдко же, пятясь под их гомонливым натиском, вдруг взъярился, закричал сипло, с пробившимся визгом в сорванном голосе:

— Да вы чего на меня-то? Чего прете? Стану я врать про такое! Да вон слухайте сами!

Со стороны деревни доносился отдаленный, приглушенный, а потому особенно тревожный своей невнятностью торопливый звон. Разгулявшийся ветер то относил, совсем истончая ослаблен-

ные расстоянием звуки, низводя их до томительной тишины, до сверчковой звени собственной крови в висках, то постепенно возвращал и усиливал снова, и тогда становилось слышно, как на селе кто-то без роздыху, одержимо бил, бил, бил, бил по стонливому железу.

Вслушиваясь, Иван Дронов сомкнул губы в неподвижную, омертвелую кривую гримасу и сосредоточенно, уйдя в себя, глядел в какую-то точку под ногами; молчали мужики, теребя подбородки и бороды, помалкивал и Касьян, враз ознобленный случившимся, с тупым отвлекающим интересом уставясь на Алешкины руки, по-прежнему ковырявшие красивую тросточку; обникли плечами, словно бы заострились, стали ниже ростом женщины, склонили свои белые глухо насунутые платки и косынки. И только дети, обступившие Давыдку, ничего не понимая, недоуменно смигивали, переметывались синью распахнутых глаз по лицам взрослых, вдруг сделавшихся, как Давыдко, тоже неузнаваемыми и отчужденными.

Да еще Натаха, как сидела под калиновым кустом, так и осталась там. Митюнька с зеленым ивовым пищиком в кулачке безмятежно посапывал на ее коленях. Он спал под сенью крутого материнского живота, отделенный от своего будущего братца теплой, натужно взбухшей перегородкой. Натаха, не переменяя позы, терпеливо помахивала рукой над белой головкой, над рассыпчатыми вихрами которой, должно быть, парили во сне веселые луговые птахи и сам он, Митюнька, заходясь счастливым испугом от высоты, парил вместе с ними над беспредельностью остомельской земли.

А из села заливисто и тревожно, каким-то далеким лисьим тявканьем опять доносилось:

— А-ай, а-ай, а-ай, а-ай...

Иван Дронов наконец первым очнулся, крутнул головой, как бы отмахиваясь от этого лая, обвел всех тягучим взглядом и объявил с глубинным выдохом, будто собирался ступить в ледяную воду:

— Ну, люди, пошли! Слышите, зовут нас...

Старая Махотиха, Лешкина мать, обморочно всплеснула вялыми плетьми рук, закрылась ими и завыла, завыла, терзая всем души, уткнув черное лицо в черные костлявые ладони.

3

С покосов уходили молчаливым гуртом, ощетиненным граблями, деревянными рогатыми вилами, посверкивающими косами, добела отмытыми травой, — словно и впрямь ополчение, кликнутое отражать негаданную напасть. И будто какой воевода, высился на своем мерине над картузами и косынками пеших людей бригадир Иван Дронов все с той же непроходящей сумрачной кривиной на сомкнутых губах. Даже детишки приумолкли и без

обычного гомона и непременного баловства трусили рысцой, поспевая за старшими, и, чуя неладное, каждый держался поблизости от отца или матери. Парнишки упрямо не оставляли своих нехитрых трофеев — кто ореховый хлыстик для удилища, кто срезанную развилину для желанной рогатки, а кто прятал в прижатом к груди картузе несмышленыша-слетка, желторотого дроздеиыша, коими в покосы всегда кипело урочище. На головках у девочек, еще недавно в праздничном разноцветье лугов воображавших себя сказочными царевнами, в жалкой теперь ненужности мелькали цветочные венки, обвядшие, безвольно поникшие, о которых девочки, наверное, уже и не помнили. Иные в затвердело сжатых кулачках, как бесценное сокровище, несли перед собой пучки земляники. Вдосталь пособирать ее так и не довелось, и почти у всех пучки были жиденькие, недобранные, с непрогретой зеленцой на редких дрожливых ягодах.

Но уже за Остомлей, на ровном выгоне, бригада рассыпалась, разбилась на мелкие кучки, а те подробились и того мельче, — кому мешали поспешать малые дети, кого удерживали квелые старики. И не утерпел, ускакал на голос все еще лязгающего железа Иван Дронов, крикнув только с коня:

— К правлению давайте! К правлению!

Народ растянулся от берега почти до самого деревенского взгорья. Одни уже одолевали последний узволок, по зеленому косо прорезанный светлой песчаной дорогой, другие подступали к стаду, а одинокий дедушко Селиван еще только перебирался по мостку. Не отрывая от настильных плах своих войлочных поршеньков, выстланных сеном, он мелко, опасливо шаркал подошвами, по-птичьи цепко перехватывал неошкуренное березовое перильце. И ему, должно, казалось, что и он тоже поспешал, бежал вместе со всеми.

А позади, над недавним становищем, уже слеталось, драчливо каркало воронье, растаскивая впопыхах забытую артельную складчину: яйца, сало и еще не простывшие пироги.

Касьян, посадив на плечи Митюньку, сдерживал себя от бега, щадил жену, тяжело ступавшую рядом с косой и граблями, но та, упорная, все наддавала и наддавала, вострясь лицом на деревню.

— Да не беги, не беги ты так! — в сердцах окорачивал ее Касьян. — Чего через силу-то палишься!

— Все ж бегут...

— Тебе-то небось не к спеху.

— Я-то ничего... да ноги... сами бегут... — проговорила она, хватая воздух. — А тут еще звякают... Хоть бы не звякали, что ли... Душа разрывается...

— Сядь передохни, слышь! Не в деревне ж война. А ты бегишь, запаляешься. Как бы худо не стало...

— Ох, нет, Кося! Пошли, пошли... Нехорошо как-то... Неспокойно мне... А ежели тебя возьмут... А у меня ничего не готово, не постирано...

— Ну дак не сразу ж. А может, и вовсе не возьмут.

— Да как же не взять? То ли ты хромой или кривой какой?

— Сперва молодых должны. А уж потом как пойдет. А то, может, и одними молодыми управятся. Вот и финская была, а меня не тронули. Ну-ка, одних молодых кликни, и то сколь, ого-о!

— Ох, Кося, в финскую так-то вот не звякали, не скликали. Тогда тихо все было...

Деревня уже каждой своей избой хорошо виделась на возвышении. Касьян привычно отыскал и свой домок: как раз напротив колодезного журавца. Он всегда был тихо, со сдержанной молчаливостью привязан к своему дому, особенно после того, как привел в хозяйки Натаху, которая как-то сразу пришлась ко двору, признала его своим, будто тут и родилась, и без долгих приглядок хлопотливо заквохтала по хозяйству. Да и у него самого, как принял от отца подворье, стало привычкой во всякую свободную минуту обходить, окидывать со всех сторон жилье, надворные хлевушки, погребицу, ладно срубленный, сухой и прохладный, на высокой подклети амбарчик, в три хлыста увязанный все еще свежий плетень, всякий раз неспешно присматривая, что бы еще такое подделать, укрепить, подпереть или перебрать заново. За годы собрался у него всякий инструмент — и по дереву, и по железному делу, а каждую найденную проволочку или гвоздок, рассмотрев и прикинув, определял про запас в заветный тайничок. Позапрошлой весной заменил на своей избе обветшалые наличники на новые, за долгую зиму урывками между конюхованием сам навыдумывал, навыпиливал всяких по ним завитков и кружевцев, потом покрасил голубеньким, а кое-где, в нужных местах, сыграл киноварью, и от всего этого изба вразвеселo обновилась, невестой засмотрелась в божий мир. Касьяну и самому никогда не наскучивало поглядывать в эти оконца, все, бывало, отвернет занавесочку, обежит сквозь стекла глазами, хотя виделось в общем-то одно и то же: однообразный до самой Остомли выгон, по-за которым курчавилось покосное займище, а уж потом, у края неба, дремотно и угрюмовато маячил матерый лес. Простая и привычная эта картина, ее извечная, сколь себя помнит Касьян, неизменность откладывались в сознании незыблемостью и самой Касьяновой жизни, и он ничего не хотел другого, как прожить и умереть на этой вот земле, родной и привычной до каждой былки.

Но вот бежал выгоном Касьян с Натахой, пытливо вглядывался в свое подворье, которое столь старательно укреплял и ухорашивал, и, наверное, впервые при виде голубых окошек испытывал незнакомое чувство щемящей неприютности. Слово «война», ужалившее его там, на покосах, как внезапный ожог, который он поначалу вроде бы и не очень почувствовал, теперь, однако, пока он бежал, начало все больше саднить, воспаленно вспухать в его голове, постепенно разрастаться, заполняя все его сознание ноющим болезненным присутствием. Но сам он еще не

мог понять, что уже был отравлен этой зловещей вестью, ее неисцелимым дурманом, который вместе с железным звоном рельсового обрубка где-то там на деревне уже носился в воздухе, неотвратимо разрушая в нем привычное восприятие бытия. О чем бы он мельком ни подумал — о брошенном ли сене, о ночном дежурстве на конюшне, о том, что собирался почистить и просушить погреб, — все это тут же казалось ненужным, утрачивало всякий смысл и значение.

Он бежал и все больше не узнавал ни своей избы, ни деревни.

Вытравленным, посеревшим зрением глядел он на пригорок, и все там представлялось ему серым и незнакомым: сиротливо-серые избы, серые ветлы, серые огороды, сбегавшие вниз по бугру, серые ставни на каких-то потухших, незрячих окнах родной избы... И вся деревня казалась жалко обнаженной под куда-то отдалившимся, ставшим вдруг равнодушно-бездонным небом, будто и не было вовсе, будто его сорвало и унесло, как срывает и уносит крышу над обжитым и казавшимся надежным прибежищем.

Не хотелось Касьяну сейчас в деревню, не тянуло его и домой. Ему чудилось, будто их изба тоже стояла без крыши, обезглавленная до самого сруба, с разверстой дырой в серую пустоту, и он, все более раздражаясь, не понимал, почему так рвется Натаха туда, где уж нельзя было ни спрятаться, ни укрыться.

— Да не беги ты как полоумная! Сядь отдохни перед горой-то!

— Нечего уж...

— Экая дура!

— Теперь вот оно, добежали.

— Да ведь не пожар, успеется.

— Кабы б не пожар...

— Па, а па! — вскинул на отца возбужденный взгляд Сергунок. — А тебе чего дадут: ружье или наган?

Касьян досадливо озирнулся на Сергунка, но тот, должно быть, воображая себе все это веселой игрой в казаки-разбойники, горделиво посматривал на крупно шагавшего отца, и Касьян сказал:

— Ружье, Сережа, ружье.

— А ты стрелять умеешь?

— Да помолчи ты...

— Ну, пап!

— Чего уж там не уметь: заряжай да пали.

Невольно перекидываясь в те годы, когда отбывал действительную, Касьян с неприятным смущением, однако, вспомнил, что не часто доводилось стрелять из винтовки: день-деньской, бывало, с мешками да тюками, с лошадьми да навозом. Не нужно оно было ни с какой надобности, это самое ружье.

— Ружье лучше! — распалял себя мальчишеским разговором Сергунок. — К ружью можно штык привинтить. Пырнул — и дух вон.

— Ага, можно и штык...

— Штык он во-острый! Я видел у Веньки Зябы. Он у них в амбаре под латвиной спрятан. Только весь поржаветый.

— Што, говоришь, в амбаре? — вяло переспросил Касьян, занятый своими мыслями.

— Да штык! У Веньки у Зябы.

— А-а... Ну-ну...

— Вот бы мне такой! Я бы наточил его — ой-ей! Раз их, р-раз! Да, пап? И готово!

— Кого это?

— Всех врагов! А чего они лезут.

— А мне стык? — подхватил новое слово Митюнька. — Я тоза хоцю сты-ык!

— Тебе нельзя, — важно отказал Сергунок. — Он колется, понял?

— Мозно-о!

— А ну хватит вам про штыки! — оборвала парнишек Натаха. — Тоже мне колольщики. Вот возьму булавку да языки и накыляю, штоб чего не след не мололи.

Уже наверху, на въезде в село, Касьян ссадил с себя Митюньку и, не глядя на жену, сказал:

— Схожу в колхоз, разузнаю. А вы ступайте домой, нечего вам там делать.

И, еще не отдышавшись, Касьян полез за кисетом, за мужицкой утехой во всякой беде. Он крутил косулю, и пальцы его непослушно дрожали, просыпая махру.

Новая, крепкая правленческая изба без всяких архитектурных премудростей, если не считать жестяной звезды, возвышенной над коньком на отдельном шестике, с просторным крыльцом под толстой, ровно обрубленной соломой, была воздвигнута за околицей прямо на пустыре. Прошка-председатель не захотел ставить новую контору на прежнем месте, в общем деревенском порядке, где каждое утро и вечер с ревом и пылью, оставляя после себя лепехи, проходило усвятское стадо и день-деньской возле правления ошивались чьи-то куры и поросята. Он сам выбрал этот бросовый закраек, пока что неприютный своей наготой и необжитостью. Но меж лебедой и колючником уже поднялись тоненькие, в три-четыре веточки, саженцы, обозначавшие, как Прошка уважительно выражался, будущий парк и аллеи — заветную его мечту.

Касьян, поспешая через пустырь, еще издали увидел подле конторы роившийся народ, дроновского мерина и председательские дроги у коновязи. При виде этого непривычного людского скопища середь рабочего дня Касьяна еще раз обдало мурашливым холодком, как бывало с ним, когда вот так, случалось, подходил он к толпе, собравшейся возле дома с покойником. Да и здесь тоже нынче что-то надломилось: что-то отошло в безвозвратное, и не просто жизнь одного человека, а, почитай, всей деревни сразу.

Рельса все еще надсадно гудела. Полуметровая ее культя была подвешена перед конторой на специальной опоре, покрашенной, как и сама контора, в зеленую краску. Звонить по обыденности строго-настрого возбранялось, и лишь однажды был подан голос, когда от грозы занялась овчарня. В остальное же время обрубок обвязывали мешковиной, чтобы не шкодили ребятишки. Конторский сторож Никита, которому в едином лице предписано было оголять набат по особому Прошкиному указанию, сегодня, поди, давно отбил руки, и теперь, пользуясь случаем и всеобщей сумятицей, в рельсу поочередно трезвонили пацаны, отнимая друг у друга толстый тележный шкворень. Били просто так, для собственной мальчишеской утехи, еще не очень-то понимая, что произошло и по какой нужде скликали они своих матерей и отцов.

Люди, тесня друг друга, валом обложили контору. Крепко разило потом, разгоряченными бегом телами. Касьян, припозднившийся из-за Натахи и приспевший чуть ли не с последним из косарей, начал проталкиваться в первый ряд, смиряя дыхание и машинально сдергивая картуз. Высунулся и ничего такого особенного не увидел: на верхней ступеньке крыльца, уронив голову в серой коверкотовой закапанной мазутом восьмиклинке, подпершись руками, сидел Прошка-председатель, поверженно и отрешенно глядевший на свои пыльные, закочуренные сухостью сапоги.

Помимо косарей сбежался сюда и весь прочий усвятский народ — с бураков, скотного двора, Афоня-кузнец с молотобойцем, и даже самые что ни на есть запечные старцы, пособляя себе клюками и костыликами, приплелись, приковыляли на железный звяк, на всколыхнувшую всю деревню тревогу. И, подходя, пополняя толпу, подчиняясь всеобщей напряженной, скрученной в тугую пружину тишине, люди примолкали и сами непроизвольно никли обнаженными головами.

А Прошка-председатель все так и сидел, ничего не объявляя и ни на кого не глядя. Из-под насунутой кепки виден был один лишь подбородок, время от времени приходивший в движение, когда председатель принимался тискать зубы. Касьян думал поначалу: потому Прошка молчит, что выжидает время, пока соберутся все. Но вот и ждать больше некого, люди были все в сборе до последней души.

Наконец, будто хворый, будто с разломленной поясницей, Прошка утружденно, по-стариковски приподнялся, придерживаясь рукой за стояк. И вдруг, увидев возле рельсы ребятишек, сразу же пришел в себя, налился гневом:

— А ну хватит! Хватит балабонить! Нашли, понимаешь, игрушку. Никита! Завяжи колокол!

И, как бы только теперь увидев и всех остальных, уже тихо, устало проговорил, будто итожа свои недавние думы:

— Ну, значит, такое вот дело... Война... Война... товарищи.

От этого чужого леденящего слова люди задвигались, заперебминались на месте, проталкивая в себя его колючий, кровенящий душу смысл. Старики, сбившиеся в свою особую кучку, белевшую в стороне платочками, торопливо зачастили перед собой щепотками.

— Нынче утром, стало быть, напали на нас... В четыре часа... Чего остерегались, то и случилось... Так что вот такое известие.

Сумрачно тиская зубы, Прошка отвернулся, уставился куда-то прочь, в поле, плескавшееся блеклым незрелым колосом невдалеке за конторой. И было томительно его это отсутствующее глядение. Медленно багровея от какого-то распиравшего его внутреннего давления, он сокрушенно потряс головой:

— На ж тебе: ты только за пирог, а черт на порог. Тьфу!

Председатель ожесточенно сплюнул и заходил взад-вперед по крыльцу от столба к столбу, как пойманный, будто запертый в клетку. Вдруг резко крутнувшись на железных подковах, внезапно закруглил собрание:

— А теперь... тово... давайте кто на бураки, кто на сено. В общем, пока все по местам.

Люди, однако, не расходились, понурились в скованном молчании, ожидая еще чего-то. Но Прошка, сбежав с крыльца и расчищая себе дорогу сквозь неохотно подавшуюся на две стороны толпу, досадливо покрикивал:

— Все! Все! Расходись давай. Пока больше не имею добавить...

Он отвязал вожжи от коновязного бруса, окорячил дрожки, умягченные плоским, слежалым мешком с соломой, и, полоснув лошадь концами, крикнул уже сквозь колесный клекот:

— Будут спрашивать — в районе я. В район поехал!

4

И второй, и третий день деревня жила под тягостным спудом неизвестности. Все как-то враз смялось и расстроилось, вышло из привычной колеи. Иван Дронов попытался было наладить прерванный сенокос, самолично объехал подворья, но в луга почти никто не вышел, и сено так и осталось там недокошенным, недокопненным. Ждали, что вот-вот должны понести повестки, какое уж там сено!

Повестки, и верно, объявились уже на второй день. Правда, брали пока одних только молодых, первых пять-шесть лет призывных годов, в основном из тех, кто недавно отслужил действительную. Но кто знает, как оно пойдет дальше, какой примет оборот?

Прошка-председатель ходил смурной, неразговорчивый и больше норовил завеяться с глаз долой. Сказывали, будто видели его нечаянно на дальнем Ключевском яру, на краю хлебного поля, и будто бы, пустив на волю коня с таратайкой, сидел он там, на яру, один, как во хмелю, обхватив коленки и уронив на них

раскрытую голову. Не узнали б его, эдак скрюченного, закрывшегося от всего, посчитали бы за чужого человека, если бы не конь: конь-то его приметный — чалый, с белой гривой и белым хвостом.

Поутру мужики, а больше бабы, подворачивали к правлению под разными предлогами, толпились у крыльца, засматривали в окна на счетоводку Дуську, сидевшую у телефона: не будет ли каких известий, от которых зависел весь дальнейший ход усвятской жизни.

Радио на ту пору в деревне не имелось. Правда, уже по теплу перед маем начали было расставлять столбы, накопали по улицам ямок, но районные монтеры что-то закапризничали, в чем-то не сошлись с Прошкой и больше не появлялись в Усвятах. Теперь в самый раз сгодилось бы послушать, ни за какой ценой не постояли б, да кто ж знал, что так оно обернется, думалось ли кому о войне?

Газетки же пока шли довоенные, из них ничего не явствовало: вчера доставила почтальонка, а там все еще пишут про всякое такое разное, и на картинках все такие довольные, ровно ничего не случилось. Оно и понять можно: пока составят заметки, пока прокрутят через печатную машину да развезут по городам, а оттуда — по районам, из районов — по волостям, а там уж и по самим деревням, это ж сколько раз из рук в руки передать надо, сколь потратить времени. Районка, так и вовсе один листок и не каждый день в неделю.

Вот и отирались у конторского порога с немым вопросом на сумеречных лицах, острились слухом, не зазвонит ли телефон, не скажет ли трубка чего нового, пока внезапно наехавший Прошка-председатель не принялся шуметь:

— Кова черта, понимаешь! Ну война, война... Дак что теперь делать? Сидмя сидеть? Пелагея! Авдонька! Бураки вон сурепкой затянуло, а вы тут жени мнете. Кому сказано! А ну марш все отседова, чтоб глаза мои не видели!

— Да ить как робить, ничего не знаючи. Руки отпадают. У тебя там, Прохор Ваныч, телфон в кабинете. Можа, чего слыхать...

— А чего слыхать? Ничего не слыхать. Отражают пока, отбиваются...

— Ты бы спросил в трубку-то. Живем, как в мешке завязаны.

— Об чем, об чем спрашивать-то?

— Да какая она будет, война, — большая аль маленькая? Будут ли еще мужиков забирать ай нет? Нам бы хочь об этом узнать. А то думки изгложут.

— Ничего этого я не ведаю — большая или маленькая. Нету у меня такого аршину. А какая она б ни была, нечего сидеть. Вон солнце уже где, в колодезь скоро заглянет, а вы досе тут, понимаешь. Вот счас перепишу всех, потом не обижайтеся. «Нехорош Прохор Ваныч». Совсем разболтались, понимаешь.

Касьян, возвращаясь с ночного дежурства, тоже захаживал

в контору послушать, чего говорят. Не было хуже этой вот неопределенности. Куда бы легче, кабы знать наверняка: так или этак, возьмут или не возьмут. Но никто этого наперед сказать не мог, и он, придя домой, не находил себе места, а уж о деле каком и вовсе в голову не шло. Вот и погреб надо бы почистить, подкрепить на зиму, да все как-то не мог обороть себя. Если днями возьмут, то и затеваться с погребом нечего: только зря растревожишь, разворошишь старье, оно — тронь, дак и в две недели не уберешься. Было с ним такое, будто подвесили его поперек живота, и никак не дотянуться до дела руками или ногами стать. Бесцельно бродил он по двору, в городчике среди гряд, все тянулся куда-то слухом, и тесно ему стало подворье, давило плетневой городьбой, так бы взял и разгородил напрочь, напустил воздуху. А то сядет у окна, и будто нет его, просидит безгласно до самых поздних сумерек. И Натаха старалась не докучать ему, ни в чем не перечить. Висела в амбаре сумочка с нарубленным самосадом, полез давеча, а там одна нюхательная пыль. И сам удивился, когда успел пожечь, выпустить дымом этакую прорву табачища.

Тем же днем, уже под вечер, посланный малец передал Касьяну, будто велено явиться в контору не мешкая по важному делу. Не успел и расспросить, какое дело, как парнишка тут же улепетнул, засверкал пятками. Касьян, встревожась, не стал дохлебывать поданные Натахой щи, а, утершись ладонью, цапнул с гвоздя картуз.

— Доешь, успеется, — сказала Натаха, сама насторожась. — Поди, не тебя одного кличут.

Но Касьян, уже не слыша жены, взятый тревогой, вышагнул в сени.

Возле конторы, как и в тот первый колокольный день, уже кишел, крутился народ — мужиков с полста, не считая баб и налетевшей мошкары-пацанов, которые по случаю пустого летнего времени в школе лезли во всякую затею: где чего стряслось, там и они, пострелы. Валяются поодаль в траве, барахтаются, устраивают друг дружке всякие подвохи — то кому травинкой за ухом пощекочут, то прилепят сзади на штаны репей с куриным перышком. Но промеж этим исподволь послеживают за старшими, за окнами и крыльцом правления: ждут, чего будет. Баловство баловством, а и мальцов за показной шкодой берет тайная сумять: война!

Касьян и сам, пряча тревогу, молча присел в тени возле прохладного кирпичного фундамента, где уже рядком устроились пришлые мужики.

Вскоре туда же присеменил, постукивая батожком, и дедушко Селиван.

Жил он бобылем, в старенькой своей избе с давно осыпавшейся трубой; после смерти старухи не держал во дворе никакой живности, кроме воробьев да касаток, и даже не засевал огоро-

да, дозволив расти на грядках чему вздумается. Кормился же он возле сторонних людей, и ни у кого не поворачивался язык отказать ему в стариковской малости, тем паче что сам он никогда не попросится к столу: дадут чего похлебать — отблагодарствует, забудут — так посидит в сторонке, покурит, водицы попьет. Пуще же хлеба держался он людским словом, а потому редко когда обитал в своем дому, особенно в летнюю пору, а все больше там, где была доступна живая душа, — на конюшне, с ночными сторожами, с эмтээсовскими трактористами на полевом стане.

Навалясь грудью на батожок, поддерживая себя так, дедушко Селиван остановился перед густо дымящим миром, обежав мужиков упрятанными под куделистые брови, но все еще живыми востренькими глазками.

— Што за сход? Вижу, все бегут, а пошто — никто ничево.

— Да вон таратайка стоит, кого-сь из району доставили.

— Ох ты, мать твоя с яйцом курица! По какой надобности-то?

— Известно по какой. Надобность теперь одна...

— Бают, кабудто в рай будут зачислять. У кого руки-ноги при себе, глаз не кривой, того прямки под самые кущи... Яблоки кушать, гранаты.

Дедушко Селиван засмеялся, закивал бородкой:

— Пригожее место! Я б и сам с вами напросился, да зубов вовсе не стало — по яблоки-то.

— Там вставят...

— Нуте, нуте... То-то, гляжу, оробели, лишку курите. Дак, может, и не по той причине... Гостюшка-то штатский али в мундире? Кто видал?

— Кажись, в белом пинжаке.

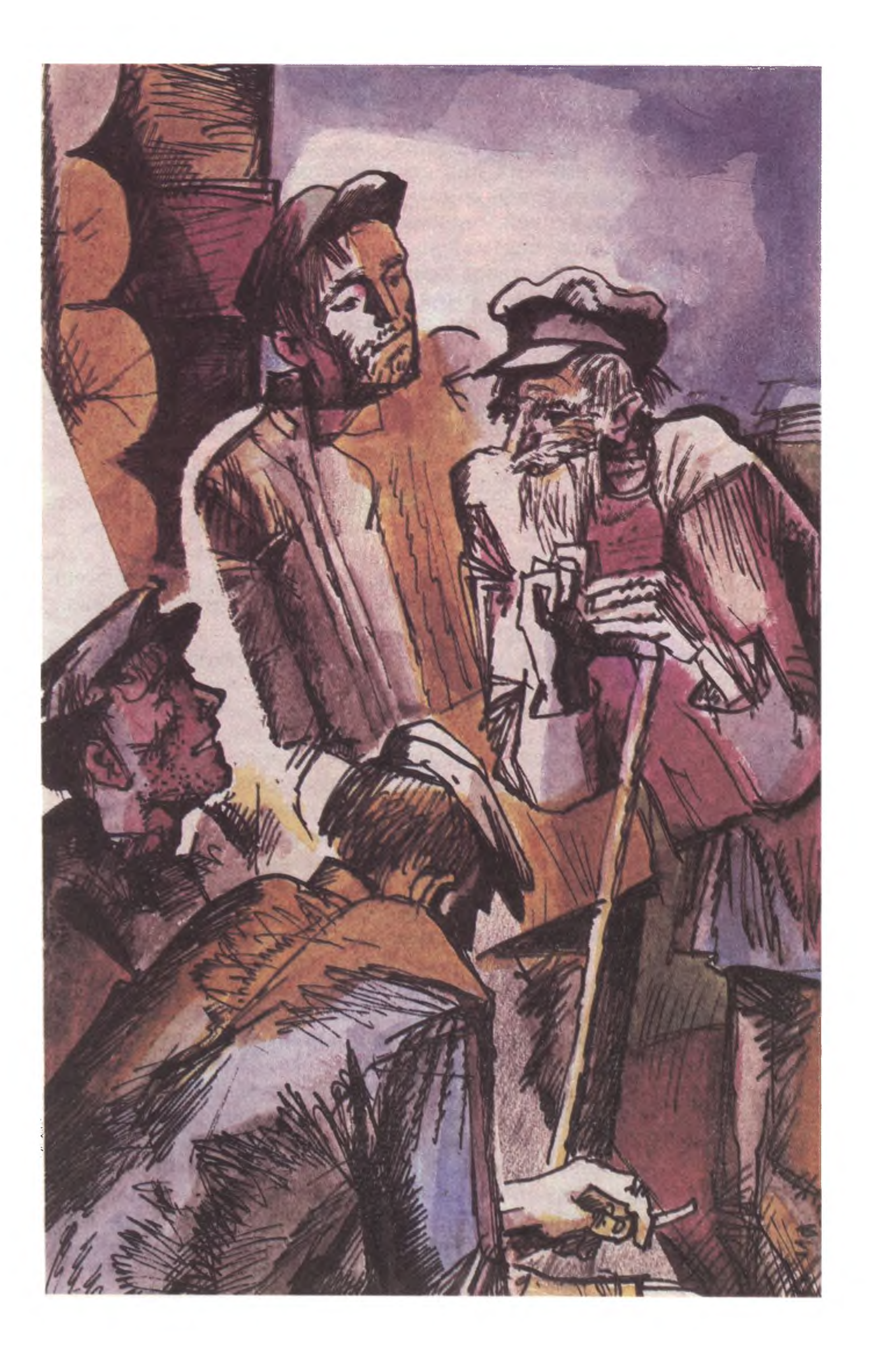
— Ага, ага... Сорока-белобока... Нуте, нуте... Потрескочет, побалаболит чего-нито, да и восвояси. Не артист ли, как тот раз?

— Да кто ж его знает... Об эту пору с гармошкой не пошлют, с куплетами. Небось скоро нам свою затягивать...

Приезжий человек все не объявлялся, затворился в конторе вдвоем с Прошкой-председателем. Может, они там и о пустом говорят, время тянут, а тут сиди гадай. Никто толком не мог сказать, с чем гость пожаловал, и мужики хотя и пошучивали, но сидели как на угольях.

Наконец в конторе послышалось какое-то шевеление, пискнула кабинетная дверь, и на крыльце объявился Прошка-председатель в своей низко насунутой восьмиклинке, в куропатчатом расхожем пиджаке с обвислыми карманами, в которых он, запустив по обычаю своему руки, перебирал, позвякивал ключами и всякими подобранными на дороге винтиками-болтиками, перемешанными с овсом, викой и прочими семенами, скопившимися еще с посевной кампании.

Следом, держа под мышкой долгую бумажную трубу, оживленно вышел приезжий человек с простовато-округлым лицом, в широкой чесучовой толстовке.



— Товарищи! — объявил Прошка-председатель. — Давайте подходите поближе.

Усвятцы, переминаясь и оглядываясь, мало-помалу подтянулись, поубавилась галдеца. Усаживались прямо на мураву перед конторой, туда же вынесли два стула и стол под красным полотнищем, придавив его графином.

— Покучней, покучней, понимаешь, — подбадривал Прошка.

Кое-кто посунулся еще маленько к столу.

Приезжий приветливо поздоровался с крыльца, покивал очками на три стороны, будто хотел раздать всем по кивку. Артельщики оживились, с интересом посматривая на бумажную трубу — что в ней такое.

— Значит, так... — Прошка-председатель, обхватив обеими руками крылечное перильце, качнулся туда-сюда некрупным подростковым телом, как бы испробуя прочность загородки. — Тут, значит, такое дело... Многие интересовались насчет немца. Ну дак вот... Я договорился с районом, чтоб нам выделили знающего товарища, — он метнул козырьком кепки в сторону стоявшего рядом приезжего. — Просьбу нашу, как видите, удовлетворили. Чтоб, значит, не пользовались посторонними слухами. А то есть у нас, понимаешь, отдельные любители базарного радива: «ши-ши-ши» да «ши-ши-ши»... А чего в этом «ши-ши-ши» правда, чего брехня — не всяк способен разобраться.

Сидящие задвигались, запереглядывались, раздались несмелые голоса:

— Да чего уж... Всяко болтают.

— Пущают слушки!

— Да вот вам последний факт. Насчет хлеба. Кто это распустил, будто зерно по дворам собирать будут? Дескать, хлебом собираемся откупаться от немца?

Прошка-председатель обвел упористым взглядом первые ряды, потом пошарился по остальному люду.

— За такие штучки, понимаешь... — Он запихнул руки в карманы, сердито побренчал ключами, но тут же выхватил, свернул фигу и сунул ею на закат солнца. — А во ему хлеба, поняли? На-кось вон, пусть понюхает. Крендель с ногтем!

Приезжий человек сдержанно покашлял.

— Насчет овса, это верно, есть такая разнарядка, получена. Чтоб подготовить излишки в фонд мобилизации. Овсом, конечно, мы поделимся. Дак опять не с немцем же! Потому как наша армия состоит не из одних токмо бойцов и командиров, а и кони при ей есть. Пушки, обозы, кухни — все это коня требует. А конь — овса. Понимать надо...

Он сделал заминку, потер скулу, пошуршал щетиной.

— Ну, это я к тому, что не знаешь — не болтай. А то хлеб, хлеб! А короче говоря, давайте послушаем, что нам скажет сведущий человек, вот он, товарищ Чибисов Иван Иванович. Чтоб потом некоторые не отирались без толку возле правления. Теперь

каждая минута дорога. Эй, пацанва! Потише там! Разбаловались, понимаешь. Цыц мне! Чтоб ни гугу. А то живо ухи отвертаю.

На поляне попритихли: никогда усвятцы не видели своего председателя таким осерженным, в таком недобром расположении.

Прошка-председатель с приезжим Иваном Ивановичем спустились к столу. Та бумажная труба оказалась всего-навсего печатной картой, раскрашенной веселыми разноцветными красками. Пока Иван Иванович пришпиливал ее кнопками к стене меж конторскими окнами, Прошка достал складничек, отхватил им от саженца боковую ветку, сноровисто обчистил добела и подал лектору, после чего занял место за столом, готовясь тоже послушать вместе со всеми.

Иван Иванович не мешкая принялся объяснять, какова из себя Германия, кто таков этот расфашист и разбойник Гитлер, почему ему неймется мирно обходиться с другими государствами, сколь народов уже повоевал и обездолил перед тем, как напасть на Россию. Говорил он неспешно и обстоятельно, помогая себе хворостинкой, и всем стало сразу ясно, что человек он и на самом деле сведущий. Мужики, покуривая, следили, как проворно бегала по карте выструганная палочка, как втыкалась она в разно окрашенные места, означавшие страны, которые хотя и ненадолго задерживались в памяти из-за их непривычных, мудреных названий — Великобритания, Норвегия, Голландия, Люксембург и еще много других и прочих, — все ж слушать ровно бегущую речь было хотя и тревожно, но интересно. Из задних рядов, правда, не очень-то уследживалось, кто там и где находится, — дюже уж теснились, изловчались и наседали друг на дружку оные царства и государства. Скопившиеся под дальними саженцами пацаны подхватили забавное для них слово — Европа и, хихикая, сразу же приспособили к нему свой к ладу, к созвучности добавок, за что восседавший за кумачом Прошка-председатель тут же отчитал остряков:

— А ну-ка, грамотеи! На срамное вы завсегда мастера. Лучше б вникали, чего вам говорят умные люди. Только хихи да гаги в голове.

И лишь одно название было всем дорого и понятно, как, скажем, мать или хлеб, — Россия. Против тех государств, как бы разнопосевных кулижек, витиевато обведенных на карте межами и частокольем, лежала она, будто большое, раздольное поле, да и то, оказывается, не вся поместилась на карте, смогла войти в нее лишь малой своей частью, тогда как на остальное не хватило бумаги... И голубые жилы рек, которые указал и назвал Иван Иванович, петляли по России, не обрываясь, не подныривая под пограничные прясла, а текли себе привольно от самого начала до своего исхода — к синим морям. И было всем странно и непонятно, как это Германия осмелилась напасть на такую обширную землю.

Сидевший рядом с Касьяном Давыдко глядел-глядел, тара-

щась, на единую российскую покраску, на общий ее засев и не утерпел, перебил вопросом лектора:

— Ужли наше все это? Дак которая тади из них Германия-то?

Иван Иванович приостановил хворостинку, выслушал Давыдку и тем же ровным голосом дообъяснил непонятное:

— Я вам, товарищи, уже показывал. Вот эта коричнево окрашенная территория и есть Германия.

— Только и всего? Это которая на морду похожа?

— Ну, если хотите, — сдержанно улыбнулся Иван Иванович,— то сходство с физиономией, с профилем действительно имеется. Это вы весьма удачно заметили. В самом деле, вот эта часть, — Иван Иванович показал на карте хворостинкой, — которая вытянулась на восток вдоль Балтийского моря вплоть до польского города Гдыня, очень похожа на обращенный в нашу сторону и как бы принюхивающийся нос. И даже капля висит на этом носу — так называемая Восточная Пруссия — часть земли, некогда отвоеванная у приморских славян. А там, где нам воображается глаз, — вот видите этот кружок? — это и есть германская столица Берлин.

— А и верно — глаз! — удивились бабы. — Дак а чего-то у него, немца-то, изо рта торчит, цигарка, что ли? Эку длинну в рот забрал!

— Нет, товарищи, это не цигарка, — опять улыбнулся Иван Иванович. — Это государство Чехословакия, которую Германия аннексировала, или, как вполне точно кто-то из вас выразился, — забрала в рот, — еще в тысяча девятьсот тридцать восьмом году.

— Понятно теперича... Вот оно что!

Далее, однако, выяснилось, что карта эта уже устарела и что нос у немца вытянулся еще дальше, уперся в самую Россию, а теперь вот Германия и вовсе на нас напала — бомбит города, во многих местах вклинилась на нашу землю, и что есть уже убитые и раненые...

Народ на полянке поумолк, а какая-то бабенка в задних рядах при упоминании об убитых сдавленно завыла и, закрывшись руками, ткнулась белым платком под саженец в отросшую траву. На нее зацыкали соседки, принялись тормошить с укором, Прошка же, постучав ключом по графину, возвысил голос:

— Марья! Не мешай слушать! Сразу и в рев...

Баба малость поубавила тону, но выть не перестала.

— Как фамилия этой колхозницы? — склонился к председателю Иван Иванович, который, насунув на глаза козырек кепки, с нетерпеливым недовольством глядел в ту сторону, под саженец.

— Кулиничева, — подсказал председатель. — Мария Федосеевна. Ладно, ладно тебе, Марья. Нечего загодя голосить-то. Не муторь мне людей.

— Марья Федосеевна! — попробовал окликнуть ее и Иван Иванович. — Товарищ Кулиничева!

Он смущенно поглядел в толпу поверх очков.

— Послушайте, голубушка. Ну что же вы так сразу. Слезы в таких вещах плохой помощник. Кому от них польза? Одному врагу, одному ему на руку наша растерянность. Наоборот, надо проявлять твердость духа, а не поддаваться паническим настроениям.

Щуплая, плосконькая бабенка, еще пуще вжимаясь в землю, вовсе потерялась в траве, и было только видно, как заметный уголок белой косынки судорожно дергался в кустиках лебеды.

— Право же, никаких оснований для слез нет, — пытался утешить Иван Иванович. — Ведь все эти временные успехи достигнуты неприятелем за счет внезапности нападения. Представьте себе: вы ничего не знаете, а на вас набросились из-за угла. В таком случае даже сильный может оказаться на первых порах в невыгодном положении и понести некоторый урон и ущерб. Вот сидящим здесь мужчинам такая ситуация должна быть знакома из личного опыта, — попробовал шуткой смягчить непредвиденную заминку Иван Иванович. — С каждым, наверно, бывало такое, если припомнить, не правда ли?

Мужики оживленно заерзали, загалдели:

— Ну дак ясное дело! Бывало, бывало такое...

— Вот видите? А вы, Марья Федосеевна, сразу и в слезы...

— Да, понимаешь, сын у нее служит в тех местах, — перебил его Прошка-председатель. — И жену с дитем как раз по весне забрал туда... Марья! Где это у тебя Гришка-то? В каком городе?

Что ответила бабенка, не было слыхать, но люди через ряды донесли ее ответ, и Давыдко объявил:

— В каком-то Перемышля он.

— Ах, вон оно что... — покивал очками Иван Иванович. — Понятно, понятно...

— Встань, Марья! — опять потребовал Прошка-председатель. — Кому говорю.

Марья вяло выпрямилась, утерлась углом косынки и смиренно сложила руки в подол.

— Мы несколько отвлеклись от нашей беседы, — опять ровно заговорил Иван Иванович, — так что продолжим... Как я уже сказал, для особых тревог у нас с вами нет оснований. Бои ведут пока одни только пограничники. Главные наши силы еще не подошли, не участвуют в сражении. На это нужно время, надо немного подождать.

Он вернулся к карте и, оглядывая ее, простирая к ней хворостинку, рассказал о том, что скоро, очень скоро враг на себе испытает всю мощь ответного наступления, что на его наглую вылазку наша армия ответит тройным сокрушительным ударом и что не за горами то время, когда немецкие войска будут с позором обращены в бегство и наголову разбиты на их же собственной территории.

Мужики одобрительно запереглядывались, и лектор, оставив карту и подойдя к столу, обратился непосредственно к ним:

— Дорогие друзья! Есть еще одно немаловажное обстоятельство, не учтенное германскими горе-стратегами. Чем больше они раздуют свою военную машину, тем ненадежней она, тем опасней для них самих. Вы спросите, как так? Да потому, что их армия в большинстве своем состоит из обманутых рабочих и крестьян, которые никак не заинтересованы воевать против нас, своих же братьев. Их гонят в наступление насильно, из-под палки. Отсюда какой можем мы с вами сделать неоспоримый вывод? А тот, что подневольная армия при первом же серьезном отпоре неизбежно развалится и немецкие солдаты, такие же, как и мы с вами, простые труженики, повернут штыки против своих хозяев...

Иван Иванович покопался за отворотом чесучовой толстовки, достал какой-то листок и продолжал:

— А что касается, товарищи, нашей армии, то не буду утруждать вас всевозможными цифрами, да это, сами понимаете, и не положено в военное время, а зачитаю вам лишь некоторые установки, которые даны войскам. Надеюсь, вы сами сделаете из них надлежащие выводы и подведете черту нашей беседе. А написано тут следующее.

Первое: если враг навяжет нам войну, наша армия будет самой нападающей из всех когда-либо нападавших армий.

Второе: войну мы будем вести наступательно, перенеся ее на территорию противника.

И третье: боевые действия будут вестись на уничтожение, с целью полного разгрома противника и достижения решительной победы малой кровью.

Иван Иванович аккуратно свернул бумажку и опять спрятал ее в карман.

— Возможно, у кого есть вопросы? — поинтересовался он, вытирая платочком запотевшие очки. — Есть вопросы, товарищи?

Из задних рядов кто-то выкрикнул:

— А верно ли бают, кабудто немец одной колбасой питается?

— То есть как одной колбасой? — перестал протирать очки Иван Иванович.

— Говорят, вроде у нево хлеба своего нетути. Одни заводы, а сеять негде. Это ж он нашего хлебца маленько припас, когда договор с нами был, а так — нету.

— А откуда ж у него колбаса, ежли земли нет? — спросил Прошка-председатель, навострив язвительный взгляд в дальнюю кучку мужиков. — Колбасу без земли тоже не сделаешь. Голова!

— Дак, может, она у них такая... неправдашняя, — выкрикнул тот же голос. — Токмо чесноку, шпику добавляют для запаху.

— А ты ее нюхал? — засмеялся кто-то в толпе.

— Я-то, конечно, не нюхал. Где ж мне ее нюхать-то? Я и своей не дюже-то пробовал.

— Не морочь голову, Лобов, — обрезал Прошка-председатель, — если спрашивать, то по делу. Вечно у тебя в мозгах яишница какая-то, понимаешь.

— У кого еще есть вопросы? — повторил Иван Иванович.

— У меня есть! — объявил Давыдко. — Дак а сколь у ево народу, если он так-то бьет и бьет?

— Если считать самих немцев, — сказал Иван Иванович, — то приблизительно шестьдесят миллионов.

— А у нас сколь?

— Сто восемьдесят пять. Как говорится, по три наших на каждого немца.

— Тади ясно.

— Нет больше вопросов?

— Нема! — отозвались мужики. — Теперь все ясно.

Приезд Ивана Ивановича принес облегчение, снял томивший груз неведения, и мужики, расходясь, повеселели и даже выпили в тот вечер кружком, за конторой.

Бывает так по осени: внезапно жахнет мороз, захватит врасплох все живое, обникнут опаленные холодом разохотившиеся было и дальше расти побеги, убьет на грядах ботву, загонит в норы и под коряги всякую живность, а потом вдруг вновь нежданно растеплится, выстоятся деньки, и опять все, забыв недавние страхи и невзгоды, закопошится, запрыгает и возрадуется благодати.

— А и башковитый мужик! — похвалил Ивана Ивановича дедушко Селиван, когда после лекции расположились своей кучкой в укромных бурьянах. — Теперича все ясно. А то сидим тут — опенки опенками. Соль всю в сельпе подчистили, карасин-спички. Ситчик завалящий и тот похватали бессчетными аршинами. Иншие дак и хлеб стали припрятывать.

Вчерашние повестки разворошили было деревню, забегали, запричитали бабы. Но, оказалось, потрусили не густо, одного-двух на десяток дворов, в Касьяновом конце и вовсе никого не тронули. Да и взяли в основном молодых. Остальных, кто постарше, главную усвятскую силу и опору, пока не задели, и после лекции появилась надежда, что могут и не задеть вовсе, тем паче что против одного немца приходилось по три человека с нашей стороны. Зачем столь брать, обременять государство излишним расходом, наделять всех обужей-одежей да и хлеб зазря переводить?

— Ну, ребятки! — просветленно поднял и свою чарочку дедушко Селиван. — Бог не даст — свинья не съест. Авось обойдется. А возьмут кого, дак, ежли, как было сказано-то, есть такое предписание, чтоб на его земле биться, тади вам и делать буде нечего. Это же пока пройдете докторское обсвидетельство, пока распишут по частям — кого в пяхоту, кого в кавалерию, кого в санитары — о-ей, сколь время убежит! Дело это нешвыдкое — разобраться с каждым, кто на какую службу гож. Да пока довезут до места, колтыхать-то не ближний свет, эвон какова Россия по картето, да там примутся обучать строю, оружию, — глядишь, тем временем и попрут его без вас да и замирятся вскоре. Это как в фин-

скую. Тади тоже так вот: война, война... А воевать-то многим и не довелося. Так только — пожили в лагерях, песен строем попели, похлебали казенного варева, да и по домам восвояси.

Подвыпивший Касьян слушал все это и чувствовал, как оттаивала душа и онемевшие было руки сами собой испрашивали какого-нибудь дела. Да хоть бы и опять в луга да покоситься всласть, без спешки, маеты и оглядки.

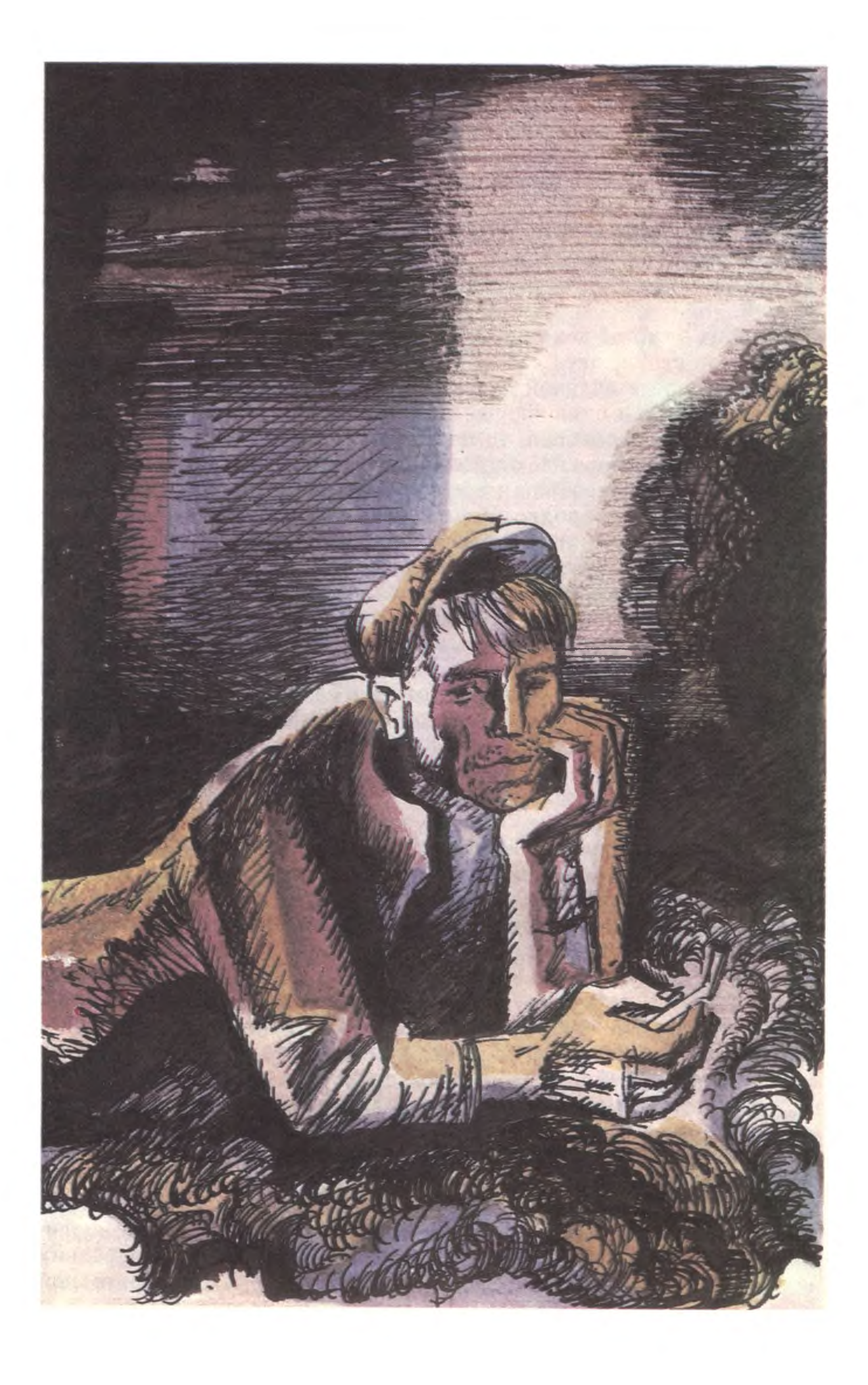
— Попрут, попрут его, голубчика! — продолжал возгораться дедушко Селиван. — Помяните мое слово, попрут. Немец, он только с наружности страховитый. Нацепляет на себя всяких железяк, блях, баклажек да ремней, а разглядеть его, дак хли-и-пкай. Штыка, к примеру, никак не выдерживает, сабли — дак за версту одного свёрку боится. Истинное слово! Бивали мы его, горохова пердуна, знато дело. Это ж, ежли порассказывать, как в ту войну, в четырнадцатую. Бывалача, как высыпем из окопов, как вдарим в штыки да как шумнем «ура!» — потыркает, потыркает по нам, видит — неймет, густо нас дюже, да и деру бежать. Так что попрут, попрут его, и не сомневайтеся в этом.

Но утешение было недолгим и хмельным, как и сама водка, по которую еще раз да другой гонял в тот тихий, полынком обвевающий вечер легкий на такое поручение Давыдко, благо что и сами жаждали этой неправды: может, и верно, все обойдется малой кровью да на ихней же, немецкой, земле. А если и отлучаться из дому, то всей и потраты, что строем попоют песни в лагерях да постербают бесплатного кулешу.

Но уже через несколько дней на деревню, как тяжелые наволочные тучи, наползли слухи, будто немец прет великим числом, позахватил множество городов, полонил и разогнал по лесам и болотам целые наши армии, которые-де побросали на дорогах пушки и обозы со всеми припасами, а которые пробуют оборонятьcя, тех немец палит огнем и давит бессчетными танками. Что тут было правдой, а что вымыслом, понять было трудно и спросить не у кого. В газетах по-прежнему ничего толком нельзя было вычитать: энская часть да энское направление — вот тебе и весь сказ.

Слухи о том, что немец идет беспрепятственно, рушит все и лютует, ходили все упорнее, и будто бы уже повоевал Белоруссию и сколько-то еще земли по-за нею. Вскоре о том помянули в газетах, дескать, после упорных боев наши войска оставили Минск. Это означало, что немец за шесть дней наступления углубился не меньше как на пятьсот верст, продвигаясь более чем по восемьдесят километров в сутки. Выходило, что мрачные слухи в общем-то были верны, и мужики, словно после тяжелого похмелья, хмуро молчали и не глядели друг на друга: какая уж там малая кровь! Кровь великая, и лилась она по своей же земле.

Виновато помалкивал и дедушко Селиван, который никак не мог взять в толк, отчего так все получилось нескладно и несуразно.



5

Одно только дело, как и прежде, в мирное время, Касьян исполнял без запинки — гонял колхозных лошадей в ночное к остомельским омутам. Гонял через день, чередуясь со своим напарником Лобовым.

Ночи стояли светлые, в благодатной теплыни. Отпустив стреноженного коня под седлом, он бросал на берег старый бараний кожух, ложился ничком головой к реке и постепенно отходил душой.

Внизу, в густой тени, под глиняной кручей, вкрадчиво бормотали сонные струи, неся с собой парные запахи кубышек, которые, разомлев еще в дневной духоте, только теперь начинали пахнуть особенно остро и опьяняюще. К этим запахам примешивалось дыхание заречных покосов, томный аромат калины, а иногда вдруг в безветрии, поборов все остальное, обнажалась нежная горечь перегретых осин, долетавшая в луга из дальнего и незримого леса.

Опершись подбородком на скрещенные руки, Касьян бездумно прислушивался, как невидимый зверушка шебуршил под обрывом, должно быть, чистил свою нору, роняя сухие комья, дробью стучавшие по воде. А на самой середине реки, на лунно осиянном плесе, все вскидывалась на одном и том же месте какая-то рыба, пуская вниз по течению один за другим кольчатые блинцы. В заречье, в сырых, дымно-серебристых от росы лозняках, неумолчно били перепела — краснобровые петушки словно нахлестывали друг друга тонкими прутиками — фью-вить! фью-вить! — и выстеганный ими воздух, казалось, потому был так чист и прозрачен.

Вкруг Касьяна в кисейной лунной голубизне маячили лошади, мирно хрумкали волглой травой. Даже теперь, в ночи, Касьян различал многих из них, и не по одной только масти.

Вон сосредоточенно, ни на что не отвлекаясь, подбирала все подряд, будто жала, словно все время помнила, что летняя ночь коротка, а день в хомуте долог, мослатая работяга Варя. Неподалеку от матери резвился Варин двухмесячный малышок со смешным кучерявым хвостиком, который он то и дело поднимал и держал на отлете, как бы вопрошая мать: а что это? а это что? Жеребенок то пробовал щипать траву, неумело тянулся короткой шеей к земле, то, узрев темный кустик татарника, таинственный в своей неподвижности, цепенел перед ним, боязливо тянулся ноздрями и вдруг, неумело взбрыкнув, отлетал прочь. Но, увидев мать, тут же забывал свои минутные страхи и вот уже, полный ликующей радости бытия и потребности куда-то мчаться, пускался отбивать копытцами — та-та, та-та, та-та, — в лихом наклоне узкого и плоского тельца вынашиваясь вокруг Вари.

А там, часто переходя, шумно отфыркиваясь, выбирала, обнюхивала каждую куртинку привередливая Пчелка — молодая, красивых донских обводов кобыла в белых чулках на передних ногах. На ней уже ездили, но она пребывала в той переходной

легкомысленной поре, когда еще не научилась терпеть упряжь как должное, и всякий раз при виде подносимого хомута западала ушами и норовила куснуть ненавистную штуковину. Но в лугах все эти удила и подпруги тотчас забывались, и она предавалась свободе и беспечности, как школьница, забросившая докучливую учебную сумку.

Там вон сошлись, чешут зубами друг другу холки неразлучные подруги Вега и Ласточка, чалые простушки, которых Касьян и в работе старался не разлучать и запрягал только в пароконку. В дышле и бежали, и тянули они ревностно, всегда поровну, честно деля и дальнюю дорогу, и нелегкий воз, и Касьян уважал их за эту добросовестную надежность.

Поодаль, подойдя к самому обрыву, недвижно стоял старый Кречет. Когда-то был он в нарядных серых яблоках, особенно по широкой груди и округлым стегнам, постепенно переходившим книзу, к ногам, в посеребренную чернь. Но со временем яблоки вылиняли, а потом и совсем пропали, и Кречет сделался просто сивым, покрылся морозным инеем, а под глубоко провалившимися салазками отросла белая стариковская борода. Конь, ослабив заднюю ногу и обвиснув репицей, в раздумье смотрел в заречье, а может, уже и никуда не глядел и ни о чем не думал, как полусухой чернобыл перед долгой зимой...

Он еще продолжал помаленьку работать, таскать свою сорокаведерную бочку на скотный двор, но и это, казалось, необременительное дело все больше утомляло его, и он тут же задремывал, как только останавливались колеса и возчик бросал на его зазубренный хребет веревочные вожжи.

Касьян, глядя на одряхлевшую лошадь, всякий раз вспоминал своего старика отца, как тот однажды, еще до колхоза, поохотившись поехать в поле, не смог сам влезть в телегу, заплакал и не поехал. «Все, Кося, отъездился я...» — проговорил он в неутешном сокрушении. Касьян попробовал было посадить старика, взял его под сухонькие закрылки — так хотелось Касьяну, чтобы и отец ну пусть не помог, а хотя бы побывал в поле на первый день жнитвы, порадовался бы дороге, воле, молодому хлебу. Но отец, отстранив Касьяна, замотал лунь-головой: «Нет, сынок, так я не хочу. Коли не работник, то и нечево...»

Недолго небось и Кречету осталось до того дня, когда он тоже не сдвинет своей бочки...

Уже в который раз Прошка-председатель, наткнувшись на Кречета, гудел, что, мол, попусту держат ненужную худобу, травят на нее корма. Но у Касьяна рука не поднималась выдворить старика за конюшню, и он упрямо, не зная и сам для чего, поддерживал в нем остывающую жизнь и даже исподтишка подкармливал чем помягче: то овсеца вымочит в ведре, то зачерпнет сечки в коровнике.

Когда перед ночным отвязывали и выпускали лошадей и те, нетерпеливо теснясь, выбегали за конюшенные ворота, Кречет,

уже зная, куда их и зачем выгоняют, тоскливо посматривал из-за своей загородки на светлый квадрат распахнутой зари и даже пытался напомнить о себе ржаньем. Но голоса у него уже не было, и он лишь немо и тяжко выдыхал неозвученный воздух. Касьян под конец выпустил и его, и Кречет, выйдя за порог, глубоко и шумно вздохнул. А потом, выфукивая пыль из-под разлатых, уже не ковавшихся копыт, тяжело неся свой громоздкий остов, трусил позади табуна, стараясь не отставать, как тогда дедушко Селиван...

«Кабы б все только с пользой, дак много на этом свете найдется бесполезного, — размышлял Касьян, глядя на серую глыбу лошади на берегу. — Не одной пользой живет человек».

Иногда к Касьяну подходила бродливая Пчелка. Лоснясь лунными бликами, вся трепетно настороженная, готовая во всякую минуту отпрянуть, взвиться и отскочить с игривым испугом, она принималась обнюхивать Касьянов узелок с едой, черный закопченный котелок, оброненный в траву ременный кнут, потом подбиралась и к самому Касьяну, тыкалась мордой в кожух, брезгливо сфыркивая от запаха овчины, тянулась мягкими губами к его старенькой кепке, пропахшей конюшней, овсом и сеном. Касьян не отпугивал кобылу, недвижно лежал, полнясь сладким удовольствием от этого осторожного прикосновения лошади, накрывшей его своей тенью и веющей терпким и таким близким и успокаивающим духом здоровой конской плоти.

— Ну, будет, будет... — наконец повернулся он к Пчелке, когда та задышала в самое ухо и даже ослюнявила его. — Ступай пощипи. А то пробегаешь так-то... Вон, глянь-ка, Варя молодчина какая.

Он говорил совсем по-мирному, будто позабыл, что идет война.

После деревенской колготы, бабьего рева и томительного ожидания чего-то здесь, в лугах, стало Касьяну особенно отрадно, тут можно было хотя бы на время отдаться тому неведению беды, в коем пребывали и эта ночная отдыхающая земля, и вода, и кони, и все, что таилось, жило и радовалось жизни в этой чуткой голубой полутьме, — всякий сверчок, птаха или зверушка, ныне никому не нужные, бесполезные твари.

Деревня кое-где еще светилась, и, когда Касьян оборачивался в ту сторону, лишь они, эти тусклые керосиновые огоньки, затаенно припавшие к земле у самого горизонта, напоминали об иной, неизбывной реальности, куда он должен был возвращаться на рассвете.

Ему казалось, что все там охвачено каким-то тяжким повальным недугом. Это поветрие, принесенное в деревню, уже проникло и расползлось по людским душам, будь то мужик или баба, старик или малое дитя. У всех без разбора оно отложило свое семя, и с ним теперь каждый просыпался, принимался что-то делать, ел или пил, шел куда-то или ехал и, отбыв сумятный день, опять забывался во сне, не избавлявшем от смуты и ожидания неизвестного.

Война...

Отныне все были ее подушными должниками, начиная с колхозного головы и кончая несмышленым мальчонкой.

Являлся ли в контору Прошка-председатель, день его занимался не с привычных заведенных обычаев, когда он, едва только взбегая на крыльцо, уже начинал шариться по карманам, отыскивая ключ от своего нового кабинета, и все находившиеся в конторе слышали, как сперва решительно клацал замок, потом сразу же начинало гулко трыкать где-то под потолком, означая, что Прошка подставил стул и самолично заводит настенные часы, а уж потом доносилось бодрое «Потапыч», когда был он в добром расположении, или нетерпеливое и требовательное «Петр-р-раков!», что на конторском языке в обоих случаях понималось: «Бухгалтера ко мне». Теперь же Прошка-председатель входил в контору без прежнего оживленного топота, будто прокрадывался, — сумной, проткнутый какой-то больной думой, с белым пятном извести на спине замятого пиджака: где-то шоркнулся в беготне о стену да так и не оттер. И после того как отпирал дверь, из его кабинета больше не слышалось ни рыка заводимых часов, ни клича бухгалтера, а наступала мертвенная тишина, которая иногда затягивалась надолго, и никто не знал, что он делал в эти немые минуты: то ли недвижно замирал у окна, то ли забывался, сидя за своим неотомкнутым столом. И только он один знал, что день его теперь начинался с опасливого погляда на телефон, поскольку на другом конце провода ежечасно, ежеминутно его караулила война. В любое мгновенье она могла ознобить властным звонком, бесцеремонным распоряжением, как уже было, когда позвонили и потребовали срочно отгрузить все наличие овса в фонд мобилизации, или оглушить в трубку худой вестью, от которой и вовсе опускались руки.

Отправлялась ли баба в сельпо, она теперь не по-будничному шла туда, лузгая семечки, чтобы, поболтав у прилавка, купить кулек лампасеток или кренделей, а уже издали зыркала, приглядываясь к лавке: не подвезли ли, подай бог, еще партию соли, которая вдруг сделалась слаще всяких конфет и которую в давке расхватали до самого пола, — волокли кто на горбу, кто на тачке, а кто в ведрах на коромысле.

Рассаживались ли на завалинке запечные старцы, — и они, не как прежде, сходились для одного лишь коротания летней погожей зари, а, гонимые все тем же недугом напасти, гадали и рядили, прикидывали на свой стариковский салтык, как оно будет, каково пойдет дале, ежли уже теперь оплошали и дозволили немцу потоптать уймищу своей земли.

И даже детишки в гурьбе на выгоне больше не забавлялись в жучка и салочки, а словно бы с ними чего сотворили, навели какую порчу, — все враз кинулись выстругивать себе сабли, ружья да пугачи. Допоздна — матерям не дозваться — галдят, галдят драчливо за огородами, бегут, бегут куда-то, пригнувшись,

прячутся по канавам и все пукают друг в друга из тесового оружия.

Но только ли на людях — на всей деревне с ее заулками и давно не поливавшимися грядами, на всякой избе и каждом предмете в дому отпечатано это нестираемое клеймо военной хворобы. От всего веяло порухой прежнего лада, грядущими скорбями, все было окроплено горечью, как подорожной пылью, и обрело ее привкус. Этот недуг души, разлад в ней сумятицы ломали, муторили и самого Касьяна, когда он оказывался во всеобщей толчее — возле правления, на скотном базу или в мужицком сходе на улице. И только здесь, в лугах, в росном безбрежье трав, в безлюдной вольнице под мирный всхрап коней и бой перепелов, Касьяна постепенно отпускало.

Раза два он уже вставал с кожуха, отыскивал оседланного Ясеня, объезжал и поправлял табун, чтобы широко не растекался, и здесь, в седле, к полуночи его настиг внезапный и такой нестерпимый голод, как после избавления от болезни. Он бросил объезд и напрямки, через лошадей, вернулся к узелку. И тут кусок крутого хлеба, на поду испеченного Натахой еще на мирной неделе, который он густо осыпал серой крупной солью и которым жадно хрустел теперь с молодым перистым луком, впервые за весь день обрел свой прежний житный вкус и даже обостренный аромат далекого детства — без горечи гнетущей несвободы.

С берегов Остомли в легкой подлунной полумгле деревня темнела едва различимой узенькой полоской, и было странно Касьяну подумать, что в эту полоску втиснулось почти полторы сотни изб с дворами и хлевами, с садами и огородами да еще колхоз со всеми его постройками. И набилось туда более пятисот душ народу, триста коров, несчетное число телят, овец, поросят, кур, гусей, собак и кошек. И все это скопище живого и неживого, не выдавай себя деревня редкими огоньками, чужой, нездешний человек принял бы всего лишь за небольшой дальний лесок, а то и вовсе ни за что не принял, не обратил бы внимания — такой ничтожно малой казалась она под нескончаемостью неба на лоне неохватной ночной земли! И Касьян приходил в изумленное смятение, отчего только там ему так неприютно и тягостно, тогда как в остальной беспредельности, середь которой он теперь распластался на кожухе, не было ни горестей, ни тягостной смуты, а царил лишь покой, мир и вот эта извечная благодать. И на него находило чувство, будто и на самом деле ничего не случилось, что война — какая-то неправда, людская выдумка.

И он отвернулся от деревни и, доедая ломоть хлеба, принялся глядеть за реку, в благоухающую кипень сырых покосных перелесков, где все живое, не теснимое присутствием человека, раскованно и упоенно праздновало середину лета.

«Вот же нет там никого, — думалось ему, — одна трава, дерева да звезды, и нет никакой войны...»

Но где-то уже за полночь в той стороне, откуда быть солнцу, в ночные голоса лугов прокрался едва приметный звук, похожий на гуд крупного жука. Касьян даже пошарил вокруг глазами, в эту пору жуки всегда летели с той стороны, из дубравных лесов, и не раз доводилось сбивать их шапкой. Отыскав потом по басовитому рыку в траве, Касьян заворачивал в тряпицу и приносил эту занятную диковинку своим ребятишкам.

Но приглушенный гуд постепенно перешел в гул, который все нарастал и нарастал, как наползает грозовая туча. Нездешний и отчужденный, с протяжным стонущим подвыванием, он неотвратимо и властно поглощал все остальные привычные звуки, вызывая в Касьяне настороженное неприятие. Сначала расплывчатый и неопределенный, он все больше густел, все явственнее определялся в небе, собирался в ревущий и стонущий ком, обозначивший свое движение прямо на Касьяна, и когда этот сгусток воя и рева, все ускоряя свой лет, пересек Остомлю и уже разрывал поднебесье над самой головой, Касьян торопливо стал вглядываться, рыскать среди звезд, размытых лунным сиянием.

В самой светлой круговине неба он вдруг на несколько мгновений, словно потустороннее видение, схватил глазами огромное крылатое тело бомбовоза. Самолет летел не очень высоко, были различимы даже все его четыре мотора, наматывавшие на винты взвихренную лунную паутину, летел без огней, будто незрячий, и казалось, ему было тяжко, невмочь нести эту свою черную слепую огромность — так он натужно и трудно ревел всем своим распаленным нутром.

Стихли, перестали взмахивать своими прутиками перепела. Затаился, оборвал сырой скрип коростель, должно быть, вытянулся столбиком, подняв к небу остренькую свою головку, сделав себя похожим на былку конского щавелька. Кони тоже оставили траву, замерли недвижными изваяниями. И только Варин жеребенок не выдержал, сорвался было куда-то, но, внезапно остановившись, потрясенно упрясь в землю широко расставленными ножками, залился отчаявшимся колокольцем. Варя, сама придавленная моторным ревом, не пошевелясь, не поворотив даже головы, а лишь подобрав брюхо, исторгла какой-то низкий утробный глас, какого Касьяну не приходилось слышать от лошади, и жеребенок, поворотив обратно, с ходу залетел под материнский живот, в самый темный подсосный угол.

Пройдя зенит, будто перевалив через гору, бомбовоз, уже снова невидимый, умерил свой рев и, отдаляясь, стал все глуше и глуше уходить к закату, возвращая лугам нарушенную тишину. Еще какое-то время он неприкаянно стонал где-то за деревней, пока наконец не изошел совсем, опять превратясь в ничто, в небылое...

Но еще долго после того луга онемело молчали. И лишь много спустя робко, неуверенно фтюкнул первый перепелок, за ним подал о себе знать второй, а уж глядя на них, расслабился в своей по-

таенной стойке и коростель, вновь из щавелевой былки обернулся скрипачом, пока еще несмелым, не одолевшим робости.

Но едва все наладилось, пошло своим прежним чередом, едва кони вспомнили о траве, как на востоке снова вкрадчиво заныло, занудело, разрастаясь вширь упрямым гудом. И опять в надсадном напряжении всех своих моторов черной отрешенной громадой прошел другой такой же бомбовоз. И было слышно, как от его обвального грохота тонко позвякивала дужка на боку Касьянова котелка.

Потом последовали тем же путем третий, четвертый, пятый...

Касьян досчитал их до двух десятков, а они все летели, озабоченные какой-то одним им известной устремленностью, заставив окончательно приумолкнуть окрест все живое. И даже кони больше не пытались кормиться, а так и остались стоять, как при обложной непогоде.

А бомбовозы все летели, заполняя ночь нарастающими волнами грома, и, пройдя над Касьяном, снова обращали рев в затихающий гул, а гул в замирающее стонание...

— Это ж она... — потерянно трезвел на своем мокром от росы полушубке Касьян. — Она ж летит...

Он даже не решался назвать это прямо, тем единственным жутким словом, замены которому не было, будто боялся навлечь беду и сюда, в ночные луга. Но теперь уже ни в нем самом, ни во всей округе не оставалось ни покоя, ни той благодати, которые еще недавно заставили было его поверить в неправду случившегося.

Война летела над ним, заполняя собой все, сотрясая каждую травинку, проникая своим грозным воочием в каждую пору земли, в каждый закоулок сознания.

— Видать, разгорается не на шутку, — говорил сам себе Касьян, догадываясь, что эти тяжелые многомоторные чудовища перегоняли к фронту откуда-то из глубины страны. Он никогда еще не видел таких огромных самолетов. Где-то они таились до поры, как прячутся невесть где до своего массового лета те черные рогатые жуки, которых он сбивал шапкой. И еще терзала его догадка, что, ежели и такая сила не может побороть врага, который успел заглотить за эти дни столько много от России, стало быть у него, у немца, и того больше заготовлена сила. Значит, придется идти. И ему, и всем подчистую...

Лишь перед рассветом, когда на востоке проклюнулась зеленая неспелая заря, бомбовозы, будто убоявшись грядущего солнца, оборвали свое пришествие: одни ушли дальше, на запад, другие больше не появлялись, оставшись где-то на скрытых гнездовьях дожидаться своего череда.

Так во тьме ночные существа, невольники инстинкта, летят на пламя пожирающего их костра.

И когда в самом зачатке утра, продрогшего от росы и израсходованного вчерашнего тепла земли, наконец наступила тишина,

она, эта тишина, как и само утро, показалась Касьяну серой, безжизненной немотой — то ли оттого, что еще не взошло солнце, или потому, что скованно и непривычно молчали луговые птицы.

6

Касьянова деревенька Усвяты некогда тянулась одним порядком по-над убережной кручей, и все избы этого порядка были обращены в заливные луга — любил русский человек селиться на высоте, чтоб душа его опахалась далью и ширью и чтоб ничто не застило того места, откуда занималось красно солнышко.

Со временем, множась, люди заложили и второй посад, позади первого, и образовались две улицы — Старые Усвяты и Полевые Усвяты, разделенные между собой привольным муравистым выгоном. Выгон этот был для полевских как бы своим лужком: здесь по первой траве весело желтели гусиные выводки, на все лады мекали привязанные телки, а по праздникам девки и парни устраивали свою толоку с гармошкой и припевками.

Уже на памяти стариков Полевые Усвяты дважды выгорали почти до последней избы — то ли оттого, что люди там строились покучнее, поприлепистее, то ли потому, что на том посаде, на самом материке, было мало колодцев.

Горели полевские летом, в суховейные годы, когда перед тем надолго задувал юго-восточный, или, как тут называли его, татар-ветер. Он выметал с дорог всю пыль до окаменелой черни земли, закручивая в хрусткие трубки листья на огурцах и картошке, скрипел пересохшими плетнями и задирал застрехи пороховых соломенных кровель.

Как ни береглись в это время, как ни запасали воду в бочках и кадушках, но довольно было невесть кем оброненной искры, чтобы все это, измученное сушью, враз занялось неудержимым полымем, с гудом пластавшим свои языки вдоль всего посада.

Касьян и сам, будучи еще мальчишкой, захватил последний такой пожар. Помнит, как закричали, завыли вдруг на дальнем конце Полевых Усвят, где теперь обитал Давыдко, как туго взбугрился желто-зеленый клуб дыма и тотчас отлетел в сторону, будто при взрыве, и понеслись рвать и метать злые, ярящиеся на ветру гривы, густо сорившие вдоль улицы огненными шмотьями и хлопьями. И вот уже закричали, заголосили на других дворах — и тех, что уже занялись, и тех, что ждали своей неизбежной участи.

Минуло тридцать лет, а Касьян и до сих пор с изморозью на душе вспоминает этот страшный, погибельный крик, вместе с огнем и татар-ветром катившийся от подворья к подворью.

И нынче случилось похожее на тот давний пожар.

Воротясь из ночного, Касьян копался под навесом, где у него был верстак, разбирал на всякий случай кое-какой поделочный материал, скопленный для домашнего обихода, когда послышался отдаленный бабий крик. Кричали где-то в Полевых Усвятах.

Встревоженно острясь слухом, Касьян отворил заднюю калитку в маленький садок из нескольких молодых яблонь и вишенника по омежью, пробрался под ветвями в конец.

Перед Давыдкиной избой, зачинавшей полевской порядок, причетно выли две бабы, осыпанные понизу ребятишками. Над ними возвышался какой-то верховой в седле. Глядеть было далековато, лиц не различить, но и без того Касьян понял, что сумятилась так, на всю улицу, Давыдкина Нюрка с детвой и старая Давыдчиха. Верховой отвалил от ихней избы, и обе бабы еще пуще заголосили, вознося руки и переламываясь пополам в бессильном поклоне. А верховой уже свернул через два дома к воротам Афони-кузнеца, и там тоже вскоре завыли, не выходя на улицу. Так и пошло, где через два двора, где через три, а где и подряд в каждом дворе. Верховой, подворачивая, словно факелом подпаливал подворья, и те вмиг занимались поветренным плачем и сумятицей, как бывает только в российских бесхитростных деревнях, где не прячут ни радости, ни безутешного горя.

— Повестки... — холодея, догадался Касьян, и когда верховой переметнулся к Старым Усвятам, заходя с дальнего от Касьяна конца, он, не зная, чем занять, куда деть эти последние минутки, снова забился в свой куток, стараясь совладать с собой, подавить оторопь, будто начатое там, в кутке, дело-недело оборонит его от неизбывного.

Дома в этот час никого не было. Натаха вместе с Касьяновой матерью, бабкой Ефросиньей, ушли на подгорные ключи полоскать белье. С ними увязались и Сергунок с Митюнькой.

Оцепенело скованный ожиданием, Касьян машинально продолжал перекладывать брусочки и дощечки: годное — в одну сторону, негодное — за порог, на растопку, когда, вздрогнув, как под бичом, услышал у ворот конский топот и чужой, незнакомый окрик:

— Хозяин! А хозяин! А ну выдь-ка сюда.

В верховом, глядевшем во двор через плетень прямо из седла, Касьян распознал посыльного из Верхних Ставцов, где располагался сельсовет. Остро, ознобливо полоснуло: «Вот он и твой черед...» И все еще продолжая вертеть в руках сухой березовый опилок, из которого собирался нарезать колесиков для детской покатушки, он глядел уже невидящими глазами, медля выходить, пока его не понукнули во второй раз:

— Эй, слышь! Некогда мне...

— Да иду... Иду я...

Отшвырнув брусок, Касьян заученно провел ладонью по волосам, как всегда при встрече гостей, вышагнул из-под застрехи и нетвердо, опасливо направился к воротам.

— Она? — спросил Касьян, подходя, упавшим голосом и зачем-то обтер руки о штаны.

— Ох, она, браток! Она самая...

Посыльный достал из-за пазухи пиджака пачку квитков, полистал, озабоченно шевеля губами, про себя нашептывая

чьи-то фамилии, и наконец протянул Касьяну его бумажку. Тот издали принял двумя пальцами, будто брал за крылья ужалистого шершня, и, так держа ее за уголок перед собой, спросил:

— Когда являться?

— А там все указано. Послезавтра уже быть на призывном. Иметь при себе котелок, ложку, все такое. На-ка, друг, распишись.

Посыльный подал через плетень свернутую чурочкой клеенчатую тетрадку со вставленным между страниц чернильным карандашом. Тетрадка была уже изрядно потрепана, замызгана за эти дни множеством рук, настигнутых ею где и как придется, как только что застала она Касьяна. Перегнутые и замятые ее страницы в химических расплывах и водяных высохших пятнах, в отпечатках мазутных и дегтярных пальцев, с этими молчаливыми следами чьих-то уже предрешенных судеб, чьих-то прошумевших душевных смут и скорбей, пестрели столбцами фамилий, против которых уже значились неумелые, прыгающие и наползающие друг на друга каракули подписей. Попадались и простые кресты, тоже неловкие, кособокие, один выше другого, и выглядели они рядом с именами еще живых людей будто кладбищенские распятия.

Касьян свернул повестку, сунул ее за шерстяной чулок. Потом, присев на одно колено, а на другое приспособив тетрадку, мазнул послюнявленным пальцем по соседству со своей фамилией и неуверенно, без привычки расписался.

— Кого еще из наших? — попытал он.

— Один не пойдешь, — неопределенно ответил верховой, засовывая тетрадку за пазуху. — Скучно не будет.

— Махотина берут?

— Это который?

— Алексей Дмитрич. Четверта изба от меня.

— А-а! Кучерявый такой? Уже поперед твоего расписался.

— А Николая Зяблова?

— И его. Вот только оттуда.

— А Лобова? Матвея Семеновича? Конюхом он, как и я.

— Да что я, всех упомню, что ли? Вон сколь повесток! Три деревни тут. И Матвея твоего подберут, куда он денется от этого.

— Выходит, под метлу...

— Что поделаешь. Значит, люди требуются. Как дровца в печку. Сказывают, больно сил у него много. Прет и прет, никакого удержу... А что, хозяин, этого самого не найдется ли?

— Чего этого? — не понял Касьян.

— Ну... что тут непонятного? — засмеялся верховой. — А то с утра мотаюсь по деревням... Бабы все нутро вытрепали, кабудто я в этом виноватый.

— А-а... Нет, друг, этого пока нету. Не взыщи.

— Пошто так-то? Али итить не собирался, не припас?

— Ну да что теперь говорить. Дак чего хоть слыхать? Где немец-то? В каких местностях?

— А-а... — Верховой отвернул от плетня, задергал поводьями. — Вот пойдешь, сам и узнаешь... Но-о! Но, пошел!

Касьян, опершись на изгородь, проводил вестового, пока тот не скрылся, не свернул к кому-то в заулок, и, тяжело ворочая думу, как впотьмах, вернулся под навес.

Там он долго, опустошенно стоял перед верстаком, обвиснув руками, ни к чему не притрагиваясь.

«Ну дак чево там... Все к тому и шло... — думал Касьян, привязавшись взглядом к щелке в стене, сквозь которую протянулся под навес солнечный лучик. — Вон и трактора в эмтээсе вместе с людьми забрали. Стало быть, армия уже своим не обходится, коли по сусекам начинают мести».

Трактора гнали вчера под вечер полевым шляхом по-за Касьяновой деревней, и многие бегали смотреть. Взяли пока одни гусеничные. Сперва прошли два старых «челябинца» без кабин, с притороченными сзади бочками запасного горючего. Машины, выхаркивая из патрубков керосиновую вонь, торопко мотали гусеницами, топили их в пухлой дорожной пыли, и та, растревоженно клубясь в вечернем безветрии, уже толсто осела и на жарко-потные, сочащиеся автолом распахнутые моторы, и на привязанные бочки, черневшие бархатными потеками, и на самих верхнеставцовских трактористов, успевших за четыре версты пути зарасти пылью до серой безликой неузнаваемости. Касьян и впрямь не узнал ни одного из троих, сидевших на первом тракторе, и только на втором углядел Ванюшку Путятина, который эту весну работал на ихних полях. Рядом с Ванюшкой тряслась всем дробненьким телом какая-то девчонка в туго обвязанном вокруг шеи платке, тоже в недвижной, омертвелой маске из пыли, — должно быть, Ванюшкина зазноба, увязавшаяся провожать, может, до самой станции, все тридцать пять верст. Ванюшкин напарник уступил ей свое место, пересел на головную машину, и они, вдвоем, дыша этой пылью, разлученные грохотом и тряской, немо коротали свои последние часочки.

— Совсем?! — крикнул Касьян проезжавшему мимо Ванюшке.

Тот за шумом не понял, наклонился за край сиденья, помахал возле уха черной пятерней, мол, ни фига не слышно.

— Совсем, говорю?! — повторил Касьян, зашагав рядом с машиной, и тоже стал делать знаки, махать рукой на закат, туда, где должна быть война.

Ванюшка наконец догадался, распахнул молодые зубы в улыбке и, воздев руки над головой, сделал из них крест, дескать, все, рассчитался и с эмтеэсом, и с домом, и со всеми здешними делами. Крест, мол, всему.

И, сдернув кепчонку, обнажив спутанный и запаренный чубчик, помахал ею остомельцам и, превозмогая лязг и грюк, бесшабашно прокричал:

— Броня крепка, и танки наши быстры! Не поминайте лихом!

Потом, через некоторое время, следом прошли еще четыре гусеничных.

Они прогрохотали с наглухо задраенными окнами кабин, уже в отчужденном безразличии к закатно-молчаливым хлебам, обдав их напоследок клубами пыли, и те, еще недавно чисто желтевшие по обе стороны, осиротело померкли и омрачились осевшей на них густой пеленой.

— Покатили ребятки... — Дедушко Селиван в раздумье потыкал батожком серо-мучной прах отпечатков гусениц на дороге. — Ну дак чё... Скоро и до лошадей дойдет. Лошадь за кочку не спрячется. Кавалерия сичас первый урон несет. А коня на заводе не сделаешь.

Расходясь, люди видели, как на крыльце правления стоял Прошка-председатель и, застясь от низкого солнца, тянулся шеей и сплюснутой своей кепкой вослед уходившей колонне. И выглядел он в этот закатный час на пустой конторской веранде согбенным и одиноким...

Невелика бумажка — повестка, но, пока Касьян стоял под навесом, пытаясь собрать воедино разбежавшиеся мысли, он все время чувствовал ее за чулком, как сосущий пластырь на нарыве. И все вертелось пустое, неотвязное: «Вот тебе и Клавка-продавщица с цветочком... Нашла-таки, нанюхала...»

Он присел на чурбак, толстый ракитовый кряж, попнулся за повесткой и уже развернул было, чтобы все перечитать, как там и что сказано, но в самый раз забрякала на калитке железная зацепа, и Касьян, воровато оглянувшись, поспешно сунул бумажку опять за чулок. Не мог, не хотел он, когда еще и сам не обтерпелся, не обвыкся с ней, не подготовился духом и силами, чтобы так вот сразу показать повестку Натахе и матери. Натахе в ее положении особенно. И он через плечо пытливо посмотрел на жену: знает или еще нет?

Но Натаха, судя по всему, ни о чем не знала, за возней с бельем внизу под горой, поди, не слышала и того тарарама, что наделал тут сельсоветский вестовой. Мать с корзинами на коромысле, Натаха с узлом на руке — обе, лишь мельком взглянув на Касьяна, устало прошли в прохладные сени. Сергунка с ними не было, успел забежать куда-то, Митюнька же, увидев отца, сидевшего на чурбаке, метнулся к нему, втиснулся меж Касьяновых колен и умиротворенно замер, как жеребенок в привычном стойле. Касьян растерянно погладил Митюньку, это щемяще-родное существо, свою кровинушку, ощущая под ладонью напеченную жарой головку, сладко пахнущую детскостью, влажным травяным подгорьем. Боязно было подумать, что уже через два дня он вот так больше не приголубит сынишку и не увидит его совсем...

— Пап, а Селезка лягуску забил, — донес Митюнька на брата.

— Как же он так?

— Палкой! Ка-а-к даст! Я ему — не смей, она холосая, а он взял и забил... Нельзя убивать лягусок, да, пап?

— Нельзя, Митрий, нельзя.

— И касаток нельзя. А то за это глом удалит.

— И касаток.

— И волобьев...

— Ничего нельзя убивать. Нехорошо это.

— Одних фасыстов мозно, да, пап?

— Ну дак фашистов — другое дело!

— Потому сто они с фасыским знаком. Ты пойди и всех их плибей, ладно, пап?

— Пойду, Митя, пойду вот... Ну, ступай, сынка, ступай, а то я тут... работаю...

Никакая, однако, работа на ум не шла. Даже этот заветный Касьянов закуток с развешанными по гвоздям пилами и ножовками, коловоротами и буравцами, всегда одним только видом смягчавшими душу, доставлявшими утеху, теперь теснил его своими стенами, и все здесь утратило смысл, отдалилось куда-то, отошло от Касьяна своей ненужностью. Он вышел во двор, без внимания, как уже нехозяин, обвел глазами плетни и постройки и, томимый какой-то внутренней духотой, душевной спертостью, не находя себе места, в чем был — в старых галошах и шерстяных чулках, где за пагольником лежала так и не прочитанная повестка, бесцельно, от одной только тесноты вышагнул за калитку, на уличный ветерок.

7

Улица была уже безлюдна в оба конца. После наскока вестового, выплеснувшись первой волной за ворота, выкричавшись там самой нестерпимой болью, бабье горе отхлынуло, убралось во дворы и там теперь, забившись в избы, дострадывалось, обтерпевалось в одиночку, каждой женщине самой по себе, кто как горазд: иная безголосо, ничком уткнувшись в подушку, иная онемев на сундуке с безвольно оброненными руками, иная ища облегчения пред восковыми и равнодушными ликами святых угодников. Но, выдюжив это первое сокрушение, постепенно приходя в себя и уже начиная жить и дышать этой новой бедой, как единственной данной им теперь явью, они примутся полуощупью двигаться по избе, искать себе дела. И вот уже вскоре, с еще не просохшими глазами, затеют подорожную стирку, спохватятся замешивать и сами подорожники и разошлют детишек по всем Усвятам и дальше Усвят, по близким и дальним родичам — разносить по ним последнюю весть, скликать к завтрашнему прощальному застолью.

Все так же бесцельно Касьян забрел в нижний городчик, постоял там середь капустных и огуречных гряд, даже прилег внизу у самого ровца под старой ракитой, но и тут ему не стоялось и не лежалось, и он наконец надумал себе занятие — сходить к Алексею Махотину да хоть покурить вместе. И, сразу почувствовав облегчение, поспешно встал, перепрыгнул ровец и зашагал, зашлепал галошами окольной тропой под межевыми ракитами.

Махотина дома не оказалось. Вышедшая на собачий брех старая Махотиха скуксилась, ужала в себя беззубый подбородок, запричетывала:

— Ох, Касьянушко, голубок! Ноги подкашиваются: пришла, пришла ему-ти бумага, штоб тому-то Гитьлеру ни дна, ни покрышки, откудова он токмо, мамай, свалился на наши головушки... Побег Ляксей наш к мужикам узнать, как да чево. Гляжу, ходит, ходит по избе-то, вот курит, вот курит! Да и пошел. Сказывал, будто к Зябловым. А тебе тоже прислали, ай минули?

— Прислали, мать, прислали.

— Ох, горемышные вы мои! Страдальцы наши! Дак хоть вместе пойдете, своей кучкой. Вместе оно все не так: куском поделитесь, словом ли... А ежели, не приведи богородица, поранють, дак и повяжете друг дружку. Ох, лихо, лихо — лишей и не было. Дак у Зяблова он, там яво пошукай, батюшко.

Не сиделось в этот день мужикам по домам, неможилось: торкнулся Касьян к Николе Зяблову, а того тоже нет в своей избе. Заходил-де за ним Махотин, да вдвоем вот толечку утрехали, кажись, к Афоне-кузнецу.

Касьян — к Афанасию, но и того дома не нашлось, и в кузне, сказали, искать его нечего: не пошел-де нынче к горну, как получил призывную бумажку.

Начал Касьян самым низом Старых Усвят, а очутился аж на Полевой улице. Никогда, ни в кои годы, ни при каких прежних бедах не бегал вот так борзо по чужим дворам, не искал на стороне себе опоры, как нынче: не чаял встретить кого-нито...

Да так вот и забрел к пустой избе дедушки Селивана...

Стояла она в общем порядке сама-разъедина, справа никого, слева никого, один репей бушует — скорбно пройти мимо, не то чтобы войти. Да и заходить не к кому: в такой-то день старик и вовсе завеялся, толчется теперь по чужим дворам. Скосился Касьян на мутные оконца без занавесок и даже вздрогнул нежданно: в темной некрашеной раме за серой мутью стекла, как из старой иконы, глядел на него желтенький лик в белесом окладе. И делала ему знаки, призывно кивала щепоть, дескать, зайди, зайди, мил человек.

В другой раз, может быть, и не зашел бы Касьян, отнекался, а тут, и не подумав даже, обрадованно и нетерпеливо пнул калитку, проворнее, чем следовало гостю, шагнул в сени и дернул дверь в жилье. Глянул в горницу, а там за табачищем —

мать честная, вот они где, соколики! — и Леха Махотин, и Никола Зяблов, и Афоня-кузнец.

Леха ничего еще, а Никола тоже, вроде Касьяна, ушел из дому как есть, в одной красной майке. И только Афоня-кузнец был уже прибран, в сатиновой рубахе, запахнутой на все пуговицы, да еще пиджак сверху.

Мужики, разглядев, кто вошел, оживились, тоже обрадовались:

— Глянь-ка, еще один залетный!

— Было б запечье, будут и тараканы, — засмеялся дедушко Селиван. Он был без привычного картуза, и безволосая его головка маячила в дыму, как недозрелая тыковка, какие по осени не берут, оставляют в огородах. — Заходь, заходь, Касьянко!

Касьян с тем же радостным облегчающим чувством крепко потискал всем руки.

— А мы тут... тово... балакаем, — пояснил Селиван. — От баб подальше. А то сичас такой момент, што токмо бабу и слыхать, вытье ее. Далече, казак, скакал-то? Гляжу вон, и штаны в репьях.

— Да... телка искал, — уклонился Касьян от правды. — Забежал куда-то...

— Найдется! Давай, садись посиди.

Касьян охотно присел на поднесенную табуретку и, обежав глазами холостяцкое жилье дедушки Селивана, неметеное, с усохшим цветком на подоконнике, достал и себе кисет с газетой на курево.

— Да как бы собаки куда не загнали, — вернулся к прежнему Касьян, чувствуя, что надо что-то говорить, притираться к компании. Все хоть и свои, знакомые до последней метины, до голого пупка, но нынче у каждого такое, что и не знаешь, что поперва сказать.

— А ну, дай-кось твоего, — потянулся к кисету Никола Зяблов. — Сколь у тебя закуриваю, а никак не раскушу, чего ты туда добавляешь.

Другие тоже соблазнились табаком, начали отрывать бумажки.

— А ничего особого и не добавляю. — Касьян польщенно пустил кисет по рукам. — Донничку самую малость.

— Белого или желтого?

— Любой сгодится. Но я белый больше люблю. А так ничего другого. Остальное сам по себе лист свое кажет.

— Лист и у меня самого такой.

— Такой, да не такой, — сказал Леха Махотин, раскуривая цигарку из Касьянова табака.

— Ох ты! А какой же? Я ж у него рассаду и брал, у Касьяна.

— Мало чего — брал.

— Рассада еще не завод, — грудно выбасил Афоня-кузнец, чисто выбритый, причесанный надвое, как на Май. — Я вон нынче

взял в Ситном, у свояка, капусты. Понравилась мне его капуста, сладкая. И сажали по уговору в один день, и земля моя не хуже, тоже низко копал, под горкою. Дак у свояка уже завилась, а моя — как занемела.

— От одних отца-матери и то дети разные, — согласно закивал Селиван. — А уж растенье и вовсе не знать, куда пойдет.

Мужики перекидывались с одного на другое, все по пустякам, не касаясь того главного, что сорвало их со своих мест, потянуло искать друг друга. Но и пустое Касьяну слушать было приятно: в неухоженной Селивановой избе среди сотоварищей, помеченных одной метой, сделалось ему хорошо и нетягостно, как бывало прежде перед праздником, когда в ожидании стола и чарки никому не хотелось попусту тратиться припасенным разговором, не спешилось ни о чем таком говорить походя, без повода и причины.

Касьян, однако, не знал, что было уже послано, и тем временем чарка объявилась и взаправду.

Хлопнула калитка, в сенях шумно затопали, и в избу ввалился Давыдко, да еще и с Кузьмой, своим шурином, длинным, сутулым мужиком по прозвищу Кол. Кузьма, кажись, был уже выпивши: зеленцовые его глаза волгло смаргивали, будто им не сиделось, было боязно глядеть с такой жердяной и ненадежной высоты. Давыдко, озабоченно распаленный хлопотами, тут же извлек из камышовой кошелки и выставил на голый стол одну за другой три засургученные поллитровки. Потом пригоршнями стал зачерпывать магазинные пряники и обкладывать ими бутылки. Вслед за ним и шуряк, перегнувшись пополам, начал таскать из мешка съестное: кругляш горячего, еще парившего хлеба, хороший шмат сала, надрезанный крестом, несколько штук старой, еще от того года, редьки в погребной земле, мятые бочковые огурцы и чуть ли не беремя луку, который об эту пору отдувался за всю прочую неподошедшую зелень.

— Ох, ловко-то как! — засуетился дедушко Селиван. — Ну ежели так, то за хлеб, за сальцо спляшем, а за винцо дак и песенку споем. Сичас, сичас и я у себя покопаюсь...

Он распахнул темный шкафчик и, привставая на носки, принялся шебуршить на его полках — достал старинную рюмку на долгой граненой ножке, эмалированную кружицу и несколько разномастных чашек.

— Все разного калибру, — виноватился старик, дуя в каждую посудину, выдувая оттуда застоялое время. — Дак ведь и так еще говорится: не надо нам хоромного стекла, лишь бы водочка текла. — И он, озорно засмеявшись, снова обратился к своему ларю. — А вот вам, орелики, и ножик редьку ошкурить. Не знаю, востер ли? И сольца нашлася. Соль — всему голова, без соли и жито трава. Да-а... Была бы жива старуха, была бы и яишанка. Ну да што теперь толковать... У меня теперича два кваса: один што вода, а другой и того жиже.

Селиван опять посмеялся своим легким готовым смешком.

Увидев все это на столе, Касьян с неловкостью сознался:

— У вас тут, гляжу, складчина. А мне и в долю войти не с чем...

— Да уж ладно, — загомонили мужики. — Без твоей доли обойдемся.

— Нашел об чем. Не тот день, штоб считаться. Давай подсаживайся.

— На пятерых припасено, а шостый сыт, — присказывал и хозяин. — Брат брату не плательщик. Отноне все вы побратимы, одного кроя одежка: шинель да ремень.

— Это уж точно, обровняли, — кивнул Никола Зяблов.

Мужики подвинули лавки, расселись вокруг стола, источавшего огуречный дух с едкой примесью редьки, и, пока Давыдко разливал по посудкам, уклончиво глядели себе под ноги. Не притрагивались и потом, когда было все изготовлено, не решались взять в руки непривычные эти чары: всякие питы́ — и крестины, и новоселья, и похороны, а таких вот еще не доводилось.

— Ну, помолчали, а теперь и сказать не грех, — подтолкнул дело хозяин. — Есть охотники?

Мужики помялись, косясь друг на друга, но промолчали.

— Ну, тади скажу я, ежели дозволите.

— Скажи, Селиван Степаныч.

— Ты хозяин, тебе и слово.

Селиван привстал, прихорошил ладошкой сивую бородку, пересыхающим ручейком стекавшую на рубаху, поднял граненую рюмку, задержал ее перед собой, как свечу.

— Ну да, стало быть, подступил ваш час, ребятушки. Приспело времечко и вам собирать сумы...

Дедко еще только начал, но тяжелы были его слова, и стало видно, как сразу отяготили они мужицкие головы, как опять пригнуло их долу.

— Думал я, когда ту кончили войну, што последняя. Ан нет, не последняя. Накопилась еще одна, взошла туча над полем...

Дедушко Селиван задержал взгляд на окне. Дрожавшая в его руке рюмка скособочилась, пролилась наполовину, но он не заметил того.

— Тут у нас все по-прежнему, — кивнул он в оконце. — Вон как ясно, тишина, благодать. Но идет и сюда туча. С громом и полымем. Хоть и говорится — велика Русь, и везде солнышко, а теперь, вишь, и не везде...

Старик подвигал туда-сюда бровями, словно сметая в кучку остатние мысли, какие еще собирался вымолвить, но, смешавшись, махнул рукой.

— Ну, да ладно... Хотел еще чево сказать, да што тут говорить. Ступайте с богом, держитеся... Это и будет вам мое слово. На том и выпейте.

Но мужики не враз кинулись расхватывать свои чарки.

Касьян продолжал теребить на штанах остатки въедливого репья, и Леха, обвиснув тяжелым чубом, замкнувшись лицом, следил за его пальцами. Налился подступившей кровью, сопел своими мехами Афоня-кузнец. Ржавым гвоздем согнулся, поник долговязый Кузьма и, чтоб не согнуться вовсе, подперся обоими кулаками. Давыдко исподлобья уставился куда-то в угол, где в полутьме перед погасшей лампадой одиноко висела простенькая дощечка с угодником. А Зяблов встал из-за стола и отошел к окну, загородив свет своею ширью.

И было в той тишине слышно, как в одичалом Селивановом дворе беспечно и обыденно чивикали воробьи.

— А-а, была не была! — наконец тряхнул головой Никола и, воротясь к столу, потянулся за кружкой. — Давайте, братки. А то так и водка выдохнется.

И, будто пробудившись, мужики ожили, потянулись наперекрест, кто чем, нехоромной посудой, стукнулись и выпили молча и жадно. И пошли шариться по столу грубыми, нехваткими пальцами, разбирая не глядя нарезанное, накромсанное. И ели тоже молча, жевали пополам с думой.

— Чего в магазине деется! — Давыдко зажмурился, покачал головой. — Содо́м! Водку нарасхват. Из Ситного понаехали. Говорят, там уже растащили.

— Ну дак чево... Ясное дело. — Никола Зяблов потянул со стола пряник. — У нас, почитай, полдеревни берут.

— Какой — полдеревни!

— И мы, видать, не последние...

— А кто после нас? Хворь одна.

— Как оно пойдет... От метлы щели нет...

— Дак, мужики, чево слыхал я в магазине-то. Будто сперва к конторе собираться. А потом уже оттудова все вместе пойдем.

— Ну и правильно. Так-то ладнее.

— И штоб подводы были. Сидора́ покидать.

— Подводы дадут, чего ж не дать. Не в гости к куме...

— Да вон Касьян сам и запрягет, сколь надо.

— Это можно, — кивнул Касьян.

— Касьяну и самому итить.

— Ну дак што... Кто-нибудь потом лошадей обратно отгонит. Да хоть Селиван Степаныч.

— Об чем толк, — готовно согласился дедушко Селиван.— Отгоним, отгоним лошадок. За этим не станет.

— Ну, да ладно. Это пустое, — перебил Никола Зяблов. — Пешие ли, конные — все там будем. А вот забота: сено! Надо бы наказать Прохор Ванычу, штоб нашим бабам сенца дал, не обидел бы. Одни ведь остаются.

— Даст, раз обещался.

— Дак кто же его знает... Время теперь такое... Овес вон забрали. И сено могут затребовать. Лошадей-то небось на войне тоже надо кормить. Они не виноватые.

— Сено! Хлеб неубранный остается.

— Да-а... — почесал за ухом Давыдко. — Не ко времени война зачалась. Что б ей погодить маленько? Ну хоть недельки бы с три-четыре. Пока б сено прибрали да хлеб. Управились бы, а тогда...

— Что и говорить, не в срок затеялась.

— А и когда война была нашему брату пахарю в пору? — посмеялся дедушко Селиван. — Смерть да война незваны завсегда.

— А я уж было сарайку начал рубить, — сокрушался Давыдко. — Венца три до крыши не довел. Знато, дак уж лучше б не начинал, лежал бы материал в сухом.

— У меня возле кузни три лобогрейки раскиданы, — покашлял в кулак Афоня-кузнец. — Прошка косится, да чего уж теперь... Делов там еще не на один день.

— Нам все — рано татарам на Русь итить, — засмеялся дедушко Селиван. — Завсегда дела находятся. То б надо, это бы... Дак вон и у Касьяна баба на последних сносях, пышкает, как квашня перед праздником. Тоже надо бы погодить с войной. Так ли, Касьянушко?

— Да уж скоро б должна родить, — потупился Касьян, почувствовав, как от этого напоминания какой-то тоскливый червь опять тошно соснул меж ребрами.

— Ах ты, осподи, грехи наши! — вздохнул и дедушко Селиван. — Погоди бить, дай пальцы в кулак возьму. Ох-хо-хо... Да што поделаешь? Огонь с соломой все равно не улежится. Так и война с нашими делами. А уж ежели занялось, годи не годи, а бросай все да иди. Тут уж тушить надобно, пока и сама изба не сгорела.

Давыдко снова расплескал по чаркам, мужики, оборвав разговор, согласно выпили и тоже согласно закурили. Дым сизыми полостями заходил по избе, ища себе выхода.

— А я, ребята, от посыльного слыхал, — заговорил Никола Зяблов, — будто бригадир заявление в сельсовет подал.

— Какое заявление? — насторожились мужики.

— Ну, штоб, значит, взяли его на фронт. Вроде как по своей охоте.

— Да ну! Иван Дронов?

— Еще на той неделе, говорят, подал.

— Гляди ты... а — молчок. Никому ни слова.

— А чего б ему в дуду дудеть?

— Ну, криворотый! Лих, лих малый!

Мужики поудивлялись, покрутили головами, и было заметно, что им почему-то сделалось неловко друг перед другом от этого известия. С ними было такое, как если бы они вшестером тужились одолеть бревно, но так и не подняли, а пришел Иван Дронов, не шибко-то и казист с виду, но, долго не раздумывая, подхватил и понес. И стало оттого совестно и непонятно: как же, мол, так?

И в оправдание своей нерасторопности начинала вертеться злая мысль, хотелось придраться, а нет ли тут чего, какого подвоха, по правилам ли сия ноша поднята?

И первым придрался Кузьма, уже заметно охмелевший.

— Да бросьте, не возьмут его! Кто же будет бригадирить? Это он так, покрасоваться. На него небось уже и бронь наложена.

— Да не, на Ивана не похоже, — сказал Леха Махотин. — Не такой он мужик, чтоб козырнуть заявлением.

— А чего ж: подал — а доси дома?

— Что ж тебе, так вот и сразу? Поди, еще рассматривают бумагу-то. Наверно ж, не один наш Иван.

— Посыльный говорил, в Верхних Ставцах еще сколько-то таких, — уточнил Зяблов. — Да из Ситного учитель.

— Ну вот, вишь... Да по другим селам. В военкомате тоже теперь запарка. Ну-ка, всех учти, всех сосчитай, кого брать, кого погодить.

— Так-то, пока рассмотрят, — хмыкнул Кузьма, — дак я, нерассмотренный, поперед их там буду. Какая ж разница? Али за то пули им особые отольют, золоченые?

— А вот и та разница, — сказал Леха Махотин. — То ты сам, а то по повестке.

— Ага... — вертанул белками Кузьма. — В хорошие набивается.

— А ты чего ж не догадался? — спросил Леха. — Ты б тоже, не будь дурак, взял бы да поперед его заявление подал. Глядишь, тебе тоже местечко подобрали б, умнику. Два аршина на бугре. А-а! Кишка тонка! Заткнись лучше.

— А ты? Ты-то сам чего ж не подал? — взвился Кузьма. — Ты ж у нас тоже всех разумней, как послухать. А сам небось первый штаны замарал...

— Не, малый, ошибся, — усмехнулся Махотин. — Штаны мои чистые. Когда надо — пойду. Прятаться за чужие спины не стану.

— Ох, ерой! В земле потурой! А из земли вытащи, дак и лапы кверху.

— Это какие такие лапы? — посерьезнел, насторожился Махотин. — Смотри, друг, говори, да не заговаривайся. Как бы ты свои не задрал...

— Ладно тебе! — одернул Давыдко шурина.

— А чего он, з-зануда. А то враз по соплям разживется.

Махотин привстал, заходил скулами.

— А ну, давай выйдем... — сдавленно проговорил он. — Пошли, гад!

— Сядь, Алексей, — нажал на его плечо Афоня-кузнец. — И ты, Кузька, не скотничай. Не гни на людей напраслину. Пока нечего корить друг дружку... Кто подал, кто не подал... Еще только за столом сидим... Кто ж был к этому готовый? Тут и с мыслями

еще не всякий совладал. Люди мы невоенные, у нас вон земля да хлеб на уме... Генералы и те небось затылки чешут, не знают, с какой карты лучше зайти, какой бить, а какую при себе держать. С какой ни пойдут, все не козырь... Все не наш верх...

— Да уж не козырь, это верно, — проговорил Давыдко.

— Вон у меня в кузне, — продолжал Афоня-кузнец, — на што уголь горюч, железо варит, а и то не сразу разгорается. Его сперва раздуть надо, а тогда и железо суй. Так и это дело. Не всякому человеку вдруг на войну собраться. Не его это занятие. Ивану, поди, жизнь тоже не копейка... Как-никак, трое пацанов. Наверно, ночи покрутился, посмолил табаку. И нечего, Кузьма, чепать его понапрасну.

— Иван партейный, — напомнил Никола Зяблов. — Может, ему так предписано.

— Всем предписано, — сунул бровями Афоня-кузнец. — Да не всяк, вишь, горазд.

И опять помолчали мужики, отрешив себя друг от друга. Кузьма, не дожидаясь череда, потянулся за бутылкой, налил себе одному и единым махом выглотал.

— А я так, робятки, на это скажу, — встрял в спор дедушко Селиван. — На войну, што в холодную воду — уж лучше сразу. Верьте моему слову. А то ежели с месяц так-то просидеть — голова не своя, в поле не работник, дак маета с думой хуже вши заест. Еще не воевал, а уж вроде упокойника. А сразу — как нырнул. Штоб душа не казнилась. Да и баб не слухать.

— Не говори! — мотнул чубом Леха. Был он хотя и ряб скуластым калмыцким лицом, но смоляной чуб в тугих завивах красил мужика пуще дорогой шапки. — Не говори, дедко! Вторую неделю война, и вторую неделю моя Катерина ревмя ревет. Садимся есть — голосит, спать ляжем — опять за свое. И все глядит на меня, вытаращится и глядит, будто я приговоренный какой... А давеча, — усмехнулся Леха, — когда бумажку вручили, как взялись обе, Катерина да бабка, как наладились в две трубы, аж кобель на цепи не выдержал. Задрал морду и тоже завыл. Хоть из дому беги.

Лехины шутливые слова про кобеля, однако, заставили всех опять запалить цигарки. Касьян тоже закурил и, отвернувшись, засмотрелся в окно, где текли, текли себе, как сон, белые бездумные облака.

Почуяв неладный крен, дедушко Селиван встал со своего места и бочком пробрался по-за тугими спинами мужиков.

— Э-э, ребятки! Не вешайте носов! — сказал он с бодрецой. — Не те слезы, што на рать, а те, что опосля. Еще бабы наплачутся... Ну, да об этом не след. Улей-ка, Давыдушко, гостям для веселья!

И, остановившись позади Махотина и Касьяна, обхватив их за плечи, затянул шутовской скороговоркой, притопывая ногой:

Ах вы столики мои, вы тесовенькие!
А чего ж вы стоите незастеленные?
А чего ж вы сидитё, хлеба-соли не ястё?
То ль медок мой нескусён, то ль хозяин невесёл?

Но тут же откачнулся от обоих, мотнул бородкой с веселой лихостью:

— А по мне, дак так: али голова в кустах, али грудь в крестах!

— Ага... Давай, дед, давай... — Кузьма, заломив луковую плеть, потыкал ею в солонку. — Ага...

— Ась? — не уловил сразу Селиван Кузькиной усмешки.

— Ага, валяй, говорю.

— Вроде и не гусь, а га да га, — отшутился дедко. — Ты к чему это, милый? На какую погоду?

— А так... — Кузьма пожевал лук вялым непослушным ртом. — Хорошо с печи глядеть, как медведь козу дереть...

— Ой ты! — Дедушко Селиван изумленно хлопнул обеими руками по пустым штанам. — Глянь-кось, экий затейник! Али я этого не прошел? Было мое время — и я с рогатиной хаживал. Ходил, милай, ходил! Да вот тебе, хошь, покажу...

Задетый за живое насмешливым хмыканьем Кузьмы, старик проворно спохватился к шкафчику, задвигал, зашебаршил в нем утварью и пожитками.

— Сичас, сичас, сынок, — бормотал он между распахнутых дверец. — Дай только отыскать... Гдесь тут было запрятано... От постороннего глазу... Никому не показывал и сам сколь уж лет не глядел... А тебе покажу... покажу... Штоб не корил попусту... Ага, вот оно!

К столу он вернулся с тряпичным узелком и, все так же присказывая «сичас, милай, сичас», трепетно-нетерпеливыми пальцами начал распутывать завязки. Под тряпицей оказалась еще и бумажная обертка, тоже перевязанная крест-накрест суровыми нитками, и лишь после бумаги на свет объявилась плоская жестяная баночка — посудинка из-под какого-то лекарского снадобья.

— На-кось, Кузьма Василич, ежли веры мне нету... На вот погляди...

Кузьма пьяно, осоловело смигивал, некоторое время смотрел на протянутую жестянку с кривой небрежительной ухмылкой.

— Ну и чево?

— Дак вот и посмотри.

— А чево глядеть-то?

Понуждаемый взглядом, Кузьма все ж таки принял жестянку, так и сяк повертел ее в руках, даже зачем-то потряс над ухом и, не заполучив изнутри никакого отзвука, отколупнул ногтем крышку.

Коробка была плотно набита овечьей шерстью, длинными, от времени пожелтевшими прядями.

— И чево? — вызрился, не понимая, Кузьма.

— А ты повороши, повороши, — настаивал дедушко Селиван.

Кузьма недоверчиво, двумя пальцами подцепил верхние прядки; под ними на такой же шерстяной подстилке покоился крест.

Было видно, как у Кузьмы медленно, будто не прихваченная засовом воротняя половинка, отвисла нижняя губа.

Мужики потянулись смотреть.

Квадратный, с одинаковыми концами крест был широколап и присадисто тяжел даже с виду. Из-под голубоватой дымки налета пробивался какой-то холодный глубинный свет никем не виданного металла, и, как от всякого давнего и непонятного предмета, веяло от него таинственной и суровой сокрытостью минувшего.

Его разглядывали с немой сосредоточенностью и так же молча и бережно передавали из рук в руки. Забегая каждому за спину, дедушко Селиван заглядывал из-за плеча, чтобы уже как бы чужими глазами взглянуть на давно не извлекавшуюся вещицу. Он и сам уже почти не верил этому своему обладанию и по-детски трепетал и удивлялся тому, что с ним когда-то было и вот теперь и ему, и всем открылось воочию.

— Орден, што ли?.. — наконец с сомнением предположил Леха.

— Егорий, сыночки, Егорий! — обрадованно закивал дедушко Селиван, задрожав губами. Глаза его набрякли, мутно заволоклись, и он поспешно шоркнул по щеке дрожливо-непослушными пальцами.

— Да-а... — Леха покачал крест на ладони. — Вот, стало быть, каков он... Слыхать слыхал, а видеть ни разу не доводилось.

— Дак где ж ты его увидишь. Нынче этим хвалиться нечего. Раза два уж предлагали, сдай, дескать. И деньги сулили. По весу, сколь потянет. Как за ложку али за серьгу. А я не признался: нету, говорю, и все тут. Давно уж нету. Еще в тридцать третьем, мол, на пшено обменял... Есть, есть и еще старики в Усвятах, которые припрятали. Да токмо не скажу я вам, не открою. Не надо вам знать про то. Теперь уж скоро помрем с этим... Велю с собой положить...

— Или царя обратно ждешь? — усмехнулся Кузьма.

— А меня уже про то спрашивали, — без обиды ответил дедушко Селиван. — Про такого сказать бы: под носом проросло, а в голове не посеяно... Вот, Кузька, тебе мой ответ: ты токмо народился, в колыске под себя сюкал, а я уже, милый ты мой, невесть где побывал. Мукден, может, слыхал?

— Это чево такое? — Кузьма шатко приподнялся и, хватаясь за стену, перебрался на хозяйскую койку.

— А-а! Чево! То-то... Штоб ты знал, есть такой город в манжурской земле. Дале-о-ко, браток, отседова. На краю бела света. Вот аж где! Ужли не слыхал про такой? Дед же твой, Никанор

Артемыч, царство ему небесное, тоже тамотка побывал. Разве не сказывал?

— Может, и говорил чево, — дремотно-вяло отозвался с кровати Кузьма. — Уж и дед не помню когда помер.

— Вот, вишь, как оно... — Селиван растерянно замигал безволосыми веками. — Скоро на нас присохло. А уж и текло, текло там красной юшки. У яво, у японца, уже тади пулеметы были. А у наших одни трехлинейки. Ну-тко потягайся супротив пулемета. Ох, и полегло там нашей головушки! Вороха несметные. Ну дак и песня есть про то.

Старик остановился лицом, согнал с него все ненужное, обыденное, оставив лишь скорбную суровость, и, опустив руки по швам, повел ломким заклеклым голосом:

Белеют кресты — это герои спят.
Прошлого тени кружатся вновь,
О жертвах в бою твердят...

Но сил хватило на одну лишь эту запевку, и глаза его вновь заволоклись и повлажнели.

— Такая вот, ребята, песня. Язви тя, голосу не хватает... Я как услышу где, сразу и являются передо мной теи дальние места. И доси помнятся.

Он утерся тряпицей, в которой хранил свой Георгий, и опять просиял добродушно и умиротворенно.

— А крест тебе за чево, батя? — спросил Леха Махотин.

— Энтот-то? Ну дак ево мне уже за германскую. За Карпаты. Да и про теи места откудова вам знать, ежели не бывали. Тоже вот кампания была, галицейская. Пожгли-попалили порохов. Да, соколики, все-ё уходит, ничем не удержать. Прах-пепел заносит. Вот и Егорий побрякушкой стал. Ехал с войны, думал, поношу, покрасуюсь, а приехал — ни разу и не надел. На всю жизнь эта на мне отметина, будто я лихоманец какой. Я б, может, сичас не таким лохматом был бы. Небось не ниже нашего Прохора... А то, говорят, больно за царя перестарался. А хрена мне царь! Я его в трактире на портрете токмо и видал. Нешто я за царя «ура» кричал? Я ж за вас, сопатых, за все вот это нашенское старался, — старик указал пальцем в окошко. — Как же было землю неприятелю уступать? Ворога токмо впусти, токмо попяться, он ни на что на твое не поглядит, перед самим алтарем штаны спустит... Вон опять на Россию идут, чего, ироды, делают, ни старых, ни малых не разбирают...

При всеобщем раздумье дедушко Селиван принялся опять укладывать орден в жестянку, бережно укрыл его овечьими кудельками, притворил крышку и, обертывая прежней пожелтелой и квелой бумагой, а потом и тряпицей, заговорил укоризненным бормотком:

— Приспел и ваш черед «ура» кричать. Теперича выкрикивайте свои ордена-медали.

Мужики молча переглянулись, словно бы оценивая, примеряя каждого к грядущему. Для старика были они сейчас как серые горшки перед обжигом: никому из них еще не дано было знать, кто выйдет из этого огня прокаленным до звона, а кто при первом же полыме треснет до самого конца.

8

Не умел дедушко Селиван долго тяготиться обидой и, видя, как присмирели от его слов новобранцы, уловив этот их переглядд, весело повернул разговор:

— Э-э, робятки, негоже наперед робеть! Поначалу оно завсегда: не сам гром стращает, а страховит неприятельский барабан. А уж коли загремит взаправду, то за громом и барабана не слыхать. Сколько кампаний перебывало — усвятцы во всех хаживали и николь сраму домой не приносили. Вам-то уж не упомнить, а я еще старых дедов захватил, которы в Севастополе побывали и на турок сподабливались. Оно ить глядеть на нашего брата — вроде и никуда больше не гожи, окромя как землю пластать. А пошли — дак, оказывается, иньше чего пластать горазды.

И, опять засмеявшись, крутанул крепко:

— Гибали мы дугу ветлову, согнем и вязову... А щас пока гуляйте! Давыдушко, улéй, улéй, попотчевай чем-нито.

И сам, тоже выпивши на равных, посопев сморщенным носом, похватав воздуху, хлопнул Касьяна по плечу:

— Все мы тут не таковские, а уж кто середь нас природный воитель, дак это Касьянка. Не глядите, что помалкивает, попусту не кобенится.

— Ты уж сказанешь, Селиван Степаныч, — зарделся Касьян и непроизвольно подобрал под скамью галоши. — С чего выдумал-то?

— А с того, что знаю.

— Я дак из ружья птахи и то не стрелил...

— Это пустое, что не стрелил, — несогласно мотнул головой Селиван.

— Дак тади откуда быть-то мне?

— А вот быть, Касьянка, быть. Нареченье твое, браток. Указание к воинскому делу.

— Какое такое указание? — и вовсе смешался Касьян.

— А вот сичас, сичас я тебе все, как есть, раскрою...

Дедушко Селиван, и вовсе развеселясь, опять полез в свой шкафчик и, оживленно покхекивая, воротился к столу с толстой и тяжелой книгой, обтянутой порыжелой кожей.

— Сичас, сичас, голубь, про то почитаем. Про твое назначение.

При виде книги мужики подтянули поближе скамейки, с нетерпеливым интересом, как малые дети, изготовились слушать

неслыханное. Всякая книжица, даже школьный букварь, вызывала к себе в Усвятах почтение, а эта, обряженная медными бляхами и застежками, ненашенских времен и мыслей, уже одним своим обликом заставила всех подобраться, а сбитый с толку Касьян даже пригладил волосы, как делал это всегда при встрече пришлого человека, перед неведомым.

В полной тишине дедушко Селиван с усилием разломил надвое книгу, опахнувшую лица сидевших слежалым погребенным ветерком старины, и, отвалив несколько ветхо-кофейных страниц, нацелил палец в середину листа.

— Ага! Вот оно! — объявил он, обретя и сам подобающую благостность.

— А ну-ка, — заерзали мужики.

Отстранясь и подслеповато сощурясь, дедушко Селиван начал ощупью лепить слова по частям, и от этой их разъятости звучали они торжественно и значительно, будто произнесенные свыше:

— Наре... нареченный Касияном да воз... возгордится именем своим... ибо несет оно в себе... освя... щение и благо... словение божие кы... подвигам бран... ным и славным...

Старик остановил палец и вопрошающе взглянул на Касьяна: усвоил ли тот сказанное?

— А исходит оно... из пределов гре... греческих... из царств... осиянных великими победами... где многия мужи почи... почитали за честь и обозначение Пла... Планиды... называть себя и сынов своих Касиянами... ибо взято наречение сие от слова... кас... кас... сис... кассис... разумеющего шелома воина... воина великаго и досто... славнаго императора Александра Маке... донскаго... и всякий носящий имя сие суть есьм непобедимый и храбрый шле... мо... носец.

Дедушко Селиван отнял от книги палец и ликующе вознес его кверху:

— Уразумел? Шлемоносец! Во как толкуется имя твое! Выходит, сызмальству тебе это уготовано — шлем носить!

— Чего напишут-то... — растерянно усмехнулся Касьян. — Сызмальства я гусей с теленками пас. Да и теперь за лошадьми хожу.

— Теленков-то ты пас, а шелом тебя, стало быть, еще с той поры дожидался.

— Ну дак все правильно! — хохотнул Давыдко. — Пойдешь днями, наденут железну каску — вот тебе и шлемоносец! Все как есть сходится.

Мужики посмеялись такому простому резону.

— Погодите, погодите! — остановил их дедушко Селиван. — Каску на кого хошь можно напялить. И на козла, и на барана. Не в каске суть. Ты вот думал, что ты Касьян да и Касьян, ан ты, вишь, какой Касьян. Вон как об твоем имени сказано: «Ибо несет оно в себе освящение...» — понял? — «...и благословение к подвигам». Во как! Это не важно, что ты птахи не

стрелил. Наука невелика, обучишься. Но ежели тебе уготовано, ты и не стрелямши ни в ково можешь такое сотворить, что и сами враги удивятся и воздадут хвалу и честь твоим подвигам, хотя и понесут от тебя урон и позор великий.

Касьян уже не перечил, а только сидел, нагнув голову, в усмешке терпеливо снося свалившееся на него стариковское празднословие.

— Вижу, парень, не веришь ты этому, — продолжал свое дедушко Селиван. — Дескать, пустое мелется. Ась? Тади давай зайдем с другого конца. Вот скажи, кто есть Прошка наш, Прохор Иваныч?

— Как кто? — пожал плечами Касьян. — Ну, председатель.

— Так, председатель. Верно. А мог ли он об этом знать, что будет председателем, когда вот так, вроде тебя, теленков мальчишкой пас?

— Дак откуда ж ему...

— Тоже правильно. Не мог он этого знать. Нарекли его мать с отцом Прохором, бегал по Усвятам этакий конопатенький ушастый пащенок, ничего не знавший о себе, тем паче наперед. Так?

— Ну так, ясное дело.

— А теперича давай заглянем в книгу... — Дедушко Селиван полистал, пришептывая: — Прохор... Прохор... отыщем Прохора... Ага! Вот он! Ну-кось, как тут про него? — И, снова перестроив голос на высокий лад, зачитал: — Смысл нареченья зело пригож... ибо разумеет собой... песно... песноводи... теля... во славу господню. А составлено сие имя... как всякое зерно... из двух равно... равновеликих долей благозвучнаго грецкаго речения... в коем одна доля «хор» означает совместное песнопение... тогда как другая доля «про»... на оном наречии понимается как старший... А совместно сии доли... воссоединясь в оное имя... означают старшаго над хором, запевнаго человека... сиречь запевалу.

И опять дедушко Селиван поучительно воздел палец:

— Запевный человек! Ну дак ясно, Прошка наш во славу божию песен не поет, он партейный, книга-то не нонешняя, не теперь писанная. Но суть совпадает — запевала! Всей усвятской жизни голова!

— Н-да! — удивились мужики. — А гляди ты, верно ведь!

— А ну-ка, Селиван Степаныч, — заинтересовался Леха. — Читани-кось, чего там про меня сказано?

— Дак и про тебя пошукаю. Сичас и про Лексея...

Дедушко Селиван снова потеребил страницы, поперекладывал их туда-сюда и, отыскав нужное место, сперва побубнил про себя, а потом уж дал короткое разъяснение:

— Про тебя, милок, тут такое сказано, што Алексий — это вроде как защитник. Так вот и написано: заступник отечества,

всех страждущих, слабых и малолетних, всех человеков и тварей божиих.

— Ишь ты! — Никола Зяблов восхищенно посмотрел на Махотина. — И Леха наш, оказывается, в большом звании. Глядикось: защитник отечества! Высо-о-кая, Лексей, у тебя должность!

Махотин остался доволен таким истолкованием.

— Дак теперь давай и про Зяблова, — засмеялся он. — Кто есть таков? А то вместе пьем-курим, а что за прыщ — не знамо.

— Вот и про Николу... А Никола у нас... — готовно провозгласил дедушко Селиван. — Никола, стало быть, так: победитель! Во как!

Мужики поворотились к Николе Зяблову, сидевшему босо и без рубахи.

— Ух ты, едрит тя в кадушку с обручами! Вот это дак Никола! Вот это дак чин!

— Что ж ты, Николка, в Усвятах-то ошиваешься? — пуще всех хохотал Давыдко. — Тебе бы в портупеях ходить, а ты доси в одной майке бегаешь.

— Ладно вам, — конфузливо осерчал Зяблов. — Шутейное это все. Для смеху писано.

— А может, и не шутейное. Вон про нашего Прохор Ваныча в самую точку. Как влито. Поди, старые люди чегой-то да кумекали, когда писали.

Прочитали и про Афоню-кузнеца, и выходило по писаному, что и Афоня не просто так, как ежели б какой лопух на огороде, а тоже назван куда с добром: не боящийся смерти! И уже как-то иначе поглядели мужики на обширные Афонины плечи, на вросшую в них сухожильными кореньями быковатую шею. Кто ж его знает, может, его и взаправду никакая поруха не возьмет...

— Не-е, братцы! Чтой-то в этой книжице есть! — блестя глазами, воскликнул Леха. — Видать, не с бухты-барахты писана. Дак и так рассудить: человек зачем-то да родился. Не токмо за сарай бегать. Небось потому и прозвище ему дается с понятием, чтоб, стало быть, направить его на что-то такое, окромя пустого счета дням...

Мужики один за другим потянулись к невиданной книге. Обтерев о штаны лопатистые ладони, глянцевевшие мозольно-сухой кожей, в застарелых, набитых землей трещинах, от которых не могли распрямляться полностью, а лишь складывались пальцами в присогнутые ковши, они бережно и неловко брали книгу обеими руками под кожаный испод, как принимали по вечерам, придя с работы, грудного младенца, не научившегося еще держать головы. И так же бережно, с почтительной предосторожностью, опасаясь учинить поруху, сделать что-нибудь не так, перекладывали ее алтарно пахнущие листы, вглядываясь в причудливо-кружевные заглавные буквицы, расцвеченные киноварью и озеленевшей позолотой. И даже пытались сами разобрать

и постичь мудреные строки, но, пошевелив сосредоточенно и напряженно губами и произнеся раздумчиво-протяжное «н-да а...», охранно передавали ее другому. Было диковинно оттого, что их имена, все эти Алексеи и Николы, Афони и Касьяны, такие привычные и обыденные, ближе и ловчее всего подходившие к усвятскому бытию — к окрестным полям и займищам, осенним дождям и распутью, нескончаемой работной череде и незатейливым радостям, — оказывается, имели и другой, доселе незнаемый смысл. И был в этом втором их смысле намек на иную судьбу, на иное предназначение, над чем хотя все и посмеялись, не веря, но про себя каждому сделалось неловко и скованно, как если бы на них наложили некую обязанность и негаданную докуку. Так бывало еще в детстве, когда матери, обрядив на праздник в новую рубаху, наказывали не мараться, блюсти себя в чистоте, и хотя на душе делалось радостно и приятно от этой обновы, но в то же время, бегая на народе, надо было все время помнить родительский наказ и часом не выпачкать рубаху. И теперь тоже мужики были негаданно озадачены этой обновой, иным значением своих расхожих имен, как будто все они были одеты в новые рубахи перед скорой дорогой и надо было там блюсти себя и не замараться.

— Ну дак, а ты ж кто таков, дедко Селиван? — блестя глазами, поинтересовался Леха. — Интересно!

— Дак про себя я уже знаю, давно вычитал.

— И как же тебя?

— А про меня тут, робятки, нехорошо...

— Не-е, давай уж читай. Ежли про всех, то и про себя давай.

— Оно про меня хоть и нехорошо, а тож верно сказано, — легко засмеялся дедушка Селиван. — Леший я. Лесной мохнарь.

— Ох ты! Это как же так?

— А вот эдак — лешачий я Селиванка. В книге так истолковано, кабудто по-греческому, по-римскому ли «сельва» лес обозначает, дремотну чащобу. А Селиван — по-ихнему и есть, стало быть, лешак. Ну, да я и согласен. Потому, кто ж я есть иной, ежли жизня моя самая лешачья — брожу, блукаю, сваво двора днями не знаю. Лешак я и есть козлоногий. Зеленомошник. Тоже и обо мне верно сказано. Значит, такова судьба.

— Дак что ж это получается? — подытожил Махотин.— Выходит, не один токмо Касьян, а и все мы тут шлемоносцы. Про кого ни зачитывали, всем быть под шлемом.

— Дак и я б заодно! — весело объявил дедушка Селиван. — Хучь я и леший, изгой непутевый, да на своей же земле. А чево? Учить меня строю не надобно, опеть же ружейному артикулу. Этова я и доси не забыл, могу хоть сичас показать. Правда, бежать швыдко не побегу, врать не стану. А остальное солдатское сполнять еще могу, истинное слово!

Был подходящий шутейный момент снова выпить по малень-

кой, и Давыдко, унюшливый на такое, не упустил случая и тут же оделил всех из очередной сулейки.

— Ну, соколики, — Селиван поднял свою стопку, взмахнул ею сверху вниз, справа налево, окрестя застольную тайную вечерю. — За шеломы ваши! Чтоб стоять им крепким заслоном. Свята та сторона, где пупок резан. А ить было время, сынки, когда воинство, на брань идучи, брало с собой пуповинки. Как охранный, клятвенный знак. Ну да выпейте, выпейте, подоспела минутка.

Выпив под доброе слово, заговорили про всякое разное, житейское, опять же про хлеб и сено, но Касьян, молчавший доселе, подал голос поперек общему разговору, спросил о том, что неотступно терзало его своей неизбежностью:

— А скажи, Селиван Степаныч... Все хочу спросить... Там ведь того... убивать придется...

Дедушко Селиван перестал тискать деснами огуречное колечко, изумленно воскликнул:

— Вот те и на! Под шелом идет, а этова доси не знает. Да нешто там в бабки играются?

Касьян покраснел и опять пересунул под лавкой галошами.

— Да я тебя не про то хотел. Ты ж там бывал... Ну вот как... Самому доводилось ли? Чтоб саморучно?

Дедушко Селиван, силясь постичь суть невнятного вопроса, морщил лоб, сгонял с него складки к беззащитно-младенческому темени, подернутому редким ковыльным пушком, в то время как его бескровно-восковые пальцы машинально теребили хлебную корочку, и то, о чем спрашивал Касьян, никак не вязалось со всем его нынешним обликом: казалось, было нелепо спрашивать, мог ли дедушко Селиван когда-либо убить живого человека.

Но тот, взглянув ясно и безвинно, ответил без особого душевного усилия:

— Было, Касьянка, было... Было и саморучно. Там, братка, за себя Паленого не позовешь... Самому надо... Вот пойдете — всем доведется.

Мужики враз принялись сосать свои цигарки, окутывать себя дымом: когда в Усвятах кому-либо приспевала пора завалить кабана или, случалось, прикончить захворавшую скотину, почти все посылали за Акимом Паленым, обитавшим аж за четыре версты в Верхних Ставцах.

— Ну и как ты его? Человек ведь...

— Ясное дело, с руками-ногами. Ну, да оно токмо сперва думается, что человек. А потом, как насмотришься всего, как покатится душа под гору, дак про то и не помнишь уже. И рук даже не вымоешь.

— Ужли не страшно?

— Правду сказать, то с почину токмо.

— И как же ты его? — теперь уже допытывался и Леха Махотин. — Самого первого?

— Эть, про чево завели! — не стерпел Никола Зяблов, но его тут же оборвали:

— Да погоди ты! Надо ж и про это знать. Не сено идешь косить. Дак как же, дедко, было то?

— Ну, как было...

И дедушко Селиван начал припоминать.

Оказывается, в японскую стрелять ему не довелось: числился он тогда по-плотницки, наводил мосты, строил укрытия, а больше ладил гробы для господ офицеров. Вместе с артелью изготовил он этих домовин великое множество, навидался всякого, но самому замараться о человека не пришлось. А в первый раз случилось это уже в четырнадцатом, в Карпатах.

—Ну, как было... Определили нас на первую позицию. Под Самбором. Еще и немца живого никто не видел, токо-токо с эшелону. И вот утречком начал он по нас метать шарапнели. Ну, бабахает, ну, бабахает! Накидал в небо баранов, напятнал черным, и вот пошел он на нас. Одна цепь да другая. Пока бил шарапнелью, сидели мы по блиндажам да по печуркам, а тут высыпали к брустеру, изготовились, тянемся, глядим через глину, каков он из себя, немец-то. Враг-то враг, а любопытно. А они идут, идут молча, одни ихние офицеры што-то непонятное курлыкают. Идут не густо, аршин этак на десять друг от дружки. Шинелки мышастые, за спинами вьюки, иные очками посверкивают. Покидали мы недокуренные цигарки, припали к прикладам, правим стволы навстречу. Надо бы уж и палять, а то вот они, близко, саженей на триста подошли. А ротмистр наш Войцехович все не велит, все травку кусает: нехай, дескать, подступятся поближче. Да куда ж еще-то? Их небось рота, а нас вполовину мене. Но дело не в роте, а то сказать, што незнамо по какой причине напал на меня колотун. Пот с меня градом, глаза выедает, а я зубом на зуб не попаду. Я уж и к земле жмусь, штоб остановиться, и руки мои онемели винтовку тискать, в плечо давить — ничево не помогает. И не новичок я был, чтоб как-то пужаться, японскую повидал, а вот затрясло меня всево, хуже лихоманки. Не то штобы немца боязно, не-е: пока я в окопе, он мне ничево не сделает, да и не один я сижу — и пулемет с нами, а было мне страшно самово себя, подступавшей минуты: как же я по живому человеку палить-то буду? Издаля еще б ладно: попал не попал, твоя ли пуля угодила али соседская — издаля не понять бы. А тут вот они — уж и пуговицы сосчитать можно. А командир все молчит, держит характер, не отдает команды — и вовсе казнит меня. И гляжу я, в самый раз на меня метит долгущий худобный немец. И вроде бы даже глядит в мое место. Шинелка на нем куцая, неладко так ремнем спеленутая, а голова маленькая, гусячья, и камилавка на оттопыренных ушах — большой вроде бы немец, а какой-то не страшный. Кто там идет справа, кто слева —

не вижу, не гляжу, а приковало меня токмо к одному этому немчину. Лицо бледное, губы зажал, поди, сам в испуге. Ну дак ясно дело, на окоп в рост итить — как не бояться? И тут они побежали на нас. Войцехович выхватил леворвер, закричал «пли», харкнули встречь немцам винтовки, зататакал на краю наш пулемет. А я, как окаменел, все не стреляю, тяну минуту, а минуты этой уж и ничево не осталось. Да упади ж ты, проклятущий, молю я ево, али отверни в сторону, не беги на меня. Вот же щас, щас по тебе вдарю! А тут уж кругом крик, пальба, гранаты фукают... Велики были впереди Карпатские горы, полнеба застили, а немец набежал — и того выше, загородил собой все поднебесье. Восстал он надо мной и замахнулся по мне прикладом. Господи Иисусе, видишь сам... — только и помолился, да и дванул на крючок, ударил в самые ево пуговицы... Открыл глаза, немца как не бывало, токмо камилавка ево в окопе моем под сапогами... Тут наши начали выскакивать наверх, зашумели «ура», а я хоть и полез вместе со всеми, а ничево не соображаю, кто тут и што. Бей меня, коли в эту пору — бесчувствен я, вот как все во мне запеклось. Нуте: вылез я на брустер, еще не встал даже, еще руками опираюсь, гляжу — а он вот он, навзничь лежит за окопной глиной. Без шапки, голова подломилася, припала ухом к погону. А глаза настежь, стылым оловом... Бегу потом, догоняю своих, а в голове бухает: мой это лежит, моя работа...

Дедушко Селиван пристально поглядел на свои руки и убрал их со стола:

— Я дак три дня опосля ничево не мог исты. Все старался подальше от людей держаться. Али работать напрашивался, штоб поумористей. Ну, а потом обтерпелся, потвердел духом, да и пошло, наладилось дело. Особливо когда сам раз да другой в атаку сходил. Самое главное, робятки, это поле перебежать, до ихних окопов добраться. В поле немец дюже жарко палит. А перебег — тут уж наш верх. В лютости, в рукопашной, ежли сам не свой, дак и убьешь — не почуется. Все одно, что в драке улица на улицу. Огрел ево, а куда угодил, чево раскроил — разглядывать некогда. Гадко токмо, когда штыком повыше брюха в грудную кость гвозданешь. Потом дергать приходится, сам не сымается. Это гадко...

— Ох, братцы! — невольно содрогнулся Никола Зяблов. — А ну, как и мы в пехоту? Да так-то вот тоже...

— А куда ж еще? — обернулся Давыдко.

— Да хоть бы в кавалерию. И то получше. Там хоть штыком пырять не придется.

— Не пырять, дак зато напополам рубить. Шашку дают небось не кашу ковырять.

— Послушать, — Афоня-кузнец кашлянул в черную пятерню, — дак вам такую б войну, штоб и курицу не ушибить.

— А тебе-то самому какову надобно? — удивленно обернулся

Никола. — По мне не умирать — убивать страшно. Али сам не такой?

Афоня-кузнец тяжело повел опущенной головой и, не глядя на Николу, глухо проговорил:

— Россия вон гинет. Немец идет, душегубничает, малых детей и тех не щадит...

— Ну дак кто ж про то не думает? — потупился Зяблов. — Уж и думки за думки зашли. Завтра вот сберемся и пойдем...

И опять воцарилась затяжная немота. Низкое, уже завечеревшее солнце ударило в дворовое окно, высветило застолье, махорочные разводы над кудлатыми головами, не раз ерошенными и скороженными за долгий день. И как и давеча, в смутную минуту, дедушко Селиван, встряхнувшись, попытался отвлечь мужиков песней, затеяв ее с тем умыслом, что остальные подхватят и подпоют:

Собирался Васильюшко,
Ой да собирался в охотушку-у,
Ой да в охоту-охотушку,
Тяжелую работушку-у...

Мужики, однако, оставили песню без внимания: хоть и было выпито довольно, но хмель нынче не брал, не доходил до души так, чтобы позвать на песню. И хозяин, погасив затею, конфузливо обронил:

— Нет, дак и нет. Не поется, дак и не свищется. Беду-горе не обманешь... Да и то сказать: боялся серп о бодяк зубья сломать, не пробовавши... А испробовал, дак и бодяк — трава.

9

Домой Касьян возвращался уже потемну. Как всегда, Давыдко потом взгоношился еще бежать за выпивкой, долго блукал по деревне, однако водкой не разжился, а добыл у кого-то полведра теплой еще, бурливой бражки. Проснувшийся Кузьма, мятый, с похмельно заплывшими глазами, завидев ведро, молча облапил его и, тяжко кряхтя и постанывая, принялся сосать прямо через край. Мужики остались досиживать, дожидаться дна у ведерка, а Касьян, опростав пару стаканов этого ласково-вкрадчивого снадобья, вскоре как-то сразу огруз и, выйдя во двор до ветру, больше не вернулся к столу. Запоздалое чувство виноватости перед Натахой оттого, что из двух оставшихся вольных дней один уже без толку извел на стороне, накатило на него, пока он слепо тыкался в чужом, незнакомом дворе, ища выход на улицу. От всего, что было там, в прокуренной Селивановой избе, в голове тупо погудывало, и на душе не было лада. Больше всего из говоренного и услышанного прикипело к нему это несуразное слово «шлемоносец», давившее его почти

осязаемой тяжестью, будто и в самом деле нес он на себе тесный стальной колпак, туго стиснувший виски.

— Напишут тоже... — бормотал он, досадливо сплевывая, отмахиваясь от навязчивого прозвища, как бы пытаясь сбросить с себя эту неприязненную ношу. — Ни к чему это... Детей токмо стращать.

Он свернул в какой-то редко им хоженный переулок, соединявший обе улицы. Под нависшими ракитами сделалось кромешно темно, как в набитом овине. Разросшийся вдоль изгороди брезентово жесткий чертополох по-осиному жалил сквозь штаны и рубаху, и он ступал ощупью, будто слепой, простерев вперед руки, ограждая глаза от колюк и случайного древесного сучка. Где-то на середине проулка Касьян запнулся о спекшиеся колчи, натоптанные скотиной, постыдно загремел, распорол на спине рубаху, потерял галошу и потом, чертыхаясь, долго елозил на четвереньках, лапал вокруг себя, хватая комья и обстрекиваясь о крапиву. И тут он, враз обдавшись жаром, вспомнил о повестке и с озабоченным испугом сунул руку за пагольник: цела ли? Нога привыкла к колкой поначалу бумажке, свернутой вчетверо, да и сама бумажка обмякла, пригрелась за чулком, так что Касьян совсем было забыл о ней. Повестка, однако, оказалась на месте и по-прежнему облегала лодыжку повыше щиколотки. Пальцы сторожко коснулись и ощупали ее, как недавно притихшую болячку. Касьян хотел было переложить извещение в карман штанов, но хранить в кармане показалось ненадежным, и он только пересунул поладнее, чтобы ощущать присутствие бумаги новым, необтерпевшимся местом. Повестка, и верно, теперь хорошо чуялась, и он, отыскав галошу, побрел дальше сквозь колючник и лопушье, ступая той ногой с охранной бережливостью, даже невольно приволакивая ее, будто намуленную водянкой.

С облегчением наконец Касьян выбрался из пыльной духоты проулка на вольный простор староусвятского посада. Улица была уже безлюдна, и он прошел до самого дома, не встретив ни души. Чувствуя, что нехорошо пьян, Касьян не осмелился сразу явиться в избу, а, давая себе остыть, прибраться душой, присел под окнами на угол колодца, откуда, из черного нутра земли, по замшелому стволу тянуло ознобливым холодком.

В заречье проступила иссиня-красная, в каких-то червоточинах и прожилках ущербная луна, клочковато оборванная, окромсанная с одного края. Касьян, забывшись, исподлобья глядел, как она натужно выпутывалась из сизой наволочи, скопившейся за долгий знойный день на краю неба, подобно тому как сбивается под ветром ряска в дальний угол зацвелой калюжины. Пробив эту хмарь, луна багрово зависла в лугах и почему-то казалась Касьяну куском парного легкого, с которого, сочась по каплям, натекла под ним красноватая лужа речной излучины. Сквозь застойную духоту, без звезд и светлого разлива, сопутствующих прохладным росным ночам, луна цедила на де-

ревню какой-то хворый, немощный свет. С ее появлением в угомонившихся было дворах собаки, будто и впрямь на лакомый кусок, подняли заливистый тявк и брех, тоскливо отдававшийся в безголосой и беспредельной ночи. И в этот брех глухо, словно со дна глубокого погреба, временами вплетался низкий, с оборванно-сиплым концом вой какой-то большой и старой собаки. Должно быть, выл на цепи махотинский кобель...

Колодезное ведро черным колпаком висело над Касьяновой головой, он даже вздрогнул, увидев его сызновеси, но, сообразив, что это обыкновенная бадейка, устыженно сплюнул и мотнул головой, как бы стряхивая дурноту:

— Пьян, пьян ты, Касьяшка... Ох и пьян, шлемоно-сец!

Приподнявшись, он изловил болтавшийся поводок, притянул к себе ведерко и, остерегаясь греметь им под окнами, опустил в глухую, без проблесков, дыру колодца. Вода была ледяная, отдавала сладцой, словно бы ее подсахарили, и он долго похмельно глотал через край, исцеляя нутро отрезвляющим холодом, а потом сунулся головой в бадью и выдержал себя так, сколько терпелось. Отпустив ведро, неслышно отлетевшее в небо, он постоял, накренясь, выжидая, пока сбежит с головы вода, затем крепко вытерся подолом рубахи и самодельным кленовым гребешком старательно прибрал волосы. Касьяну заметно полегчало, и даже непроизвольно вырвался глубокий вздох, будто он вынырнул из какого-то удушливого сна. Он достал опустевший кисет, наскреб на тощую цигарку и бережливо закурил, жалея истраченный день и думая, что лучше бы он нарубил себе свежего табаку в дорогу.

Тем временем луна заметно отбежала от горизонта, очистилась и, ровно бы тоже умывшись, ясно позолотела. Собаки как-то сами собой незаметно попримолкли, залегли по дворам, и в самой деревне и окрест нее обрелась чуткая полуночная тишина.

Умиротворенно покуривая, приходя в себя, Касьян слушал луга, привычно ловя табун: тяжелый ли переступ стреноженных маток, звякавших цепным путом, бубенчатые ли голоса сосунков, шершаво ли хриплые окрики напарника Матвея Лобова, которые по обыкновению в его ночной черед вместе с дурными матерками и ружейным бабаханьем кнута долетали аж до Усвят. Но луга были опустошело-немы, не виделось и привычного костерка на берегу Остомли, и Касьян затревожился, не понимая, в чем дело, куда девались кони: ужли не выгнал, шельмец? Утром Лобов пришел на дежурство ко времени, был, как говорится, свят и умыт, сразу забрал дегтярку и отправился готовить телеги к наряду, все шло как обычно, и вот, оказывается, не выгнал... Мелькнула мысль сходить на конюшню, узнать, как там и что, какого дьявола Матюха оставил лошадей томиться об эту пору без пастьбы. Небось не дождь, не осень, чтоб держать их взаперти. Но на конюшню надо было идти опять через всю деревню,

и он, редко бывавший так пьян, устыдился порванной рубахи и всей этой своей расхристанности.

— Ладно, теперь не набегаешься. Завтра последний денек, — остановил он себя, но тут же вспомнил, что как раз завтра ему бы и заступать, а вечером гнать в ночное. И оттого, что завтра он уже не пойдет — когда ж идти, если сумку укладывать надо, — его проняло тоскливым ощущением близкого исхода: рвались последние ниточки, привязывавшие к деревне, к привычным делам. Все, отходился, отконюховал. Дак и Лобов, поди, тоже получил повестку. Это ж наверняка получил, раз не выгнал в ночное. Как же оно тут будет, если так вот все бросим? Война с ее огнем далеко, но уже здесь, в Усвятах, от ее громыхания сотрясалась и отваливалась целыми пластами отлаженная жизнь: невесть на кого оставлялась скотина, бросалась неприбранная земля, хлеба только завосковели, а уже располовинили трактора, угнали самую главную гусеничную силу. И Афоня-кузнец тоже вон загасил свое горнило... Беда-а!

Все еще колеблясь, сходить или не сходить на конный двор, — одна минута заскочить домой, набросить пиджак, обуть сапоги, — Касьян покосился на окна своей избы и только теперь прозрело уловил в крайнем оконце тусклый прожелтень каганца, доходивший из кухни. По этому терпеливому, как лампада, язычку пламени Касьян понял, что его уже давно заждались дома. Может, уже спят и мать, и Натаха, и тем паче Сергунок с Митюнькой, но фитилек этот, оставленный на припечке, зажжен был караулить и освещать его возвращение.

«Знает или не знает Натаха?» — подумал он о повестке и, озираясь на окна, неслышно приоткрыл калитку.

Всего день не побывал дома Касьян, но, войдя, не узнал своего двора и, как чужой, замер у порога, даже не притворив за собой дверь, а так и удерживая в руке скобу: двор остановил его неожиданной белизной, будто был завален по самые застрехи снежными сугробами. Но, оборов эту внезапность, он сообразил, что путь ему перегородили заборы выстиранного белья.

— Поразвесили... — неприязненно буркнул Касьян. — Дней, што ли, не будет? Вот уйду, да и стирали б...

Он и прежде не любил вот таких повальных стирок, когда вдоль и поперек опутывали двор, запирали скотину и птицу и нельзя было лишний раз шагнуть ни к верстаку, ни к амбару. Касьян не терпел попусту околачиваться в избе и — погода, непогода — всегда находил себе дело по двору. Но то случалось перед большими праздниками, бабы сновали туда-сюда радостно-озабоченные, и он, чтобы не мешать, сам, в предвкушении стола, терпеливо перемогал бабью затею в городчике: поливал гряды, подправлял плетень, обновлял колья, оплетку, — чем-нибудь да убивал время.

Облитое мертвенным светом луны, глядевшей через ворота, нынешнее белье в безлюдном ночном дворе полоснуло его догад-

кой, и он, так и оставшись у калитки, принялся обшаривать глазами веревки, простертые от сеней к амбару и от амбара к сеням, перебирая все эти скатерки, рушники, ряднушки, наволочки, простыни и прочее добро, — хотел и не хотел найти то главное белье, ради которого, наверно, и было все это затеяно. Неловко поднырнув под первую веревку, он все-таки отыскал его, как давеча в темном проулке, шарясь с озабоченной боязнью за чулком, нашел военкоматское извещение. То главное белье вперемежку с еще какими-то постирушками висело как раз посередине второго ряда, в самом центре двора, будто для него специально отвели это лучшее место: три нательные рубахи, трое подштанников и несколько лоскутков домотканых портянок...

Противясь всему этому, Касьян понуро уставился на свои уже просохшие, олубеневшие, словно распятые, бязевые нательники, которым отныне предназначалось невесть где и сколько сопутствовать ему в незнаемом. Все, конечно, было сделано правильно, как и следовало, завтра Натахе некогда будет с этим возиться, и все же Касьяна неприятно кольнуло от этой Натахиной расторопности, будто она заведомо, еще не зная, возьмут его или не возьмут, не видя еще повестки, выпроваживала его из дому.

— Куда столько портянок, — скользнул он взглядом по замашковым кускам. — Ладно б и пару.

Он еще раз оглядел свое белье и вдруг распознал висевшие меж ним детские вещицы. Это были Митюнькины и Сергунковы штанишки, те самые, которые Натаха сшила к покосному празднику. Крошечные, жалкие от своей стираной измятости и ссохлости, с лопоухо вывороченными карманами, с немастными пуговицами на ширинках, они теснились и беззащитно льнули к его аршинной рубахе: Сергунковы — к левому рукаву, Митюнькины — к правому, словно бы хотели в последний раз побыть рядом с отцовской одежей. Для стороннего глаза не было в том ничего особенного — висят тряпки, ну и ладно, какая разница, как их ни развесь. Но Касьяну давно известны все эти Натахины дотошности. Все-то она старается сделать со своим распорядком: щей в обед и тех не нальет как попало, а сперва обязательно Касьяну, потом непременно старшенькому, после него Митюньке, затем свекрови, а тогда уж себе плеснет, что останется. И в том, как нынче было определено каждой вещи свое место на веревке — его, Касьяново, вместе с детским, — он, теплея душой и полнясь щемящей жалостью к Натахе и особенно к ребятишкам, теперь уловил этот ее тайный умысел и понимание предопределенного часа: посчитала бы дурной приметой развесить все это по разным местам, разлучить отца с ребятишками...

«Ужли, сказывают, и детей не щадят? — вспомнил Касьян разговор, обдергивая и расправляя Митюнькины штанишки. — Детишек-то за што? За такое, конешно... Сволочи».

Каганец испуганно отпрянул и заметался на припечке, когда

Касьян приоткрыл дверь. Кухня всколыхнулась и заходила зыбкими сумеречными тенями, но вскоре светильце, будто признав хозяина, опять успокоилось, выстоялось ровным желтым огоньком, похожим на тыквенное семечко. И здесь, как и во дворе, пока Касьян отсутствовал, нагромоздились перемены. Даже по одному кухонному духу чуялось, какие тут нынче раскручивались и вертелись жернова: густо, испарно отдавало хмельной кислотцой ржаного теста, мокрыми куриными перьями, толченым горохом, каленым подом простывающей печи, на которую все еще не отваживались садиться налетевшие за день мухи. Стол и лавки были захламлены чугунками и полумисками, свекольной ботвой, надерганной прозрачно-желтой незрелой морквушкой и невесть еще чем. На посудном сундуке у окна громоздилась дежа, укрытая старым ватником, а рядом с ней на лопушках зябко ежились два раздетых и обезглавленных куриных тельца, тогда как сами головки, еще в пере, в малиновых гребнях, с темными карандашиками обрубленных шей, торчавших из белых воротничков, лежали на подоконнике. Все это, содеянное без него, мимолетно было увидено Касьяном, когда он первым делом сунулся поискать в висевшей одежке чего-нибудь закурить. И как часто это бывает, когда хочешь сделать неслышно, непременно что-нибудь заденешь и нашумишь, так и тут вышло: потянувшись в карман пиджака, Касьян уронил колодчик рубленых дров, и те посыпались и раскатились гулко по половицам.

— Ты, что ли? — послышался из темного запечья материн слабый слипшийся голос.

— Я, а то кто ж, — отозвался Касьян, подбирая полешки. Лозовые дровца были сечены неумело, не в один взмах топора, как делал это сам Касьян, и, опять устыдясь своей праздной отлучки, по этим жеваным, намученным дровяным концам узнал Сергунково неловкое радение.

— Там, на загнетке, щицы, поешь.

— Не хочу, мать, — отказался Касьян.

В запечье заскрипели пересохшие доски, донесся горестный вздох старого, натруженного человека, и во сне томившегося какой-то одной неусыпной думой:

— Ох ты, осподи. Защити и помилуй.

Табаку нигде не сыскалось, за ним надо было идти в амбар, потрусить торбу, или же лезть на чердак за сухим листом, и Касьян, пошарив по посуде и набредя на остатки кваса в каком-то глечике, утешился этой нагревшейся осадной жижей. Потом, оставив галоши и сбросив подранную рубаху, в одной майке прошел в горницу.

Луна выстлала голубой холодный квадрат на полу, прихватила светом кусок ситцевой занавески, делившей горницу на две половинки. В той, занавешенной ее части, в кутнике, стояла его с Натахой самодельная деревянная кровать с резаной одоленью на головных досках, а минуя ее, в глубине, за печным

выступом, были сооружены просторные полати для ребятишек.

Касьян легонько неслышно отстранил занавеску: лунный свет выбелил за ней Натахино лицо, повернутое к нему, обездвиженное первым изморным забытьем, с безвольно разомкнутыми губами.

В топленой избяной заперти было душно, и она, скинув с себя во сне холстинковую простыню, лежала на боку, подобрав колени, оберегая ими живот, мягко оплывший, как сырой неиспеченный хлебный колоб, обтянутый тесной сорочкой. Касьян, кинув взгляд на детские полати, где, сраженно пав, разметав руки, спали голопопые ребятишки, широко раскатившиеся друг от друга, подсел на край Натахиной кровати.

— Нат, а Нат... — покликал он сторожким шепотом. — Слышь-ка.

Натаха дрогнула надбровьем, подобрала губы.

— Это я... — прошептал он, следя за ее оживающими, но все еще притворенными глазами.

Разняв веки, она молча отмаргивалась от лунного света, наверно еще не видя Касьяна, а только чувствуя его где-то поблизости.

— Окна бы открыла. Жарко в избе, — проговорил он, наводя подход к разговору. — А то шла бы в сани, на свежий воздушок...

Та промолчала, безучастно глядя мимо него в окно, на луну, и Касьян по одному этому ее взгляду понял, что не принят, что виноват, придирчиво усмехнулся.

— Али радость какая — приборку устроили? По двору не пройтить.

Натахины губы вздрогнули, она бегло, замкнуто стрельнула в Касьяна сузившимися зрачками и, опять ничего не ответив, натянула на себя простыню, как перед чужим.

Касьян, тоже обидевшись, замолчал.

Было отступивший хмель, когда он сидел у колодца, здесь, в жарко натопленной избе, вновь взыграл тошнотной мутью, и он прикрыл глаза и даже ухватился за край кровати, когда его вдруг куда-то повело вкрадчивым, все убыстряющимся кружевом, будто он сидел на плоско вращающемся колесе. Мокрые волосы, принесшие ему облегчение, теперь теплой слипшейся обмазкой неприятно обволакивали голову.

— А я тово... вишь, выпил, — повинился он, когда колесо отпустило его своим вращением.

Он опять помолчал, ожидая, что скажет на это Натаха, но та лишь оглядела его, смигивая неведомые ему мысли припухшими веками.

— Пьяный я, Наталья... Водку пил, бражку... что попадя. Дак а куда было деться? Вот, погляди...

Касьян, неловко кренясь, нагнулся к чулку, поискал бумажку.

— Вот она! Клавка безносая! — усмехнулся он и старательно расправил бумажку на коленке. — Хошь поглядеть?

Ранняя дорога, казенный дом... Все тут прописано. Послезавтра явиться с ложкой и котелком. Ну дак ложка у меня имеется, а котелка нема... Что будем делать?

И, опять не получив ответа, осторожно, опасливо покосился на жену. Взглянул — и прикусил разбухший, непослушный язык: Натаха, закрывшись ладонью, тихо, беззвучно плакала, всколыхиваясь большим, размягченным телом.

— Плачь не плачь теперь, не поможешь, — проговорил он, силясь разглядеть при лунном свете чернильную военкоматскую печать. — Во, вишь, припечатано! Все как следует.

Ему было муторно слышать, как Натаха вгоняла в себя плач, не пускала наружу̂, и тот гулькал в ней давкой икотой.

— А мне еще утром прислали. На, говорит, распишись в получении. Да все не хотел тебе говорить. Реветь возьмешься. Не люблю я этого... А ты, вишь, все одно ревешь...

— Ох! — отпустила себя Натаха тяжким смиряющим вздохом.

— Али знала уже? Гляжу, курицы порубаны.

— Да что ж тут знать? — давя всхлип, выговорила она. — Загодя знато.

— Ну, будя реветь. Не один я. Поди, из каждого двора. Афоня уж на што нужон, могли бы и погодить с ним, а тоже идет.

— Ты-то пойдешь не один, да ты-то у нас один.

— Ну, да что толковать. Жил? Жил! Семью, детей нажил? Нажил! Вон они лежат, кашееды. Да с тобой третий. Нажил — стало быть, иди обороняй. А кто ж за тебя станет? Не скажешь же Лехе: на тебе трояк або пятерку, пойди повоюй за меня! Не скажешь.

Касьян, тяжело ворочая мыслью, говорил это не только Натахе, но и самому себе, в чем и сам тоже нуждался в эту минуту.

Они помолчали, и Касьян уже сам про себя думал, вспоминая о том, что говорили за Селивановым столом, — как походя лютует немец, палит все огнем, не щадит ни малого, ни старого.

— Оно ить как, — сказал он то ли себе, то ли Натахе. — Хоть червяка взять. Который на дерева нападает. Ко времени не устерег, не сдержал, гадость эта вон уже где, новые ветки кутляет...

— Кабы б червь беспонятный, — уже ровнее говорила Натаха. — А то ж люди на людей идут. Им-то чего бы? Вон какие страсти друг против друга понавыдумывали — аропланы да бомбы.

— Бомбы не бомбы, а итить все одно надо, раз уж такое взнялось.

— Ну дак али я беды не понимаю? А токмо... Ох, Кося! Небось не жалезные вы супротив-то бомб да снарядов. Одной рубахой прикрытые.

— А то не жалезный! — безголосо посмеялся Касьян, переводя разговор на шутку. — Еще какой жалезный!

Ну-кось, подвинься, скажу, чего про меня дедко-то Селиван вычитал...

Натаха тяжело отползла к стене, и Касьян, обрадовавшись примирению, прилег рядом. От этого его, однако, опять закружило, и он, крепясь, сцепив зубы, притих.

— Отчего мокрый-то? — спросила Натаха, оглядывая его сбоку, против луны.

— А-а... пустое... Голову мочил... Дак слышь чего... — уже через силу, преодолевая тошноту, выдавил Касьян. — Читал дедко, будто у меня два прозвища.

— Как это?

— Не то чтобы два. Одно и есть... Вроде как на монете. На одной стороне — пятак, а на другой — решка.

— Кто ж тебе такую цену положил — пятак?

— Ну, это я к слову, чтобы поняла.

— Так уж и поняла.

— По-простому я, стало быть, Касьян, да?

— А кто же ты еще?

— ...а по-писаному вовсе не Касьян.

— А и правда, много нынче выпил, — первый раз усмехнулась Натаха. — Я, поди, за Касьяна выходила. Иди-ка ты, Кося, к себе. Ты совсем спишь. Вон и глаза не глядят.

— Это я так... Полежу маленько.

— Дак и кто ж ты по писаному-то?

— Аа-а! — протянул Касьян, не размыкая глаз. — Дак вот пишут — шлемоносец я! Звание мое такое.

— Чего, чего?

— Шлемоносец!

— Господи! Чего еще на себя плетешь?

— Ну... — Касьян запнулся, не находя больше пояснения этому слову. — Ну... на голову такую жалезную шапку дают. Чтобы не ушибло. По ней саданут, а мне ничего.

— Ты его токмо слушай, балабола старого. Над тобой потешаются, а ты и рад.

— Книга у него такая, старинных письмен. Я сам про себя читал. Будто мне от самого рожденья та шапка заготовлена. Я, к примеру, родился, живу, землю пашу или там еще чего делаю, ничего не знаю, а она уже гдесь лежит.

— Дак и всякому мужику она заготована. Долго ли войну кликать?

— Не-е!.. Ну... как это тебе сказать? Моя не такая. В ней я буду вроде как заговоренный.

Врал через силу, через тошноту Касьян, утешал Натаху, уводил ее от ненужных мыслей, как куропач уводит от гнезда опасность, но и сам хотел верить в такую свою чудодейственную шапку. Однако Натаха на все это только грустно вздохнула:

— Ох, Касьян, Касьян. Ровно бы младенец. И как-то ты там, на войне, будешь... Уж чего тебе заготовано, так вот оно...

Привстав на локоть, Натаха запустила руку под подушку, вытащила белый сверток.

— Может, что не так, — скажешь: завтра переделаю.

Раскрыв отяжелевшие веки и все еще не догадываясь, Касьян принялся расправлять на груди сверток, и тот развернулся холщовой сумкой, к углам которой была пришита обоими концами долгая коломянковая лямка. Смутясь так, что жаром налились уши, он молча вертел перед собой и теребил свой подорожный пещур, простерев его в лунном свете на вытянутых руках к потолку. И Натаха, прижавшись виском к его плечу, подспудно двигавшемуся жесткими желваками, шепотом поясняла:

— Сама, грешная, шила. Не след было шить своими руками. Поди, не положено?

— Почему — не след? Я ж не покойник...

— А мать и вовсе нитки не видит. Да и того пуще от слез потухла б... Я и то от нее украдкой, чтобы не видела.

— Ну-к что ж... — собравшись, как можно спокойнее проговорил Касьян. — Это дело. Без сумки не обойтись.

— Постромка не коротка ли?

— Сгодится. В самый раз... Ладный сидорок! Гляди ты: и буквы вышила! А их-то зачем?

— А так просто... Чтоб вспоминал...

— Вот, вишь, опять все руками. Так и не купили тебе машинки...

Чувство вины снова полоснуло Касьяна. Он отшвырнул, не глядя куда, сумку и потянул к себе Натаху, ища ее губы. Та отстранилась, загородилась от него ладонью.

— Не надо, Кось.

— Чего ты...

— Отпусти, не надо.

— Ну Натах... — душно, пьяно зашептал он.

— Угомонись. Маленький у нас.

— Ну да и что... — бормотал он, сам себя не слыша.

— Боюсь я. Глянь ты какой дурной. Да и мать не спит.

— Ну пошли в сарайку.

— Нет, Касьян, нет... Боюсь.

— Ухожу ведь, — обиделся Касьян.

— Нельзя так... Надо бы тебе не пить. За водкой и про меня забыл.

— Как же я помнить тебя буду? Там-то? На полгода, не меньше, а то и на весь год ухожу.

— Знаю, Кося, знаю. Да разве одним этим дом помнится? Вон дети твои спят. Их и помни. Тебя весь день не было, а они намотались, напомогались. И бураков надергали, и в погреб раз пять бегали, и куриц ловили. Сережа дак и дрова брался сечь, хекал-хекал, как старичок, самого топор перевешивает. А ему сколь еще всего без отца достанется. Мы-то с матерью теперь и куру не споймаем: одна обезножела, а я — квашня квашней.

— Табачку нигде близко нету? — отвернувшись, сказал Касьян.

— А еще и земля вон ляжет на бабьи руки, — продолжала свое Натаха. — Шутка ли, поле неоглядное. Хлеб, да бурак, да чертова уйма всего. Родится маленький и вовсе руки свяжет.

— Как назовешь-то? — спросил Касьян, опять нашарив отброшенную сумку. — Не надумала?

— Надумала... Касьяном и назову.

— Чегой-то? — удивился он и не сдержал смешка: — Опять шлемоносец?

— Не мели. Не знаю я ничего этого.

— Дак зачем еще Касьян-то?

— А чтоб слово в доме было. Ты уйдешь — и позвать так некого будет. А то вроде как ты опять с нами. Как и не уходил. А чем плохо: Косечка? А мне нравится. Пусть с этим растет.

— Под нову каску.

— Чего?

— Да это я так... Касьян дак Касьян. Может, и пригодится... У тебя нечего выпить? — спросил он, вставая.

— Куда ж тебе еще?

— Жалко, что ли? — сказал он, как-то отчуждаясь.

— Да мне не жалко. Вон у матери есть маленько на растирку. Выпей, если охота. Под печкою стоит.

— Ну, ладно... На нет и суда нет... Пошел я, раз такое дело. Натопили-то как.

10

Назначил себе Касьян встать в тот последний день пораньше, да не исполнилось: в сенной прохладе незаметно когда и как мертвецки провалился в небытие и проснулся, аж когда все щели уже сочились дымными, напористыми лучами позднего утра.

Мир уже давно жил без него, и Касьян слышал, как глухо, будто мельничный жернов, погромыхивал в избе рубель: должно быть, Натаха прокатывала вчерашнее белье; как отчего-то обиженно всхлипывал в сенях Митюнька, а под сарайным плетнем с озабоченной истомой квохтала клуша, сопровождаемая бисерным писком цыплят. И в неуемном кружении над подворьем ликующе чиликали, чиликали ласточки. От самого их прилета Касьян не затворял и наказывал другим не затворять сенника, дабы не препятствовать касаткам селиться под стропильной латвиной. Он любил прежде, вот так замерев, наблюдать, как с легким шелестом, доверчиво, будто в самую его душу, влетали птахи в дверной проем и повисали вильчатыми хвостами над головой, припав на мгновенье к отверстиям своих серых земляных жилищ. Гнезда тотчас откликались приглушенным звоном птенцов, ровно бы кто потряхивал над Касьяном глиняную кубышку с серебряными денежками. А когда мать-отец отлетали прочь,

птенцы, уже пепельно-оперенные, с улыбчивым ярко-желтым ободом рта, поочередно высовывались из летка и с любопытством оглядывали подкрышную сутемь, еще не ведая, но уже предчувствуя, что где-то совсем близко есть воля, небо и солнце. Это рассветное снование ласточек в прежние дни всегда зарождало в Касьяне легкое и радостное ощущение начала дня и потребность какого-нибудь дела.

Спал он от самых Майских праздников в сеннике, на старых розвальнях. Сани эти, уже давно без оглобель, с выпавшими через один копыльями, остались дома еще от коллективизации, и за ветхой ненадобностью он приспособил их под летнее спанье, глубокое и уютное, как большое гнездовье, где, укрывшись попоной, а ближе к осени — и полушубком, вольготно было почти до самых зазимков. В череде таких ночей, уже после того, как все угомонятся в избе, несчетно раз наведывалась к нему Натаха пошептаться наедине от чуткой свекрови, и в этом гнезде, как в касаткиной лепнине, зачали свою жизнь Сергунок с Митюнькой, родившиеся потом оба, как по заказу, в аккурат по первой капели.

Последний раз Натаха была у него уже недели три назад: то он стал отлучаться в ночное, то она крутилась с огородами, начала уставать, совсем отяжелела, и все бы ничего, как-то стерпелось бы в обыденности до лучшей минуты, не о том была главная думка на десятом совместном году, кабы не это внезапное, оставившее Касьяну считанные дни. Сено в санях обновлять уже было ни к чему, как делал он это всегда по троице, но Касьян, готовясь к прощанью, еще третьего дня все же вытряхнул слежалое старье, накосил по усадебному обмежью свежей цветастой травки, просушил незаметно, щедро настелил пахучую обнову и даже подмел в сарайке земляной пол: собирался на воле, без домашних свидетелей, не спеша и обстоятельно обо всем обговорить с Натахой. И вчера, осознавая край своему времени, уже борясь с навалившейся дремой, несмотря на ее несогласие, все же чаял прихода Натахи, как последнего причастия, из остатних сил еще долго прислушивался к избе и подворью, не скрипнет ли сенечная дверь, не объявится ли в лунном квадрате растворенных ворот неслышная тень, как бывало то прежде...

Когда изменил ему слух и когда отключились глаза и сознание, Касьян не помнил и проснулся уже другим, отрешенным, с чувством какой-то ровной и облегчающей скорби, делавшей его нездешним, отошедшим куда-то, будто и на самом деле весь этот мир жил уже без него, а он, еще в нем присутствуя, все еще видя и слыша его, был вроде бы уже ничем к нему не причастен. Лежа в санях, он отстраненно, какими-то чужими глазами глядел на залетавших касаток, уже не будивших в нем никакого чувства, кроме ненужности их суеты, и даже плач Митюньки, на который он прежде непременно откликнулся бы внутренней болью и состраданием, тотчас вскочил бы, поспешил

узнать причину и подхватил бы на руки, — даже этот плач его любимца доходил до него как из прошлого, в которое он уже не мог вступить и вмешаться.

Его настоящим была теперь дорога, та, завтрашняя, с котомкой за плечами, о которой он все еще старался не думать, но острое чувство которой, пришедшее к нему уже во сне, что-то оборвавшее и переиначившее в нем, сонном, заполнило и подчинило себе все его существо.

И он, слушая это прошлое своего двора, мысленно уже шагая по дороге, узнавал и не узнавал голос Натахи, объявившейся на сенечном крыльце:

— Ты чего ревешь-то? Глянь-кось, чумазый какой! Погоди, дай сюда нос... Ревешь-то чего?

Митюнька, икая, пожаловался:

— Да-а... Селезка сум... сумку не дает...

— Какую такую сумку?

— Па... па-а-апкину.

— Ах, он нехороший какой! Мы ему зададим. Сережа!

Сергунок, где-то затаясь, не отзывался.

— Сере-ежа!

— Мам, он за амбалом, — подсказал Митюнька.

— Ты чего ж прячешься? Не играешь с Митей?

— А чего он пыль в сумку насыпает? — отозвался Сергунок. — Я говорю, не смей сыпать, папке с ней на войну итить. А он, дурной, сыпит.

— Слушай, Сережа, — нетерпеливо перебила Натаха. — Ты знаешь, где дядя Никифор живет?

— Знаю. В Ситном он.

— Ага, в Ситном. А как туда идти — знаешь?

— Чего ж не знать. Сколь с папкой бывали.

— Ну дак как же туда?

— А мимо конторы...

— Ну, мимо конторы.

— А опосле лесок пройтить...

— Верно, лесок.

— А там лугом — и вот оно, Ситное.

— Слушай, сынка, сбегал бы ты к дяде Никифору, а?

— Один?

— Ну дак больше некому. Скажи, пусть к нам с тетей Катей приходят. Мол, папка на войну уходит. Пусть седни и придут. Запомнил? Мол, на войну...

— Ага.

— Не заплутаешься? — беспокоилась Натаха.

— А то!

— Оттуда с ними придешь.

— Ладно. Только можно я с папкиной сумкой?

— Не выдумывай!

— Ну, мам!

— Да на что тебе сумка-то?
— А так... По нашей деревне пройду.
— Нешто ты побирушка — с сумкой-то ходить?
— Прямо! Она ж солдатская.
— Ох ты горе мое — солдатская! Еще наносишься. Ее вон и укладывать пора. Папка хватится, а сумки не будет.
— А я швыдко.
— Ладно уж, бежи. Только давай я покороче ее подвяжу. Да хлебца с яичком положу. Бежать не близко.
— А я? — опять захныкал Митюнька.
— Нет, Митя, нет, маленький. Это ж вон как далеко. Не дойдешь ты.
— Дойду-у...
— Лучше я тебе куриную лапку дам. Хочешь лапку?
— Не-е! Не хоцю лапку. Хоцю папкину сумку-у...
— Ну, беда с вами. То ли с медом она, сумка-то? С горем, а не с медом... Вот Сережа сбегает, а тогда и ты поносишь. Папка тебе и ремень свой даст поносить. И картуз. Во как славно-то будет! Обрядится наш Митрий в ремень да в картуз — экий герой!
— Ну, мам, я побег! — готовно выкрикнул Сергунок. — Я скоком!
— Стой же ты, дай хлебца-то положу.
Спустя время хлопнула калитка, и Касьян слышал, как поза плетнем дробно застучали Сергунковы пятки.
— Ох ты, горюшко, — передохнула Натаха. — Все-то вам игра да потеха.

Вот уже и без него живут, опять как-то сторонне подумал Касьян, будто подглядывал за своими из иного мира. Теперь достанется Сергунку: дров насеки, по воду сходи, корову пригони, за сеном слазь, в магазин сбегай... А там картошку копать. Кому ж копать, как не ему. Матери не в пору, а бабке невмочь. Ему бы сапоги хорошие в осень, по работе и обувка должна бы... Эх, ничего не сделано, кругом неуправа...

Касьян встал, натянул штаны, ступил в галоши и, первым делом хватившись курева, вспомнил, что у него нет ни граммушки. Лаз на полати, где висел в пуках табак, шел из сеней, и он направился в избу. Во дворе уже не висело ни белья, ни веревок, но в кухне было по-прежнему ералашно, как всегда перед большой стряпней. Печь уже пылала, роняя красноватые пляшущие блики на сутемные стены, лари и кухонную утварь. В глубине горницы, невидимая из сеней, опять взялась грохотать рубелем Натаха, что-то наговаривая Митюньке.

Касьян задержался в дверях, глядя, как мать, засучив рукава под самые подмышки, обнажив иссохшие, сквозившие синевой руки, низко повязанная платком, тискала кулаками тесто, и ее острые, шишковатые локти мелькали по обе стороны узкой, сутуло выпиравшей спины, обтянутой посконной землисто-серой

кофтой. Время от времени она заморенно выпрямлялась, но, так до конца и не выпрямившись согбенной спиной, поочередно снимала с кистей, как рукавицы, белые шматы теста, шлепала ими в дежу, оскребала о край ладони и, подцепив деревянный корец, подсыпала муки в медленно заплывавшие дыры, оставленные ее кулаками. Касьян давно не видел мать за хлебом, уже непосильна стала ей эта нелегкая справа — и обхаживать саму дежу, и тягать против себя пятнадцатифунтовые колоба, чтобы потом ссадить их с деревянной лопаты в огнедышащей глубине печи, — все это непроворотное дело она передоверила невестке. Но нынче и Натахе было такое не по плечу, и вот, оказывается, мать, переступив через свои немочи, снова стала к загнетке. Ночью она, разломленная в пояснице и во всех натруженных и намаянных суставах, будет тихо стонать в своем душном запечье, тщетно приноравливаться кострецами к немилосердному ложу, которое уже ничем нельзя умягчить, будет кое-как перемогать до света растревоженную хворь, вздыхать упавшей грудью и молить бога прибрать ее поскорее. Но сейчас, понуждаемая неудержимо назревавшим тестом, пылающей печью, которые теперь уже не дадут ни роздыха, ни передышки, распалясь работой, разгоряченно, как в прежние свои годы, укрощала и техкала трехпудовую поставу, не думая, что будет с ней потом. И впалые ее щеки, иссеченные морщинами, пробил таившийся где-то прежде слабый румянец, а глаза заголубели, очистились от застаревшей наволочи, когда она обернулась к Касьяну, почуяв его присутствие. Сколько помнит себя Касьян, выпечка хлеба всегда была в их доме непреходящим событием, особенно перед сезонной страдой, а пуще — перед каким-нибудь праздником, когда затевался большой хлеб, сопровождаемый пирогами и ситниками. Встрепанная, выпачканная сажей, с уроненными меж колен вздувшимися руками, мать потом безвольно сидела на лавке рядом с бугрившимися на столе ковригами, укрытыми влажным рядном, источавшим парок и крепкий ржаной дух отдыхающего хлеба.

— К чему навела столько? — заметил Касьян, встретив возбужденный взгляд матери. — Будет тебе потом...

— Ну как же! — Мать запястьем пересунула платок повыше. — Идешь ведь...

— Махотиха, поди, тоже печет. Взяли бы взаймы покуда.

— Что ж с чужим-то хлебом? На такое со своим полагается идти. Свой в сумке полегче, попамятнее. Как же не испечь свеженького? Поешь в дороге моего хлебца. Спеку ли еще когда. Видать, последний это...

Она тихо, бесскорбно прослезилась, но тут же утерлась передником.

— Моя рука легкая была. Я ведь и отцу твоему пекла, когда еще на ту войну провожала. Ан цел пришел, невредимый.

И, приблизясь, с виноватой озабоченностью сказала:

— По-хорошему, дак надо бы хлебец-то в Ставцы сносить, окропить водицей. Да нести некому. Совсем обезножела я.

— Дак и не надо, — вяло сказал Касьян. — Не на всю войну хлеб. Покуда дойдем, весь и съестся.

— То-то, что не надо, — обиделась мать. — Вам, нонешним, ничего не надобно. Вон и Наталья без креста ходит, наперед не думает. Живете, кабудто век беде не бывать, непутевые. Ну, да уж ладно: слез моих в этом хлебе довольно замешено. Мобудь, за святую водицу и сойдут, материнские-то слезы.

Она опять всхлипнула и отвернулась от Касьяна к своим делам.

А он еще постоял, потоптался в дверях в неловкости, понимая, что нечем ему утешить старушку.

—...А змей тот немецкий об трех головах, — доносился высокий распевный голос Натахи сквозь порывы деревянного рокота рубеля. — Из ноздрей огонь брызгает, из зеленых очей молоньи летят. Да только папка наш в железном шеломе, и рубаха на ем железная. Нипочем ему ни огонь, ни полымя. А тут вот они подоспели, и дядя Алексей Махотин, и дядя Николай Зяблов, и еще много наших. Кто с рогатиной, кто с вилами, а дядя Афоня дак и с молотом...

— А папка нас с рузьем! — ликовал Митюнька. — Как пальнет по змейским баскам, да, мам?

Касьян не стал мешать Натахиной сказке, отступил в сени. По жердяной стремянке поднялся на чердак за табаком. Махорка пересохла за зимнюю лежку, надо бы всю и помельчить по осени, да все недосуг было. Кто же знал, что так вот враз понадобится. Спустившись с беремком, Касьян нащипал на закур, а остальное сунул в кадку с водой и подвесил под сараем отволгнуть, чтобы под топором не крошилось костриками. И, жадно закурив из одного листа, укрылся на задах под вишенником подождать, пока подвешенный табак вберет в себя влагу и помягчает.

По солнцу было около десяти, но Усвяты — и Старые, и Новые — против обычного, еще не оттопились, в безветрии дружно дымили почти каждой трубой: везде затевали большие подорожные хлебы, стряпали прощальные столы. По Полевой улице уже сновал какой-то люд, бабы и старушки в белых платках, выряженные, несмотря на теплынь, в плюшевые полусачки и поддевы, брели чинно вдоль посада, придерживая за руку зевавших по сторонам детишек: видать, сходились гости. Возле Кузьмина двора стояла подвода с пегой, в рыжих заплатах нездешней лошаденкой. Касьян долго таился в тени вишенья, будто привязанный, и ему ничего и никого не хотелось.

Потом рубил он у себя под навесом табак в долбленом корытце, время от времени просевая крошево на самодельном жестяном сите. Рубил машинально, погрузясь в несвязные думы, в бесчувственное отсутствие, пока не подошла, не окликнула Натаха.

— Чего есть-то не идешь?

— Чтой-то не хочется, — буркнул Касьян.

Она подошла ближе, теплой ладонью взъерошила волосы. Касьян перестал тюкать, выжидал, не поднимая глаз. Ему были видны одни только Натахины босые ноги, заметно отекшие в щиколотках.

— Будя тебе, Сережа придет, досечет. Я его к Никифору послала. Ты бы, Кося, помылся, чистое надел, пока из Ситного придут. Мать воды нагрела.

— Ладно, успеется, — нехотя отозвался он.

— Да когда ж... Последний денек.

В Усвятах, как и во всем подстепье, бань не заводили и потому мылись скупо, в корытах и лоханях, зимой — дома, наплескивая на полы, летом — в сарайках, и все это еще с самого детства засело как докучливая обуза.

— Я лучше на реку схожу, — сказал Касьян, откладывая топор.

— Сходи, сходи, — одобрила Натаха. — Там повольнее. И белье возьми чистое. Только вот накатала. Будет ли вам баня, а ты уже чистый пойдешь, прибранный.

11

Из дальних веков, запредельных для человеческой памяти, течет Остомля-река. От начала и до конца дней пересекает она собой жизнь каждого усвятца, никогда не примелькиваясь, а так и оставаясь пожизненной радостью и утехой.

Свою последнюю зиму доброй памяти Тимофей Лукич, досточтимый Касьянов папаша, едва перемог в хвори и немочи. Отлежал он аж до новой травы и уже было запросил причастия, как внял над избой первый предмайский гром. Дождь пролился недолгий, но спорый, и старику, должно, было слышно в незадвинутую печную вьюшку, как обмывал он кровлю и саму трубу, как прокатывалось по небу вешнее разгульное громыхание. Слабым голосом, однако же и настойчиво, Тимофей Лукич потребовал снять его с истертых печных кирпичей и проводить на улицу. Касьян и Натаха обрядили его потеплее, вздели спадавшие катанки и — легкого, утонувшего в шапке — снесли в палисад, на уличную завалинку. Натаха втемеже ушла хлопотать свои хлопоты, а Касьян, которому хотя и тоже было недосуг, остался с отцом, придерживая его за плечи, боясь, как бы старику не закружило голову после избяной спертости. Из глубины овчинного ворота и насунутого треуха заслезившимися от непривычного света и вольной свежести глазами, замерев, уставился он в умытые дали и просидел так немо, ни о чем не спрашивая Касьяна, у которого уже и рука затекла поддерживать старика и не терпелось вернуться к прерванному делу под навесом. Понимал Касьян, что никогда более отцу не пересечь самому лугов, не посидеть на бережку Остомли, но и теперь, в последние свои

деньки, старик тянулся туда неутоленной душой, все глядел и глядел в заветную речную сторону, хотя отсюда, с деревенской улицы, и не видать ему самой Остомли, кроме отрезка излучины в одном-разъединном месте. Уж казалось бы, что ему теперь эта излука, да и мало ли чего, кроме нее, видится в лугах, ан нет: время от времени туда-сюда повернет взглядом — на сбежавшую за лес нашумевшую тучу, на коров, на купы старых ив возле мельницы — и опять оборотится к дальнему взблеску воды и замрет, будто в дреме. Да и сам Касьян, бывало, ни на лес, ни даже на кормившее его хлебное поле не смотрел столь без устали, как гляделось ему на причудливые остомельские изгибы, обозначенные где ивняком, где кудлатыми ветлами, а где полоской крутого обреза.

Вода сама по себе, даже если она в ведерке, — непознанное чудо. Когда же она и денно и нощно бежит в берегах, то норовисто пластаясь тугой необоримой силой на перекатах, то степенясь и полнясь зеленоватой чернью у поворотных глин; когда то укрывается молочной наволочью тумана, под которой незримо и таинственно ухает вдруг взыгравшая рыбина, то кротко выстилается на вечернем предсонье чистейшим зеркалом, впитывая в себя все мироздание — от низко склонившейся тростинки камыша до замерших дремотно перистых облаков; когда в ночи окрест далеко слышно, как многозвучной звенью и наплеском срывается она с лотка на мельничное колесо, — тогда это уже не просто вода, а нечто еще более дивное и необъяснимое. И ни один остомельский житель не мог дать тому истолкованье, не находил, да и не пытался искать в себе никаких слов, а называл просто рекой, бессловесно и тихо нося в себе ощущение этого дива.

По весне взбухшая от талых снегов Остомля выплескивалась из берегов, подтопляла займище до самой суходольной дубравы, поднимала полой водой валежник, бурелом, старую зимнюю чащобную неразбериху, гнула и бодала уже набухший почками урёмник, и бежало и плыло оттуда застигнутое большое и малое зверье до надежной тверди — уцелевших островов и обмысков. В левобережной же, усвятской, стороне воде и вовсе не было удержу, и она охватно разбегалась по всему лугу под самые огороды, на великую радость ребятишек. С Касьянова мальчишества и по сию пору, а до Касьяна — сколь стоят на этом юру Усвяты, вешний разгул Остомли всегда собирал к себе детвору, и не было радостнее в природе события, чем краткая, но звонкая пора ледохода, преисполненная апрельской ярости солнца, вербяно-снежного настоя ветра, птичьего перелетного гама и крепкого духа отопревшей на взлобках земли. Касьян и сам когда-то, полубосой, полураздетый, в лаптишках, чавкающих грязными пузырями, с беспечной лихостью скакал по забредшим в огороды льдинам, не раз ошмыгивался под общий хохот мальцов, а потом тайком сушился за кустами у рьяно гудевшего на ветру костра. Мечущееся пламя сокрушало все, что удавалось изловить в бегу-

чей воде, — вывороченные бревна мостов, опрокинутые плетни, унесенные кадки, корыта, детские салазки и прочий обиходный луб, смытый рекой по дальним и ближним остомельским деревням, и Касьян, нагой, с опаленными бровями, приплясывал и увертывался бесом от порывов огня, стрелявшего раскаленными углями и осыпавшего пчелино кусачими искрами. А теперь вот по весне и Сергунка не докликаться, не оттащить от полой воды, пока мать или бабка не налетят с хворостиной.

Неспешно шел Касьян луговой тропкой, в руке камышовая корзинка с нижним бельем, с чистой рубахой, кусок мыла завернут в рушник — не хотелось спешить, шел, оглядываясь, вроде как запоминая, и все такое разное всплывало из прошлого вперемежку с теперешним.

К Майским праздникам Остомля, утомясь и иссякнув, скатывалась в берегах и, будто устыдясь своего недавнего буйства, смирела, тихо отцеживалась на чистых песках и отогревалась в затонах и заводинах. А луг, еще не просохший, еще в бесчисленных остатних блюдцах и калюжинах, уже буйно, безудержно зеленел, и на этой его молодой мураве, где еще ветру и качнуть нечего, не то чтобы развести травяную волну, словно на новой праздничной скатерти, были особенно приметны следы недавнего речного разгула. Белели языки намытого песка и россыпи пустых ракушек; масляно лоснились пробитые травой заилины; хрустели под ногами легкие сухие карандашины прошлогоднего ситника, широкими строчками обрамлявшего низины и береговые скаты; бугрились пласты корневищ, старой осоки, где-то выдранной и унесенной льдом, которая тут же на новом месте как ни в чем не бывало принималась пускать свежие красноватые пики.

Отступала река, вслед за ней устремлялись шумные ребячьи ватажки, и было заманчиво шариться в лугах после ушедшей воды.

Чего тут только не удавалось найти: и еще хорошее, справное весло, и лодочный ковшик, и затянутый илом вентерь или кубарь, и точеное веретенце, а то и прялочье колесо. Еще мальчишкой Касьян отыскал даже гармонь, которая хотя и размокла и в подранные мехи набило песку, но зато планки оказались в сохранности, и он потом, приколотив их к старому голенищу, наигрывал всякие развеселые матани.

Но пуще всего было забавы, когда в какой-нибудь мочажине удавалось обнаружить щуку, не успевшую скатиться за ушедшей водой. Смельчаки разувались и, вооружившись палками, лезли в студено-прозрачную, отстоявшуюся воду, где было видать каждую былку, каждый проросший стебелек калужницы. Щука черной молнией прошивала мелководье, успевала прошмыгивать между ребячьих ног, делала отчаянные «свечи», окатывая брызгами оторопевших ловцов. Под конец в азарте охоты все оказывались мокры по самые маковки, однако же кому-нибудь удавалось-таки, взбаламутив воду до кисельной гущины, сца-

пать морковными озябшими руками зубастую пройду и вышвырнуть ее далеко на сухое. То-то было ликования: «Ага, попалась, пакостная! Не вот-то тебе красноперок шерстить!»

И все это — под чибисиный выклик, под барашковый блекоток падавших из поднебесья разыгравшихся бекасов, которых сразу и не углядеть в парной притуманенной синеве.

А то бывает пора, которая люба Касьяну с детства, даже не пора, а всего лишь день один. Издавна заведено было в Усвятах и перешло это на нонешнее время — сразу же, как отсеются, выходить всем миром на подчистку выпасов. И называется этот день травником. Так и говорилось: «Эй, есть ли кто дома? Выходь все на травник! На травник пошли! Все на травник!» Да и скликать особо не надобно: на это совместное дело усвятцы сходились охотно. Кто с лопатой, кто с тяпкой. А кто и просто с ножиком, выходили от мала до стара подсекать татарник, чтобы извести его до цвета. Работа не работа, праздник не праздник. И дитю не уморно срезать ножиком плоскую молодую колючку — перволистник, а уж девкам-бабам и вовсе вроде забавы: набредут да и подсекут тяпкой, набредут да и подсекут... Рассыплются по лугу, снуют туда-сюда, будто грибы ищут. А ребятишки друг перед дружкой: «Чур, моя! Чур, моя!» У мужиков тем временем свое: собирают валежины, хламье всякое, кромсают лопатами на куски натасканные половодьем осочные пласты, наваливают на подводу и отвозят прочь. После того стоит луг зелен до самой осени, лишь цветы переменяет: то зажелтеет одуваном, то сине пропрянет геранькой, а то закипит, разволнуется подмаренниками.

А уже к предлетью, когда выравняются деньки, на лугу наметятся первые тропки. Глядеть с деревенской высоты, так вон сколь их протянется к Остомле. Каждые три-четыре двора топчут свою тропу: у кого там лодка примкнута, у кого вентеря поставлены, кто по лозу, а кто с бельем и пральником. И только купалище на все Усвяты общее: есть один пригожий изворот, этакий крендель выписывает Остомля. Конечно, выкупаться можно и в других местах, ребятишкам, тем везде пристань, и все же почему-то усвятцы больше сбивались на этот крендель, называемый Окунцами.

Вспоминалось все это Касьяну, пока шел он тропой, но уже не было в нем прежнего обнаженного и чуткого созвучия, а обнимало его некое обморное и теперь уже безбольное отрешение и отсутствие, с каким он проснулся нынче в санях: вроде бы все это было с ним, все помнил, все видел, но какой-то отдалившейся душой, чем-то застланным зрением. И ступал он словно не по знакомой тверди, каждой подошвой ощущая врожденное родство с ней, а вроде бы не касался земли, несомый обесчувственной скорбью, вызревшей готовностью к завтрашней дороге. И все же шел он не из простой потребности выкупаться и одеться в чистое перед дорогой, а что-то и еще позвало его в луга, к таив-

шейся в них Остомле, без которой не мог он завтра покинуть дом с чувством исполненного отрешения.

Сначала надо было минуть узкий, саженей с десяток, песчаный перешеек; справа полукружьем загибалась сама Остомля, слева подступала долгая травяная заводина. Перешеек упирался в стену краснотала, а уже потом открывались и сами Окунцы — подкова чистых песков, полого уходивших под воду. Получалось что-то вроде всамделишной бани: с входом, зеленым тальниковым предбанником и самой парилкой, где за кустами, в затишье, песок прокалялся до печного жара.

Думал Касьян побыть час-другой наедине, в очищающей тиши последнего безлюдья, которого потом уже не будет, но еще издали сквозь лозняки приметил он сложенную одежду, чей-то фанерный баульчик, а выйдя на открытое, увидел и хозяев этой поклажи: Афоню-кузнеца и своего напарника по конюшне, Матвея Лобова. Афоня, упершись руками в колени, стоял на мелком, белея крупным незагорелым телом, напрягшимся бугристыми мышцами, тогда как Матюха, орехово пропеченный, ребрастый, с пустым сморщенным животом и намыленной головой, пучком куги размашисто натирал Афонину спину, будто состругивал рубанком. На груди Лобова болтался большой кусок мыла, подвязанный на бечевке. Афоня, выставив разлатую спину, и впрямь походившую на верстак, побагровев, терпеливо сопел и покряхтывал.

— А и копоти на тебе, Афонасей! — наговаривал жилистый и легкий Матюха, обегая Афоню то справа, то слева. — Ей-бо, как на паровозе. Накопил, накопил! Тебя бы впору кирпичом пошоркать. На шее, гляжу, дак и уголь в трешшинах, не выскребается. Под кожей он, что ли? У тебя небось и все внутренности такие копченые.

— Ты бреши помене, а нажимай поболе, — гудел Афоня. — Давай, давай, поусердствуй.

— Дак я и так стараюсь, уж куда боле. Опосля бабам трое ден нельзя будет белья полоскать. Пока смагу не пронесет.

Касьян, поставив кошелку в тенек, молча принялся стаскивать рубаху.

— Глянь-кось! — выпрямился Матюха. — И Касьян Тимофеич вот он! Как есть все Усвяты. Здорово, служивый! И ты грехи смывать?

— На мне грехов нету, — сдержанно ответил Касьян. Раздевшись, уже нагой, он свернул цигарку и, обвыкаясь, закурил.

— С чего бы это — нету? Или напоследок не сполуношничал?.. — засмеялся Матюха. Сметанно-белая голова его странно уменьшилась, будто усохла, и оттого он выглядел состарившимся подростком с сиротски торчавшими ушами. Осклабясь заячьей губой, некогда разбитой лошадью, он с интересом разглядывал Касьяна ниже пояса. — Мужик как мужик. Кисет на месте.

— Давай три, свиристун, — нетерпеливо напомнил Афоня, стоявший по-прежнему согнуто.

— Да погоди. Дай передохнуть. Эка спинища — что десять соток выпахать.

Афоня-кузнец не стал больше ждать, шумно полез на глубину, раскинув руки и вздымая грудью крутую волну.

Касьян тоже, не спеша, с цигаркой вошел в воду, забрел до пояса и остановился, докуривая и обвыкая. Вода, парна и ласкова, с тихим плеском обтекала тело, и было видно сквозь ее зеленоватую толщу, как уходил, дымился из-под ног потревоженный песок.

— А меня, братка, тоже забарабали, — все так же весело выкрикнул Матюха. — Во, глянь...

Заткнув пальцами уши, Лобов присел, макнулся с головой, и на том месте, где он ушел под воду, остались, завертелись в воронке мыльные хлопья. А когда вынырнул — оказался наголо обритым и еще больше неузнаваемым.

— Вишь? — выдохнул он, сплевывая воду. — Давеча попросил шуряка: сбрей, говорю, купаться пойду. Чтоб под яичко. Все одно там сымут. А теперь я вовсе готовый: и побрит, и помыт. Миленькое дело без волос! Одна легкость.

Матюха туда-сюда провел ладонью по синей балбешке, зачем-то подвигал кожей надбровья: должно, хотел показать, как полегчало голове.

— Вошь теперь не уцепится, — задрал он в смешке рассеченную губу. — Нет ей теперь державы. Не бросай, дайкось докурю. А ты пока на́ мыльца.

— У меня свое в кошелке, — ответил Касьян, не настроенный на легкий разговор.

— Ну, будешь за своим бегать. На, мылься! Теперь вместе идем, твое-мое дома оставляй. — Лобов снял с шеи бечевку и протянул кусок. — Ты где действительную служил?

— В кавалерии, — сказал Касьян, отдавая чинарик и принимая мыло.

— Нет, я в пехоте! — Матюха сообщил это с оттенком приятного воспоминания в голосе. — Соловей, соловей, пташечка! Это я в нашей роте запевалой был. Выйдем, бывало, возьмем ногу, а ротный: ну-ка, Лобов, давай, три-четыре... Дак я и теперь в пехоту согласен. Миленькое дело: кобылу не чистить, об сене не думать. Лопаткой копнул, залез в норку — и хай паляет. А на коне — не-е! Дюже мишень большая.

— Лошадей на кого оставил? — перебил Касьян, тоже намыливая голову.

— Каких лошадей! А-а! Да одного старичка приставили. Деда Симаку. Он еще ничего, колтыхает. А к нему вдобавок Пашку Гыгу. Гыгочет во весь рот, довольный. Жеребят в морду целует. А так ничего, нормально: сено раздает, навоз подчищает. А кому еще? Больше некому.

Касьян не ответил, сосредоточенно возил по голове мыльным куском, глядя в воду.

— Скоро и лошадей брать начнут, так что... Давай-ка и тебе шоркану спину.

Все еще чему-то противясь, должно быть Матюхиной готовности тараторить по любому поводу, Касьян нехотя пригнулся, расправил плечи, и Лобов, будто себе в удовольствие, принялся громыхать по позвонкам жестким, еще не замыленным, не округлившимся кирпичом серого мыла.

— Я тут уже человек шесть выкупал, — говорил он над ухом, и Касьян уловил шедший от него винный душок. — С самого утра идут мужички. Моются, рубахи новые надевают. Причащаются, можно сказать. Это верно: что в гроб, что на войну — в чистом надо. Не нами такое заведено, потому и нам блюсти. Ты сумку собрал?

— Пока нет...

— А я уже уложился. Я вчерась еще сготовился, как бумажку получил. А чего долго раздумывать — хлебца, сальца да смены пару. Вот тебе и весь сбор. Еще седни стопку выпью — и прощай, Маня. Ты в чем идешь? В сапогах али как?

— Еще не надумал.

— Это б сказать — осень, грязь, а то ж лето. Эвон какая погодка стоит. Миленькое дело — в лаптешках! Мягко, ног не собьешь. Верно я говорю?

— Ну-к, ясное дело, не осень...

— Вот и я так думаю. По такой-то жаре. Дак там все одно переобувать будут в казенное, в чем ни явись. Сапоги и пропадут зазря. А то бабе останутся, хай донашивает с пользой. Погоди, ситничка принесу.

Матюха, повесив на шею мыло, голенасто, высоко задирая ноги, запрыгал по мелководью к ситной куртинке. Надергав темно-зеленых стеблей с беловатыми комлями, он заломил их в пучок и, воротясь, пустился обхаживать Касьяна.

— У Кузьмы уже шумят, — докладывал он возбужденно, на всю реку. — Двери-окна нараспах, гармошка грает. Давеча мимо шел — вылетел сам Кузьма, в начищенных сапогах, ухватил меня за рукав, не отпущает. Пошли, мол, попрощаемся. Нечего, говорю, прощаться, — вместе идем. А ежели вместе, тади, говорит, давай вместе и выпьем.

— Ну чего ж, раз подносят... — сказал Касьян, думая о своем: приедет Никифор, а он еще и в лавку не сходил, угостить будет нечем.

— А я и выпил стакашку. В дом, правда, не пошел, дак Кузьма не отстал, в окно бутылку потребовал. А сам уже языком еле-еле.

— Со вчерашнего, поди, не обсох.

— Кой со вчерашнего! Еще до повестки начал. Я ему: пошли, мол, на реку купаться, ополоснемся напоследок. А он: я нынче

в вине купаюсь. Грязь на человеке не снаружи, она в ем внутри сидит. Так что, говорит, пошли ко мне отмываться. Да-а, к вечеру расшумится народ: почитай, в каждой избе стряпали. Завтра тяжело будет вставать.

Лобов запаленно остановился, отшвырнул измятый пучок.

— Ну, все! — объявил он. — Начистил — хоть смотрись. Остальное сам. Давай пока перекурим.

Поплавав на вольной глуби, все трое вышли на берег и, закурив с купанья, улегшись на прокаленный песок, сосредоточенно отогреваясь, поглядывали на реку.

Солнце било в глиняный обрез на той стороне, рябой от нор береговушек. Глина знойно пламенела и, отражаясь в воде, струилась там расплавленной медью. В безветрии разморенно обникли листвой уремные ветлы, и где-то в этой зеленой кипени тоже разморенно и вяло бормотала горлица. Лишь ласточки, выпархивая из нор, оживленно носились парами над речной гладью, то и дело чиркая по поверхности белыми грудками. От их прикосновения река пятналась округлыми ранками, но тут же снова изглаживалась, сама по себе залечивая всякие царапины. И бежала, бежала, завораживая, вода невесть куда, растворив в себе время, не ведая ни о днях, ни о быстротечных минутах...

— Да-а, — протянул Лобов в продолжение какой-то своей невысказанной мысли. Верхняя его губа, стянутая сизым рубцом, полностью не прикрывала рта, и оттого Матюхино лицо, когда он молчал, всегда обретало изумленное выражение, как будто он впервые видел мир божий. — Благодать! Как и нет ничего...

Афоня-кузнец, должно, за все лето не снимавший рубахи, курино-белый, пупырчатый от речной стужи, молча обвел взглядом ту сторону.

— Мы вот тут лежим, покуриваем, — все так же задумчиво проговорил Лобов с растяжкой. — А он идет, иде-е-ет...

Кто это «он» и куда идет — было всем понятно, и Афоня-кузнец лишь углубленно принялся колупать ногтем запекшуюся ссадину на волосатом запястье.

— И вчера шел, и позавчера...

На самую береговую кромку опустился кулик-песочник, шустрая птаха, глянул на недвижных мужиков, но не убоялся, не отлетел подальше, а, тонко пискнув, принялся сновать по песчаной сыри, дергаясь головкой при каждом шажке.

И опять, не получив ответа, Матюха, вдруг оживясь, перескочил на другое:

— А верно ли, будто немец по часам воюет?

— Как это — по часам? — покосился на него Афоня-кузнец.

— Ну как... Сказывают: сперва побреется, надеколонится, кофею попьет. А тади уж разбирает ружья и начинает палять

в нашу сторону. Пополдничает, снимет сапоги — и на раскладушку. Мертвый час, стало быть. Ну, а потом еще сколько-то повоюет. Аккурат восемь часов получается. Вроде как в одну смену.

Афоня-кузнец, с интересом было начавший слушать, досадливо отвернулся:

— Мели, Емеля.

— Что намолото, то и просевай.

— И сеять нечего, так видно: брехня. Как это в одну смену? Война — это тебе не фабрика какая.

— Немцу, можа, и хвабрика. Небось для того им всем часы дадены, чтоб глядеть. Сказывают, все как есть при часах.

Афоня пыхнул дымом, хмуро задумался, и по грубому, крупнопористому лицу его было видно, как бродила под спутанными волосами какая-то упрямая мысль, какое-то несогласие.

— Ну ладно, по часам. А опосля чего делает?

— Как — чего? — легко удивился Матюха. — Руки моет, ужинает. А потом — спать. Ночью они — ни боже мой, чтоб идти куда. Ни за что не пойдут. Все до одного дрыхнут. Токо часовых выставляют. А остальные храпака. Во, гады, культурные какие, а?

Матюха и сам посмеялся такой несуразной аккуратности и тут же, пришлепнув пяткой по голому заду, спугнув присевшего было овода, сообразил:

— Тут бы на них и навалиться, когда улягутся. Тарараму б наделать, шухеру! А то тыкву из кустов высунуть. С глазами. А внутри свечку зажечь. Я еще малым так-то у дороги тыковку пристроил возле кладбища, дак урядник как хватанул, чуть с коня не слетел.

— Ну и брехать ты здоров, — покрутил головой Афоня. — Сколь тебя знаю, одной брехней жив. Кабы б немец ночью спал, дак не токмо тыкву, а и фитиль пеньковый куда надо вставили б. Хороша брехенька, да, как пуп, коротенька.

— Я-то тут при чем? За что купил, за то и продаю.

— У кого куплено-то, спросить.

— Дак я ж говорил, шуряк ко мне приехал. На проводы. Это ж он меня постриг. А самого его не берут. На него броня наложена. Потому как на железной дороге он. Сцепщиком работает.

— Ну?

— Говорит, поездов, эшелонов на станции — пропасть! Все путя забиты, никак не разъедутся. Бабы, детишки — эуи...куированные называются. Из теих, стало быть, мест, из опасных...

— При чем тут поезда? Ох и талдон!

— Да ты слухай! Я — Емеля, а ты дак и весь Хвома поперечный. Не даст досказать. Чого люди, то и я. Народ бает, может, чего и правда. Не все ж сплошь брехня. Я мелю, а ты сей...

— Ну, ну, валяй.

— Дак шуряку один старичок про то и рассказывал. По-

терялся он, отстал от своего поезда, ночь, деться некуда, его и подобрали, привели в служебку.

— Поди, шпиен подосланный, такое брешет.

— Кой там шпиен! Наварили ему картох, поел, пошамкал, а потом под окнами из крана вставленную челюсть споласкивал. А шуряку-то в окно и видно. Доходяга. А так башковитый, про немца долго рассказывал. Он еще из самой этой... как ее... Мне шуряк и город называл, да... А! Из Львова! Вот откуда! Будто часовым мастером тамотка был. Он и часы отдавал, только не за деньги, а чтоб за хлеб або за крупу. Кабы знато, дак я б и пшенца подослал. Ну, да не об этом... Дак энтот старичок повидал их вдосталь, вот как я тебя. Сказывал, страховитые, и будто каски на них глубокие, по самые плечи. Чтобы, значит, никакая пуля не задела.

— Погоди, погоди, — остановил Лобова Афоня-кузнец. — Ежли по самые плечи, дак это ж вроде ведра, должно. Ну-ка, надень на себя ведро — куда глядеть-то будешь?

— Дак, можа, там дырки прорезаны.

— Ну-ну...

— И на касках по бокам вроде бы рожки.

— А рожки для чего?

— Энтого я тебе не скажу, не знаю. Они ж не нашенской веры, а может, и вовсе без никакой, потому, должно, и рога. Дак вроде как я уже таких гдесь видал, на картинках. У моей Верки, в букварях, кажись... Тоже с ведром на голове и с рогами.

Матюха озадаченно поскреб в стриженом затылке.

— Во, братки, какую козюлю нам бить придется-то, — сказал он. — Боись не боись, а куда денешься? А сапоги у него, сказывают, кованые — не то чтобы одни каблуки, а и вся подошва...

— Ну, уж это точно враки, — не согласился Афоня.

— Это ж почему?

— А ходит-то он как, ежли вся подошва? Ну вот давай я тебе на подметку сплошную жалезку накую — далеко ли пойдешь?

— А черт его знает, как он ходит. Это ж немец! У него вон и штык не как наш — чтоб и человека колоть, и колбасу резать. Все продумано. Дак, может, и ноги у него, как у коня...

— Понес, понес неоколесную! Поди макнись вон трохи.

— А чего? Глянь-кось, сколь за семь-то ден прошел. Беги бегом — столь не пробежишь.

— Дак на машинах — чего б не пробечь.

— Что же у него, пехоты нету, что ли?

— И пехота на машинах.

— Ох ты! Какая ж это пехота, ежли пешки не ходит. Чудно!

— Тебе, вишь, и чудно. Села баба на чудно, наступила на рядно. — Афоня-кузнец сердито заплевал окурок и договорил: — Подол оборвала, чудно бабе стало.

Матюха умолк и, сунув свой чинарик в песок, стал засыпать его из горсти, хороня под медленно нараставшим ворошком.

Кулик-песочник все еще бегал вдоль кромки, тыкал шильцем в человечьи следы, налитые водой. Время от времени он останавливался и косил черный глазок на мужиков, будто спрашивал: я не мешаю? Но вот по чистым пескам Окунцов пронеслась расплывчатая тень. Кулик замер, так и не опустив поднятую было для очередного стежка лапку. Все трое подняли головы и увидели в ясной полуденной синеве черную букву «Т». Она кружила над плесом, недвижно распластав крылья, и, когда наплывала на солнце, по пескам проносилась быстрая тень. Чьи-то невидимые глаза, чей-то разбойный замысел кружил над мирными берегами...

Кулик больше не суетился, не тыкался в следы, а настороженно замер, вглядываясь в небо то одним, то другим глазом. Плес затих, затаился под этим неслышным скольжением черной птицы. Смолкла, больше не тенькала в куге камышевка, перестала ворковать в заречных ветлах горлица...

В другое время мужикам было бы наплевать на коршуна, но нынче и им почему-то сделалось неуютно и беспокойно от повисшего над головой молчаливого хищника.

— У, хвашист! — выругался Матюха. — Свежатины захотел.

Но вот коршун, должно быть, все же убоявшись лежавших на песке людей, широким полукругом переместился в займище и повис там над уремной чащобой. Со стороны он еще больше походил на самолет, что-то разведывавший на земле.

— Ну что, братцы, — приподнялся Лобов. — Пошли еще ополоснемся. В последний разок.

Касьян достал из кошелки пеньковую мочалку и свое мыло и, зайдя в воду, еще раз прошелся по всему телу, не спеша и обстоятельно. Афоня-кузнец только поокунался, а Лобов, улегшись на спину, долго и недвижно лежал так, сносимый вниз по течению, предавшись каким-то думам, а может, и блаженному бездумью.

Потом одевались в чистое, прыгая на одной ноге, продевая сполоснутые ступни в подштанники, напяливали на еще не обсохшее тело каляные, выкатанные рубахи. И уже одевшись, но еще босой, Матюха заскочил в реку и, зачерпнув пригоршню, припал к ней губами.

— Забыл попить на прощанье, — сказал он, вытираясь рукавом. — Доведется ли в другой раз.

А выйдя на береговую кромку, где еще недавно бегал кулик, — босой, в неладной, большеватой рубахе, прикрывавшей подвязанные подштанники у щиколоток, будто приговоренный к исходу — обернулся к реке и низко трижды поклонился лопоухой стриженой головой.

— Ну, матушка Остомля, — проговорил он виноватой скороговоркой. — Прости-прощай. Какие будем пить воды-реки, в какой стороне — пока незнамо. Пошли мы...

Афоня-кузнец, тоже весь еще в белом, сутулясь крутой спиной, насупленно, быковато уставился на реку.

— Ну все, — говорил Матюха, отступая от берега и все еще оглядываясь. — Пошли.

Они надели верхнее, сложенное на траве под красноталом, обулись, еще раз поглядели окрест и молчаливой цепкой прошли по узкому перешейку. И тут, уже на лугу, распрощавшись, пожав друг другу руки до завтрашнего дня, разбрелись по своим тропам.

Шагая выгоном, дрожавшим у краев полуденной марью, Касьян видел, как встречь, то справа, то далеко слева, кто с кошелками, кто с белыми свертками под мышкой, спешили к Остомле еще несколько мужиков.

12

Еще у калитки изба повеяла на Касьяна житным теплом, как бывало на большие праздники. В кухне было уже прибрано, печное устье задернуто занавеской, а на столе под волглой дерюжкой парили выставленные хлебы.

В детстве Касьян всегда старался не пропустить этого радостного момента. Мать, возясь в межхлебье по дому, время от времени подходила к таинственно-молчаливой печи, в черной выметенной утробе которой свершалось нечто необыкновенное, томительно-долгое, приоткрывала на пол-устья железную заслонку и легкой осиновой лопатой поддевала ближайшую ковригу, разрумянившуюся, глянцево мерцавшую округлой коркой. Она брала хлебину в руки, от жаркости подбрасывала ее, тетешкала, перекидывала с ладони на ладонь, после чего, дав поостыть маленько обверху, подносила к лицу и, будто кланяясь хлебу, осторожно прикасалась кончиком носа. Невольно прослезясь, мать тотчас отдергивала лицо, и это означало, что хлеб еще не в поре, полон внутреннего сырого жара и надо его снова досылать в печь. Но вот приходило, когда мать, сначала робко, а потом все смелее прижималась носом к ковриге, наконец, и вовсе расплющивала его, терпя, не уступая внутреннему ржаному пылу. В такую минуту лицо ее радостно расцветало, и она, то ли самой себе, то ли всему дому, кто был тут и не был, объявляла: «Слава тебе...» С легким шуршанием хлебы один за другим слетали с лопаты на выскобленную столешницу, и сначала кухня, затем горница и все закутки в избе начинали полниться теплой житной сытостью, которая потом проливалась в сени, заполняла собой двор и волнами катилась по улице. Возбужденные хлебным запахом, воробьи облепляли крышу, к сеням сбивались куры, топтались у порога, пытливо заглядывая в дверь, и все тянула воздух влажно вздымавшимися ноздрями, принюхивалась сквозь воротные щели запертая в хлеву корова.

А тем временем мать, омочив в свежей, только что зачерпнутой колодезной воде гусиный окрылок, взмахивала им над хлебами, кропила широким крестом, и те, без остатка вбирая в себя влагу,

раздобрело вздыхали побархатевшими округлостями и начинали ответно благоухать, как бы дыша в расслабляющей истоме и успокоении. Потом караваи задергивали чистым суровьем и оставляли так до конца дня остывать и тем дозревать каждой порой до потребной готовности. И не было у тогдашнего Касьянки терпения, чтобы, улучив минуту, не подкрасться и не выломить исподтишка где-нибудь в незаметном месте теплый окраек, еще в печи порванный жаром и так запекшийся хрустким дерябистым разломом. Да мать и сама догадывалась, отрезала, где он указывал, наливала в блюдце конопляного масла, посыпанного солью, и он, подсев к кухонному оконцу, оглаженный по голове теплой материнской рукой, счастливо лакомился первохлебом, роняя зеленые масляные капли в посудинку. Вот и вырос давно Касьян, и уже за него Сергунок с Митюнькой, боясь отцовского ремня, тайком обламывали на все том же столе коврижные корки, но и до сих пор памятно и радостно ему это, да и теперь иной раз не отказался бы он от прежнего озорства, не будь самому стыдно перед мальцами до́лить хлеб раньше времени.

Но нынче Касьян даже не приподнял покрывала, чтобы взглянуть, удался ли хлеб, как делал и радовался он прежде, а лишь вскользь покосился в ту сторону, уведенный от самого себя своим новым и непривычным отрешенным состоянием.

Следовало бы уже вернуться посланному Сергунку вместе с Никифором, Касьяновым братом. С этим ожиданием встречи Касьян и вошел в дом. Но изба встретила его безмолвием, было лишь слышно, как со скрипучей хромотой тикали на простенке ходики да иногда глухо постанывала мать, прикорнувшая после ранней колготы у себя на полатях.

В горнице тоже было прибрано и торжественно-тихо. Просыхая в тепле по-зимнему натопленной избы, влажно дышали сосной вымытые половицы, стол белел чистой свежей скатеркой, повешенные занавески притемняли оконный свет, и в полутьме красного угла перед ликом Николы-угодника ровно светилась лампадка. Поддерживаемая тремя тонкими цепочками, она процеживала свой свет сквозь тигелек из синего стекла, окрашивая беленый угол и рушник, свисавший концами по обе стороны иконы, в голубоватый зимний тон. И было здесь все по-рождественски умиротворенно, будто за стенами и не вызревал еще один знойный томительно-тревожный день в самой вершине лета.

Касьян в свой тридцатишестилетний зенит, когда еще кажется далеким исходный житейский край, а дни полны насущных хлопот, особо не занимал себя душеспасительными раздумьями, давно уже перезабыл те немногие молитвы, которым некогда наставляла покойница бабка, и редко теперь обращался в ту сторону, да и то, когда отыскивал какой-нибудь налоговый квиток за божницей. Но нынче, войдя в горницу, нехожено-прибранную, встретившую его алтарным отсветом лампады, он, будто посторонний захожий человек, тотчас уловил какое-то

отчуждение от него своего же собственного дома и, все еще держа кошелку со смененным бельем, остановился в дверях и сумятно уставился в освещенный угол, неприятно догадываясь, что сегодня лампада зажжена для него, в его последний день, в знак прощального благословения. Ее бестрепетное остренькое пламьице размыто отражалось в потускневшей золоченой ризе старой иконы, видавшей поклоны еще Касьяновой прабабки, и из черноты писаной доски ныне проступал один лишь желтоватый лик с темнозапавшими глазами, которые, однако, более всего сохранились и еще до сих пор тайным неразгаданным укором озирали дом и все в нем сущее.

Стоя один на один, Касьян с невольной пристальностью впервые так долго вглядывался в болезненно-охристое обличье Николы, испытывая какую-то беспокойную неловкость от устремленного на него взгляда. Икона напоминала Касьяну ветхого подорожного старца, что иногда захаживали в Усвяты, робко стуча в раму через палисадную ограду концом орехового батожка. Словно такой вот старец забрел в дом в Касьяново отсутствие и, отложив суму и посох и сняв рубище, самовольно распалил в углу теплинку, чтоб передохнуть и просушиться с дороги. И как бы пришел он откуда-то оттуда, из тех опасных мест, и потому, казалось, глядел он на Касьяна с этой суровой неприязнью, будто с его тонких горестных губ, скованных напряженной немотой, вот-вот должны были сорваться слова скопившегося упрека, что чудились в его осуждающем взгляде. Встретившись с Николой глазами, Касьян еще раз остро и неприютно ощутил тревожную виноватость и через то как бы вычитал эти его осудные слова, которые он так натужно силился вымолвить Касьяну: «А ворог-то идет, идет...»

И Касьян тихо вышел, почему-то не посмев оставить в горнице свою кошелку, и затворил за собой дверные половинки.

Во дворе он в раздумье постоял над корытцем с недорубленным табаком, но досекать не стал, а только зачерпнул на цигарку и закурил все с тем же саднящим чувством вынесенного упрека. Ему вдруг представилось, как те идут, идут густыми рядами по усвятскому неубранному полю, охваченному огнем, и сквозь дымную пелену и огненные хлопья зловеще маячат насунутые по самые плечи рогатые сатанинские каски.

Пора и на самом деле было начать собираться, заблаговременно уложить мешок, пока не подошел Никифор, а может, и еще кто. Тогда, на людях, некогда будет, а завтра чуть свет вставать, бежать на конюшню за лошадьми, которых обещался подать к конторе под поклажу. Но тут же вспомнил, что сумку унес с собой Сергунок, и, чертыхнувшись, а заодно подосадовав на Натаху, которая не ко времени забежала невесть куда, направился к амбару, где у него хранились сапоги.

В амбаре было, как всегда, сумеречно и прохладно, хорошо, домовито пахло зерном, и он невольно и глубоко вдохнул крепкий

успокаивающий житный воздух, к которому едва уловимо подмешивалась сладковатая горечь сухой рябины, наломанной и развешенной по стенам Натахой еще прошлой осенью, — от мышей. Рябина, подсыхая, роняла ягоды, и теперь их сморщенные бусины повсюду попадались глазам — и на полу, и на крыше закрома, и даже на тесовых полках. Из года в год амбар впитывал каждым бревном этот хлебный дух, и пахло здесь обманчиво и сытно даже в те памятные годы, когда закрома были пусты. И теперь Касьян, не веря этому духу, приподнял крышку и, не заглядывая, сунул руку в ларь. Рука ушла по самую подмышку, прежде чем пальцы торкнулись в зерно: хлеба оставалось в обрез, едва прикрывалось днище. Правда, на полке кургузился располовиненный мешок помолу, и этого с лихвой хватило бы до новины, а там за ним уже числилось полтораста заработанных ден. Да кто ж его знает, как оно обернется: хлеб в поле — душа в неволе... И опять ему навязчиво померещились те железные рога над неубранной рожью...

— Эх, не в руку, не в пору затеялось, — почесал он за воротом. — Что б малость повременилось-то...

Новые Касьяновы сапоги висели на деревянном штырьке, а старая расхожая пара вместе с распаявшимся самоваром валялась в углу — каждому по своей чести. Касьян постоял, оглядывая те и другие, в чем ему идти завтра. Висевшие сапоги были еще совсем новые, на спиртовой подметке, прошпиленные в два ряда кленовыми гвоздями. Шил он их на заказ к прошлому покрову в Верхних Ставцах за мешок жита и кабанью лопатку. Касьян берег их от будничной носки, всю зиму старался обходиться старыми, пока те окончательно не подбились, так что заказные остались, считай, нехожеными. Идти в таких было жалко, да он, по правде, и не собирался, а только так — взглянул, что за них можно взять при случае. Прежнего мешка, конечно, не вернешь, хлеб, ясное дело, будут придерживать, осторожничать с хлебом, но все же вещь и теперь стоящая, не про мякину. Пусть-ка себе висят, мало ли чего... А то и сама походит, у самой не во что ступить. Пару портянок навернуть, дак ей в самую пору. Небось не плясать.

И, больше не раздумывая, подобрал старые, сунул под мышку и, выйдя, запер дверь на засов.

При свете Касьян еще раз оглядел обутку. Уходил он чеботы, что и говорить, донельзя: на задниках подпоролась дратва, да и гвоздочками бы подкрепить не помешало. Можно было загодя сносить к деду Акулу, да теперь когда ж чиниться, чиниться и нет времени. Ну да ладно, смазать теплым деготьком, авось к утру помягчеют. Всего-то на один раз и нужны: дойти до призывного, а там — в эшелон, на железные колеса. Обойдется.

Касьян подлез под амбар, достал оттуда подвешенную под полом дегтярку и, пристроившись на каменном приступке, принялся деревянной лопаточкой расчищать загустевшую жижу,

снимая с поверхности влипшие куриные перья. За тем и застала его Натаха. Она вошла в калитку, одной рукой ведя за собой Митюньку, тогда как другой придерживала что-то под животом, завернув в подол передника.

— Сережи еще нету? — спросила она, остановившись перед Касьяном.

Касьян со вчерашнего не мог побороть объявшего его отсутствия и, не отрывая глаз от дегтярки, глухо выдавил:

— Нету пока...

— Ох, что ж это он! Не заплутался ли где? Послала — сама не своя.

Касьян промолчал.

В растоптанных парусиновых башмаках, осоюженных кожицей, Натаха выжидательно стояла над ним, и Касьяну было не по себе от этого ее привязчивого стояния: шла бы уж занималась своим, что ли... Он ее ни в чем не винил за вчерашнее, чего было спрашивать с такой никудышной. Но вот помимо воли захрясла в нем и не отпускала какая-то мужицкая поперечина.

— Где ходила-то? — спросил он, строжась. — Укладываться надо, а ты из дому.

— В лавку бегала. Никифор придет, а у нас и подать нечего.

Касьян вскинул бровь, одноглазо покосился на ее скомканный передник.

— Седни две подводы привезли, а уже нету. Мне Клавка последнюю отдала.

Касьяну хотелось сказать, что одной будет мало, может, Никифор с женой подойдет, да там кто заглянет, но промолчал. Ему бы след самому об том подумать, самому в лавку сходить, но вот замешкался, запамятовал как-то. Да и не хотелось ничего нынче, вчера с мужиками перегорел, сбил охоту.

— На-ка, сынок, отнеси в дом, — Натаха высвободила из передника бутылку. — Да смотри, не урони.

Митюнька, держа бутылку обеими руками впереди себя, боязно, будто с завязанными глазами, поковылял к сеням.

— А ты чего затеял-то? — спросила Натаха, все еще тяжко пышкая после недавней ходьбы.

— Поди, видишь.

Она нагнулась, подняла правый сапог за голяшку, повертела его в руках. Под ее пальцами чебот ощерился черными подгнившими шпильками.

— Не рви! — потянулся к сапогу Касьян. — Чего насильно рвешь-то?

— А я и не рвала. Такой и был раззявленный.

— Дай, дай сюда!.. — осерчал Касьян.

Он отобрал сапог, поставил за себя на приступок.

— Ужли в этих пойдешь?

Касьян молчал, уставясь себе под ноги.

— Ох, Кося, не след бы в последний день так-то. Слова не вытянешь. В этих, что ли, надумал?

— А чего... И в этих ладно, — неохотно буркнул Касьян.

— Да куда уж ладней. Глянь, как спеклись, водянки набивать токмо. Куда ж в таких-то?

— Я с подводами. Поклажу повезу.

— Дак с подводами не до самого фронту. А ежели дальше пешки погонят? Да паче невзгода зайдет? Не на день, не на неделю идешь. Мало ли чего...

— Лобов вон дак и вовсе в лаптях. Все равно менять будут, казенные дадут.

— Да уж когда их дадут-то. Не вдруг и дадут.

— Дадут! Босыми на немца не пойдем.

— Не дури, не дури, Касьян. Надевай новые.

— Чегой-то я буду попусту губить.

— Ну как же попусту? Разве на такое итить — попусту?

— А так и попусту: хорошие снимут, а кирзу дадут. А то продашь, ежели что...

— Как это ежели что? — подступилась Натаха. — Ты об чем это? Ты что такое говоришь-то?

— Не к теще в гости иду, — обронил жесткий смешок Касьян.

— Ничего не знаю и знать не хочу этого! — запальчиво отмахнулась Натаха, и ее пегое лицо враз заиграло пятнами. — И ты про такое загодя не смей! Слышишь! Не накликай, не обрекай себя заране.

— Пуля, сказано, дура. Она не разбирает.

— Нехорошо это! — не слушала его Натаха. — Со смятой душой на такое не ходят. Не гнись заранее-то. Этак скорее до беды.

— Ты откуда знаешь, что у меня?

— А кто ж должон знать?

Касьян отложил лопатку, полез в карман за кисетом. Долго молча вертел-ладил неслушную самокрутку. И все это время Натаха тяжелой горой стояла над ним, ждала чего-то.

— Гляжу я, — лизнув языком по цигарке, сумрачно вымолвил Касьян, — вроде как не чаешь туда спровадить. Еще и повестки не видела, а уже сумку сшила.

— Ох дурной! Ну, дурной! — Натахины глаза замокрели, она потянула к лицу край фартука. — Да как же язык-то твой повертывается этакое сказать? Побойся совести! Господи...

Она отвернулась, угнула голову. Подол ее выцветшего платья мелко подрагивал. Отечные щиколотки взопревшей опарой наплыли на края запыленных башмаков.

Его полоснуло внезапной жалостью. Сболтнул, конечно, напрасное. Дак ведь и сапоги оставил не из жадности, ей и оставлял, понимать бы надо.

— Ну, будя, будя, — виновато проговорил он. — Я не гнусь. Откуда это взяла?

Натаха не отвечала, утиралась передником.

— Не стану ж я песни кричать? А что выпало, то мое, на чердак не поглядываю. Мне, поди, тоже обидно такое слышать — не гнись.

— Ох, Кося... — выдохнула она давившую тяжесть.

— Ну, сказано, будя. Я и так казнюсь: они вон идут, а я еще доси тут...

— Вот и ладно, — обернулась она. — Так и держи себя, не послабляйся. И нам будет через то легче. А уж ежели что, дак сапоги твои нам не утеха.

— Так-то оно так. А все же не бросайся, девка, — пытался резонить Касьян. — С чем остаетесь-то? Вон в закроме дно видать. А из колхоза то ли будет чево... А то пуда два за сапоги возьмешь — тоже не лишек.

— А мне мало за тебя два пуда! — Натаха снова всхлипнула, содрогнулась всем животом. — Мало! Слышишь? Мало! Ма-а-ло!

— Да охолонь ты, не ерепенься! Не знай, как подопрет.

— И слышать не хочу! — Закусив губы, она вдруг схватила стоявший перед Касьяном сапог и что было сил швырнула его за плетень. — Пойдешь в рвани ноги бить, а я тут думай. Нечего! Иди человеком. Весь мой и сказ!

Касьян растерянно глядел на дегтярку, потом молча встал, пнул с приступка оставшийся сапог, открыл амбар и снял со стены новые.

Натаха тоже молча ушла, оставив выбежавшего во двор Митюньку, и, как только она скрылась в сенцах, оттуда с заполошным кудахтаньем, перепрыгивая одна через другую, посыпались куры, а вслед им вылетел березовый окомелок.

— Новые так новые, — передернул плечами Касьян.

Ожидая Никифора, он вместе с Митюнькой возился во дворе; смазал и подвесил сапоги в тенек под амбарной застрехой, досек табак и, заправив его тертым донником, набил добрую торбочку. Потом принялся за хворост, перерубил чуть ли не весь припас и сложил под навесом. Никифора все не было, и он, подвострив топор, взялся дорубливать остальное.

Время от времени Натаха, высовываясь из растворенного окна, уже ровно, примиренно выкрикивала:

— Кося! Табак готов ли? Давай-ка сюда, буду пока собирать.

Или:

— Митюня-я! Ты не брал ли карандашика? Папке надо. Письма нам будет писать папка. А я никак не найду карандашика.

13

Пришла с лугов, толкнув рогами калитку, корова Зозуля — в черном чепраке по спине, будто внапашку от духоты и зноя. Корова сытно взмыкнула и, покосившись на сапоги, повтягивав ноздрями расплывшийся дегтярный дух, протяжно выдула из

себя негожее снадобье. Потом, сама источая парной запах переваренной зелени и накопленного молока, пощелкивая, будто новой обувью, начищенными травой еще крепкими копытцами, не спеша, домовито побрела по двору, принюхиваясь и приглядываясь ко всякой мелочи.

Вскоре мимоходом набрел Леха Махотин — в новой синей рубахе с косым воротом, опоясанный узким кавказским ремешком, уснащенным, ровно выездная сбруя, мелкими бляшками. Чуб у Лехи вороными кольцами, черные глаза масляно щурятся — навеселе мужик. Леха размашисто, точно год не виделись, шлепнул по Касьяновой ладони:

— Ну как, шлемоносец? Снарядился?

— Да подь ты... Уже приклеили.

— Ладно тебе! И шуткануть нельзя. Чего делаешь-то?

— Да вот... — Касьян кивнул на выложенную стенку дров. — Хоть на первое время.

— Давай кончай, теперь уж не напасешься. Бери Наталью да айда ко мне, посидим напоследок.

Касьян оглянулся на недоприбранную порубку.

— Дак лучше ты ко мне с Катериной и приходи.

— Чем же лучше? У тебя, гляжу, тоже никого. А я сейчас за теткой Апронькой да за Михеем сбегаю да и сядем. Михей своих двух еще теми днями отправил, дак теперь все на задах стоит, мается один.

— Нет, Лексей, спасибо на добром. Сам гостей жду. Малого послал за Никифором. С минуты на минуту должны.

— И Никифора бери, всем хватит.

— Нет, Леха, нет. Ты уж прости. Не тот день, чтоб из дому уходить. Сам понимаешь. С тобой мы еще и завтра свидимся, и потом. Глядишь, не разлучат, вместе будем. Последние часочки дома надо побыть. Может, зайдешь, выпьем моей?

— Да чего уж... Всю по дворам не перепьешь. Ну, раз так — бывай! Пойду к Зяблову заверну.

— Дак и он не пойдет. Не тот день, говорю...

— Вот, черт, никого не докличешься. Э-эх, раскувшин с простоквашей...

Сверкая сатиновой спиной, Леха шагнул к дворовому окну, боднул головой занавеску и шумливо гаркнул:

— Здорово, Натальюшка, душа любезная! Здравствуй, теть Фрось. Дайте на вас в последний разок погляжу. Ну, Наталья, ну, молодец! Эка рясна!.. Я-то? Спасибо, спасибо!.. А тебе благополучно третьего, богатыря-селяниновича... Не-ет, теть Фрось, ничего не бойся... Да уж постараемся, бабоньки, постараемся... Придем, теть Фрось, куда мы денемся... Ну, прощевайте! Не поминайте лихом, ежели что не так...

Кивнув еще раз Касьяну, Леха, возбужденный этим беглым разговором, вышел задней калиткой, и там, под вишенником, вырвалось у него растроганным всплеском:

Ах, кабы на цветы да не морозы,
И зимой бы цветы расцветали-и...

Раза два Касьян выходил за ворота и, слушая, как уже начала то здесь, то там пошумливать деревня, выглядывал в дальнем ее конце Сергунка. Но он, пострел, объявился аж под самый вечер, когда солнце, обойдя Усвяты, покатилось к своей летней обители где-то за ржаным полем. Перекрещенный белыми лямками, волоча за собой пыльную, в листьях лозовую хворостину, Сергунок заскочил во двор один, без Никифора.

— Вот! — протянул он Касьяну сложенную бумажку. — Велели передать.

Касьян, недоумевая, развернул синий клочок от рафинадной пачки. Неровными полупечатными буквами там было накарябано: «Родной брат Касьян Тимофеевич. Кланяется тебе твой родной брат Никифор Тимофеич и Катерина Лексевна. А притить мы не можем, со всем нашим удовольствием, а нельзя. Завтра я призываюсь, так что притить не могу, нету время. Сережка твой говорил, тебя тоже берут. Тогда пойдем вместе. Только возьми своего табачку и на меня. Твой табак добрый. Одно жалею, не увижу матушку нашу, Хросинью Илинишну. Пусть обо мне не убивается. А если пойдем шляхом мимо Усвят, то, может, наведаюсь попрощаться. А так у нас все хорошо, все живы-здоровы.

Твой родной брат Никифор Тимофеич».

Касьян так и эдак повертел сахарную бумажку. До сей минуты ему и не мнилось, что Никифора тоже призовут. Он был на восемь годов старше Касьяна. Правда, после него народилось еще два мальчика, а уж потом сам Касьян-четверт. Но те умерли еще в младенчестве, и остались Касьян да Никифор, как две вереи, между которыми зияли никем не подпертые эти восьмилетние разверстые ворота. Никифор еще в первый год женитьбы отошел от двора, обжился в Ситном на тестевой земле, как раз к тому времени умершего, да и остался там за хозяина. И вот, оказывается, и его берут, старшого. Мать теперь и вовсе разгорюется. Обвыкаясь с этой новостью, Касьян устраненно смотрел на Сергунка, все еще стоявшего перед ним с холщовой сумкой и со своим ивовым пропыленным скакуном. Мальчонка отмерил на нем в оба конца верст двенадцать, даже немного осунулся лицом, но глаза его распахнуто голубели от исполненного поручения.

— Дак чего там Никифор? Готовится?

— Куда готовится? — не понял Сергунок.

— На войну. Куда ж еще?

— Не-е! — зазвенел голоском Сергунок. — У них там никакой войны нету.

— Как это нету?

— Дядя Никифор с мужиками на речку ходил. Должно, рыбу ловить.

— Так... А тетка чего?

— А теть Кать хлеб пекла с маком. А потом чего-то шила. Она и нам колобок прислала. — Сергунок поддал сумку спиной.

— Ага... Ну ясно... А ты-то почему долго? Али забаловался? Мать вон истикалась: нету и нету.

— Ну дак дядя Никифор на речке был! — обиделся Сергунок. — А когда пришел, вот это написал и велел передать.

Касьян мазнул Сергунка по щеке ладонью:

— Молодец.

Старуха Ефросинья Ильинична, все эти дни горестно молчавшая, неслышная в своем топтании по дому, уже обряженная в новый крапчато-белый платочек, выслушала известие о старшем сыне как-то равнодушно, словно до нее не доходили эти слова или вроде они сами собой разумелись.

— Ну-к што ш... — обронила она, помолчав. — Тади садитесь обедать.

И, ссутулясь, тенью побрела в катаных опорках на кухню, оставив за собой тягостную тишину.

Касьян, сам не ведая для чего, аккуратно свернул синюю бумажку по прежним сгибам и, как налоговую квитанцию, бережно засунул за Николу, который спокон веку хранил все ихние счета с посюсторонней жизнью. Оказывается, вблизи Никола был напрочь лыс, или, как Матюха Лобов, наголо обстрижен. «А они-то идут, идут...» — опять напомнил он одними глазами.

— Это твое, Кося, — почему-то шепотом сказала Натаха, указав на сундук, где высилась горка, прикрытая белым. — Проверь, что не так...

Касьян машинально приподнял край, увидел стопку нижнего белья, ковригу хлеба, кучку яиц, кружку, резную ложку и еще какие-то узелки и свертки.

— Табак там? — спросил он о самом главном.

— И табак, и спички — десять коробок. Хватит десятка? А это вот соль в мешочке. Тут мыло. В этом чулке, запомни, тетрадка с карандашом. А в другом чулке — нитки с иголками и пуговками. Курицу ешь сразу, не держи...

— А в сумке что?

— Сухари. Про всякий случай.

— Куда столько всего. Благо ли носить?

— Носить — не просить, Кося. Лишком и поделиться можно.

— Пап! — Сергунок дернул Касьяна за брюки. — Пап, а ножик не забыл?

— Какой ножик? — не сообразил Касьян.

— Складничек который.

— А-а...

Касьян сунулся в карман: нож был на месте. Он достал его, повертел в руках и протянул Сергунку:

— Так уж и быть, это тебе.

— А ты? — не решился принимать Сергунок. — Как же на войне-то без ножика?

— Бери, бери. Отца вспоминать будешь.

Сергунок, не веря себе, схватил складник и закраснелся по самые уши. Оглянувшись на Митюньку, который зазевался, упустил этот момент, он юркнул в кутник за полог.

— А бритву я пока не клала, — напомнила Натаха. — Ты сперва побрейся, покуда соберем обедать. И на-ка надень вот это.

Она вложила в Касьяновы руки новую рубаху, которую купила еще к маю, — черную, с частым рядом белых пуговиц.

Касьян послушно достал из-за ходиков завернутую в тряпицу бритву, нацедил кружку кипятка и, прихватив рубаху, рушник и кругляшок зеркальца, уединился во дворе под навесом. Там он неспешно, старательно выбрился, чтобы хватило дня на три, ополоснул из кружки лицо и надел рубаху, еще пахнущую лавкой. И пока он собирался к столу, Натаха тоже успела переменить кофту, умыть и причесать ребятишек. Оба они уже сидели рядышком на своих местах и, разобрав ложки, смиренно и нетерпеливо поглядывали, как бабка носила из кухни съестное. На середине стола в глиняной черепушке дразняще парила сваренная целиком курица, потом появились свежие, едва только двинувшие в рост огурцы-опупки, томленная на сковороде картошка, желто заправленная яйцом, миска с творогом, блюдо ситных пирогов, распираемых гороховой начинкой с луком, и под конец бабушка подала лапшу: одну посудину поставила на двоих Сергунку с Митюнькой, другую — отцу с матерью, а третью, маленькую, поставила на угол себе.

Не каждый день на стол выставлялось сразу столько всего хорошего. Война войной, не всякую минуту о ней помнилось, как о любой игре, еда же была — вот она, и это обилие пищи невольно настраивало ребятишек на предвкушение нежданного празднества. И было слышно, как они возбужденно перешептывались:

— Ух ты! Глянь-кось, пироги! Я вон тот себе возьму.

— Какой?

— А вона. Который самый зажаристый.

— Ага-а, хитленький!

— А кто в Ситное ходил?

— Ну и сто? А я в магазин зато.

— Ох, даль какая. Небось мамка несла.

— Как дам...

— А во — нюхал?

— А ты... а ты Селгей-волобей. Селый! Селый!

— А ты Митя-титя.

— А зато мне кулиную лапку, ага!

— Прямо, тебе!
— А сто, тебе, сто ли ча! Все тебе да тебе.
— И не мне.
— А кому за?
— Это папке курицу. Папка на войну идет, понял? Когда вырастешь большой, пойдешь на войну, тади и тебе дадут.

Вошла бабушка с ковригой хлеба и, отерев ей ладонью донце, протянула через стол Касьяну.

— На-ка, кормилец, почни, — сказала она слабым, усталым голосом, перекрестясь в угол. — Не знаю, удался ли...

Ребятишки притихли, оборвали свои пререкания.

Бессчетно хлебов пеклось на Касьяновом веку, но всякий раз взрезать первую ковригу было радостно, будто вскрывалась копилка сообща затраченного недельного труда, в которую от каждого, мал и стар, была вложена посильная лепта, и всегда это делалось при полном семейном сборе.

Некогда этот же стол, нехитро затеянный, но прочный, из вершковых плах, рассчитанный на дюжину едоков, возглавлял дед Лукаша, от которого в Касьяновой памяти уцелели его белодымная борода до третьей пуговицы на рубахе да грабастые жесткие руки, измозоленные веревками и лапотным лыком. И помнилось, как он, перекрестясь и прижав ковригу ребром к сивой посконной груди, осыпав ее белым волосом бороды, надрезал первый закраек, разглядывал и нюхал, а бабушка, стоя за его спиной, трепетно ждала своего суда. Потом дед Лукаша, ослабев и избыв, уступил суд Касьянову отцу, а отец вот уж и самому Касьяну. Так и менялись за этим столом местами — по ходу солнца. На утренней стороне, как и теперь, всегда теснились ребятишки, на вечерней — женщины, а в красном углу, в застольном зените, всегда сидел главный резальщик хлеба, пока не приходило время уступить нож другому.

Касьян, держа большой самодельный нож из стального окоска, принял из материных рук ковригу, отдававшую еще не иссякшим теплом, и только чуть дрогнул уголками рта при мысли, что это его последний хлеб, которым ему нынче предстояло оделить семью. Наверное, это осознавали и все остальные, потому что, пока он примерялся, с какого края начать, — и Натаха, и бабушка, и Сергунок, и даже Митюнька прикованно, молча глядели на его руки. И оттого сделалось так тихо, что было слышно, как поворачиваемый хлеб мягко шуршал в грубых Касьяновых ладонях.

Но Касьян вдруг опустил хлеб на стол и сказал:

— А ну-ка, сынок, давай ты.
— Я? — встрепенулся Сергунок. — Как — я?
— Давай привыкай, — сказал Касьян и положил перед ним ковригу.

От этих отцовских слов мальчик опять пунцово пыхнул и, все еще не веря, не шутит ли тот, смущенно посмотрел на хлебный

кругляш, над которым он, сидя на лавке, едва возвышался маковкой.

— Давай, хозяин, давай, — подбодрил его Касьян.

Сергунок, оглядываясь то на мать, то на бабушку, обеими руками подтянул к себе тяжелую хлебину и робко принял от отца старый источенный нож.

— А как... как резать? — нерешительно спросил он.

— Ну как... По едокам и режь.

Сергунок привстал на лавке на колени. Посерьезнев и как-то повзрослев лицом, но все еще полный робости, словно перед ним лежало нечто живое и трепетное, он первый раз в своей жизни приставил кончик ножа к горбатой спине каравая. Корка сперва пружинисто прогнулась, но тут же с легким хрустом охотно, переспело раздалась под ножом, и Сергунок, бегло взглянув на отца: так ли он делает, обеими руками надавил на рукоятку, так что проступили и побелели остренькие косточки на стиснутых кулаках. В ревностном старании высунув кончик языка, он кое-как, хотя и не совсем ровно, откромсал-таки третью часть ковриги и, оглядев всех, сосчитав едоков, старательно поделил краюху на пять частей. Выбрав самый большой, серединный кусок и взглядывая то на отца с матерью, то на бабушку, не решаясь, кому вручить первому, он наконец робко протянул хлеб отцу.

— Это тебе, пап.

— Сначала матери следовало б, — поправил его Касьян. — Учись сперва мать кормить.

— Тогда уж первой бабушке, — сказала Натаха. — Бабушка пекла, ей за это и хлеб первый.

В разверстых глазах Сергунка отразилась недоуменная растерянность, но бабушка перевесила:

— Отцу, отцу отдай. Нам еще успеется, мы — дома.

— Ничего, — сказала Натаха, — всему научится. Давайте ешьте, а то лапша простынет. Нате-ка вам с Митей по куриной ножке. Ох, что ж это я! А про главное и забыла...

Оделив ребятишек, Натаха принесла из кухни бутылку и поставила ее перед Касьяном.

— Что ж это Никифор-то, — сказала она. — А то и выпить вот не с кем...

— Ох ты, осподи... — вздохнула бабушка и уставилась на лежавший перед ней ломоть хлеба, забылась над ним.

Натаха взглянула на свекровь, тихо обмолвила:

— Ну да что теперь делать. И нам к нему не бежать. Оно и всегда: радость — вместе, беда — в одиночку... А ты, Кося, выпей. Авось умягчит маленько.

Между тем, пока обедали, а заодно и ужинали, подкрались сумерки. Долог был для всех нынче день, а и он прошел, и бабушка, внеся самовар, запалила и лампу.

Сразу же после чая Митюнька забрался к бабушке на колени и, не доев пирога, прижимая его к щеке, обмяк в скором ребячьем

сне. Перебрался, прикорнул к бабушкиному плечу и засмиревший, набегавшийся Сергунок, и та недвижно сидела терпеливо оберегая сон своих внуков.

Еще перед обедом выпив полстакана водки, Касьян заткнул остальное и составил бутылку со стола. Пить больше некому было, а одному не хотелось, не любил он прикладываться в одиночку. Но и та малость как-то сразу нехорошо ударила в голову, заклубила прежнее, уже передуманное, перерошенное. Со вчерашнего Селиванова застолья он больше ничего не ел ни утром, ни днем, но и теперь, едва схлебнув малость горячего, отложил ложку и закурил.

— Да ты выпей, выпей-то как следует, — сама понуждала Натаха. — Глядишь, клин клином и вышибешь. Да, может, и поешь тади.

— Не тот этот клин, — отмахнулся он. — Да и завтра вставать рано.

Так и сидел он, подпершись рукой, одну вслед за другой зажигая цигарки, лишь иногда словами обнажая непроходящие думы:

— Слышь, а корову, что б там ни стало, а побереги. Без коровы вам край.

— Да уж как не понять, — кивнула Натаха.

— Родишь, а то мать прихворнет — ежли трудно будет на первый раз обходиться с коровой, к Катерине сведите. Опосля пригоните.

— Ладно, поглядим.

И еще через цигарку:

— А паче с сеном заминка выйдет, лучше амбар продать, а сена купить.

Уже при сонных ребятишках Натаха принесла сумку и молча принялась перекладывать в нее приготовленное на сундуке. Касьян глядел, как она сперва затолкала белье, всякую нескорую поклажу, сверху положила съестное, а саму ковригу приспособила плоским поддоном к спине — чтоб ловчее было нести.

— Не забыть бы чего, — проговорила она, оглядываясь. — Табак... бритва... Кружку я положила... Должно, все.

— Про то в дороге узнается, — отозвалась бабушка.

Встряхнув раздавшуюся сумку, Натаха затянула шнурок и набросила лямочную петлю. И, завязав, безвольно опустила руки, притихла перед белым мешком с вышитыми на уголке буквами.

— Да! Вот что! — вскинул голову Касьян. — Возьми-ка ножницы, состриги мне с ребят волосков.

Натаха выжидательно обернулась.

— Карточек-то с них нету, с собой взять. Сколь говорено: давай в город свезем, карточки сделаем. И твоей вон нема.

— Дак кто ж знал... — повинилась Натаха. — Разве думалось.

— Дак состриги, пока спят. С каждого по вихорчику.

Она принесла из кутника ножницы и расстелила на столе лоскут. Сергунок и не почуял даже, как щелкнуло у него за ухом. Сероватая прядка ржаным колоском легла на тряпочку. Митюнька же лежал неудобно, зарылся головенкой в бабушкину подмышку, его пришлось повернуть, и он, на миг разлепив глаза и увидев перед собой ножницы, испуганно захныкал.

— Не бойся, маленький, — априговаривала Натаха. — Я не буду, не буду стричь. Я только одну былочку. Одну-разъединую травиночку. Папке надо. Чтоб помнил нас папка. Пойдет на войну, соскучится там, посмотрит на волосики и скажет: а это Митины! Как он там, мой Митюнька? Слушается ли мамку? Ну, вот и все! Все и готово! Спи, золотце мое. Спи, маленький.

И еще один колосок, светлый, пшеничный, лег на тряпочку с другого конца.

— Не попутаешь, где чей? Запомни: вот этот, пряменький, — Сережин. А который посветлей, колечком, — Митин.

— Не спутаю.

— Я их заверну по отдельности, каждый в свой уголок. Может, подписать, какой Митин, а какой Сережин?

— Да не забуду я. Еще чего!

Натаха долго, вопрошающе посмотрела на Касьяна.

— А меня?

Касьян глянул, ответно вспахал лоб складками, не поняв, о чем она.

В своей новой, просторно и наскоро сшитой кофте цветочками-повителью, нисколько не сокрывшей ее несоразмерной и некрасивой грузности, а лишь еще больше оказавшей нынешнюю беспомощность, с маленькой для такого тела округлой головкой, к тому же еще и простовато причесанной, туго зашпиленной позади роговым гребнем, она в эту минуту показалась Касьяну особенно жалкой и беззащитной, будто сиротская безродная девочка.

— На и меня, — повторила она, засматривая Касьяну в глаза.

— Что — тебя? — переспросил тот, все еще не понимая.

— Отрежь... — понизив голос, моляще шепнула Натаха и, выдернув гребень, тряхнула рассыпавшимися волосами. — Или тебе не надо?

— Дак почему ж... — проговорил он и, вставая, не сразу выходя из застольного оцепенения, смущенно покосился на мать: содеять такое при ней ему было не совсем ловко. Но та сидела по-стариковски застыло, склонившись над Митюнькой, в рябеньком платке; темные руки, опутанные взбухшими венами, сцепленно обнимали приникшее ребячье тельце, и он сдержанно прибавил: — Давай и тебя заодно.

Натаха протянула ему ножницы и, будто на добровольное отсечение, покорно склонила голову.

— Погоди... Так вот и сразу...

— А чего ж еще?

— Дак где стричь-то? — Неловко распяленными пальцами, скованными грубой силой, он боязно разгорнул мягкие, еще совсем детские подволоски над шейными позвонками. — Тут, что ли?

— А где хочешь, — нетерпеливо отозвалась она.

— Нук дак как... Ты ж не дите. Состригу, да не там...

— А ты не бойся, — пробился ее жаркий шепоток сквозь завесу ниспадавших волос. — Где понравится. Везде можно.

Касьян осторожно, прокрадливо поддел под одну из прядок ножничное лезвие и сам весь стянуто напрягся, почувствовав, как Натаха от неловкого-таки щипка вздрогнула нежной, не загорелой на шее кожей.

— Дак и хватит, — сказал он, взопрев, словно выкосил целую делянку.

— А хоть бы и всю остриг. — Выпрямившись, она обеими руками отбросила волосы за спину и, словно вынырнув из воды, встряхнула головой, через силу засмеявшись: — Все и забери. Я и в платке до тебя похожу, монашкой.

— Буровь. — Касьян положил выстриженный завиток на середину тряпочки — между Митюнькиным и Сергунковым.

Натаха потом удивлялась своему хвостику, сохранившемуся в этом ее тайничке от прежней детскости, который и сама отродясь никогда не видела и который, оказывается, почти ничем не отличался от Митюнькиного, разве что был поспелее цветом.

— Теперь и не спутай, — сказала она. — Дай-ка я свои узелком завяжу. Как глянешь — узелок, стало быть, я это...

Касьян не ответил, потянулся под стол за бутылкой и, налив себе еще с полстакана, не присаживаясь, отвернувшись, выпил.

— Ну ладно, — объявил он, утершись ладонью, и забрал со стола кисет. — Кажись, все...

Холодно обомлев, поняв, что приспел конец ихнему сидению, конец прошедшему дню и всему совместному бытию, Натаха робко попросила, хватаясь за последнее:

— Поешь, поешь. Что ж ты ее, как воду...

— Чегой-то ничего не идет.

— Ну хоть чаю. Ты и пирожка не испробовал. Твои любимые, с горохом.

— Да чего сидеть. Сиди не сиди... Пошел я...

Потоптавшись у стола, оглядев растревоженную, но так и не съеденную ни старыми, ни малыми прощальную еду, он нерешительно, будто забыл что-то тут, в горнице, вышел.

Натаха, как была с распущенными волосами, не успев прихватить их гребнем, проводила его померкнувшим взглядом, не найдясь, что сказать, чем остановить неумолимое время.

Поздняя летняя заря погасла без долгих раздумий, со света двор показался кромешно темным, и глаза не сразу обвыклись, не сразу отделили от земли белые груды притихших гусей и неясное пятно беспокойно вздыхавшей под плетнем, должно, еще не доенной коровы. Но сразу, еще с порога, учуялось, как в паркой ночи разморенно, на весь двор, дышали детгем подвешенные сапоги.

Не зажигая спичек, Касьян ощупью пробрался к саням, разделся и залег в свое прохладневшее ложе. Но сразу уснуть не смог, а еще долго курил от какого-то внутреннего неуюта, немо слушая, как само по себе шуршало сено и похрустывал, покрякивал перестоялыми на дневной жаре стропилами сарай, как разноголосо встявкивали собаки, наверно, в предчувствии скорой луны. И как сквозь собачий брех где-то на задах, скорее всего на Кузькином подворье, ржавыми, замученными голосами орали:

Последний нонешний денечек
Гуляю с вами я, друзья...

Уже забываясь, он безвременно глядел в глухую темень нависшего сенника, и в ожидании окончательного забытья, когда уже ни о чем не думалось, а только пусто, отключенно стучало в висках, ему вдруг почудился, будто из давно минувших дней, из далекого детства, и не сразу осознался явью знакомый и убаюкивающий звон ведерка под нетерпеливыми молочными струями. И то ли уже тогда же, ночью, то ли на самой утренней заре внял сторожкий Натахин шепот:

— Это я, Кося...

14

Он потом не слышал, как за сарайной перегородкой, забив крыльями, горласто, почти в самое ухо взыграл петух, которого прежде, в ночном, узнавал от самой Остомли, — так тяжек и провален был сон, простершийся б до полудня, если б не вставать, никуда не идти. Но так и не спавшая, кое-как приткнувшаяся в розвальнях Натаха уже в который раз, привстав на локоть, принималась расталкивать его, трепать по щекам, озабоченно окликая:

— Пора, Кося,ودненький.

— Ага, ага... — бормотал он одеревенелыми губами, жадно, всей грудью вдыхая, впитывая в себя последние минутки сна, бессильный пошевелиться.

— Вставай! Глянь-ка, уже и видно.

— Счас, счас...

— Тебе ж к лошадям надо, — шептала она, чувствуя свою скорбно-счастливую вину: не приди она сюда после дойки,

не отними тогда своими поздними ласками и без того недолгую летнюю ночь, теперь он не мучился б этим сморенным, всезабывающим сном. — Слышь, Кося, ты ж к лошадям хотел...

— Ага, к лошадям.

Она послюнила палец и мокрым провела по Касьяновым тяжелым, взбухшим векам. Тот замигал, разлепил ничего не видящие, ничего не понимающие, младенчески отсутствующие глаза. И лишь спустя в них проголубела какая-то живинка, еще не вспугнутая осознанием предстоящего, еще теплившая в себе одно только минувшее — ее, Натахино, умиротворяющее в нем присутствие.

— Уже? — удивился он свету, не понимая, как же так, куда девалась ночь.

— Уже, Кося, уже, голубчик, — проговорила она, спуская босые ноги с саней.

И он, наконец осмыслив и бивший в чуть приоткрытые ворота теплый утренний свет, и Натахин тревожный шепот, приподнялся в санях.

— Сколько время?

— Да уж солнце. Седьмой, поди.

— Ох ты! Заспался я. — Он цапнул в головах брюки, отыскивая курево.

— Сразу и курить. Выпей вон молока.

— Ага, давай, — послушно кивнул Касьян, смутно припоминая вчерашний ночной звон подойника.

Он принял от Натахи ведро и через край долго, ненасытно попил прямо в санях.

— Во! — крякнул он, оживая голосом. И хотя не успел проспаться и все в нем свинцовело от прерванного сна, на душе, однако, уже не было прежней тошнотной мути, и он попросил озабоченно, будто собираясь в бригадный наряд: — Подай-ка, Ната, сапоги.

Потом, поочередно засовывая ладно обмотанные мягкими, хорошо выкатанными портянками в пахучие голенища, сонно покряхтывая, сам еще в одних только брюках и нижней рубахе, урывками говорил:

— Я с тобой не прощаюсь... Еще свидимся...

Натаха присмирело глядела, как он обувался.

— И детишек не колготи... Пусть пока поспят.

— Ладно...

— Потом приведешь их к правлению... Поняла?

— Ладно, Кося, ладно...

— Часам к девяти. Мать тоже пусть придет...

Он встал, притопнул сапогами: ноги почувствовали прочную домовитость обужи.

— А вдруг там больше не свидимся? — думая над прежним, сказала она поникшим голосом.

— Куда я денусь, — кинул он и вышагнул из сарая, на ходу набрасывая вчерашнюю черную рубаху. — Подай-ка пиджак с картузом. А то я в сапогах, нашумлю. И сумку.

— Дак что ж в дом не зайдешь? — Натаха следовала за ним, держа под шеей стиснутые ладони, будто ей было холодно. — Больше ведь не вернешься... И не поел на дорогу.

— Когда теперь есть... — проговорил он, торопко застегивая на рубахе мелкие непослушные пуговицы. — Покуда туда добегу, да там...

— Ну как же... С домом хоть простись...

— Дак еще ж, говорю, свидимся.

В дом ему не хотелось: не сознавая того, невольно оберегал он в себе ту пришедшую к нему ровность, с какой сейчас, не тратя себя, лучше бы за калитку — и все, как обрезал. Приглаживая неприбранные волосы, Касьян на носках переступил порог еще по-утреннему тихой избы, заведомо томясь горечью увидеть в эту последнюю трудную для него минуту не столько самих мальчишек, сколь старую мать. Ребятишек — ладно: поцеловал бы сонных да и пошел, но мать, поди, уже давно топчется, вон и гусей с коровой нет во дворе, и он вошел в дом, весь внутренне напряженный и стянутый.

Мать он увидел в горнице перед распахнутым сундуком. Не замечая его, она копалась внутри, вытаскивая из бокового ящичка для мелочи какие-то узелки и свертки. И Касьян, глядя на ее согбенную спину, не посмел окликнуть, пока она сама, почуяв чье-то присутствие, не повела взглядом в его сторону. И взгляд этот, оторванный от сундука, был какой-то чужой, не признававший Касьяна.

— Ну, мать, пошел я, — негромко, с заведомой бодрецой объявил он, рассчитывая и тоном, и видом смягчить и облегчить ей это прощание.

Нынешней ночью она, наверное, совсем не спала: жухлое, бескровное лицо ее еще больше обрезалось; жидкие изношенные волосы, сумеречные впалости глаз и беззубого рта скорбно обозначили очертания проступившего праха, и Касьян только теперь неутешно осознал, как враз состарилась его мать, как близка она к своему краю. А она, озабоченная чем-то своим, то ли вовсе не слыхала, то ли не поняла Касьяновых слов, сказала ему свое:

— Хотела найтить... Да вот, вишь, не найду, запамятовала. Наталья, ты, часом, не видела, был тут у меня обвязочек...

— Потом, мать, потом... — перебил Касьян. — Идти надо. Побег я.

— Побег? — повторила она за Касьяном, все еще странно отсутствуя, дознаваясь взглядом какой-то своей пропажи. — Уже и пошел? Ох ты, осподи! А я-то хотела тебе найтить. Взял бы с собой... Сколь берегла, от самого твоего рождения. Про такой-то случай. Да, вишь, не уберегла. Памяти совсем не стало.

Да как же это пошел? Деток не повидавши... Сичас, сичас побужу. Ох, горе, вот горе...

— Не надо бы их, — попробовал отговорить Касьян, проследовав с ней за полог. — Я пока на конюшню токмо. Опосля еще свидимся.

— Как же не надо, как же это не надо? Уходишь ведь! Наталья, поднимай дитев, чего ж ты как не своя. Проснись, Митрий. И ты, Сергий, не спи. Будя, будя вам. Проспите отца-то. Ой, лихо! — Она подхватила на руки младшего, все еще никак не хотевшего держать голову, безвольно ронявшего ее на бабушкино плечо. — Да что ж вы как маку опились. Опамятуйтеся, сказано. Батька вон уходит, а вам бай дюжа. Придет ли опять...

И только теперь, будто ударившись об это «опять», бессильная высказать боль свою и смятение, молча заплакала, смяв ветхие морщинистые губы. Пришел в себя и, еще ничего не поняв, сразу же заревел и Митюнька.

— Ох да голубчики мои белы-ы... — наконец вырвался на волю бабушкин взрыд. — Да сыночки ж вы мои последнии-и...

Глядя на нее, крепившаяся все эти дни Натаха подшибленно ойкнула, надломилась, пала, не блюдя живота, в Сергунковы ноги, беззвучно затряслась, задвигала скрипучим топчаном. Растревоженный Сергунок испуганно отобрал у матери ноги, подскочил, присел на постели и теперь, заспанный и сумной, понуро молчал, ни на кого не глядя.

— Ох, да на то ли я вас, сыночки, лелеяла-а, — раскачивалась вместе с Митюнькой бабушка. — На то ль берегла-а... на черну да на бяду-у... — И, заметив насупленно молчавшего Сергунка, вдруг в плаче же запросила-запричетывала: — Плачь, плачь, Сергеюшко-о... не молчи, не томись, каса-а-тик... Да нешто не видишь, горя какая наша-а...

Она потянулась к Сергунку незрячей, слепо искавшей рукой, но тот уклонил свою голову, нелюдимо отшатнулся от непонятно кричавшей бабки.

— Да что ж ты не плачешь, упорна-ай... Пожалей, пожалей свово батюшку-у... Ох, да на што сиротит он нас, на што спокида-а-ить...

Не хотел ничего этого Касьян, надо бы уйти сразу, да вот стой теперь, слушай, и он, чувствуя, как опахнуло его изнутри каким-то тоскливым сквозняком, вышагнул в кухню и сдернул с гвоздя пиджак. И уже одетый, не таясь пробуженной избы, гулко топая сапогами, вернулся в горницу за мешком.

— Ну все, все! — оповестил он, засовывая рукава в мешочные лямки. — Наталья! Будя, сказано! Бежать надо.

Перетянутый лямками по черному пиджаку и черной рубахе, уже какой-то не свой, непривычный, Касьян взял у матери Ми-

тюньку, присел с ним на сундуке. Сергунок соскользнул с топчана и, босоного проскочив горницу, прилепился рядом.

— Сядьте, посидим, — объявил Касьян.

Мать и Натаха, всхлипывая, послушно присели.

И опять стало слышно, как в едва державшейся, насильной тишине стенные ходики хромоного, неправедно перебирали зубчики-секунды...

Пытаясь все закруглить по-доброму, не дразнить больше слез, Касьян наконец первый нарушил эту немую истому, воскликнув с шутейной бодрецой:

— Ну, Сергей Касьянович! Прощевай! Чегой-то штанов не надеваешь? Пупком на всех светишь? А? Давай-ка, хозяин, руку, досвиданькаться будем.

Сергунок, хмуря белоперые отметины бровей, замешкался, не сразу подал руку и не шлепнул ответно, как Касьяну хотелось, а вяло, чем-то неволясь, положил ладошку на поджидавший его широкий плот отцовской пятерни.

— Эвон какая ручища-то! — продолжал бодро играть Касьян. — Ну прямо мужицкая! Топором токмо махать або косой. Ну, дак и уступлю тебе все свое. Избу вот... Струмент всякий... Поле — сам знаешь где. Хозяйствуй знай! А?

Пока Касьян говорил, удерживая сынову руку, тот все ник и ник взъерошенной головой, и никак не удавалось Касьяну заглянуть ему в глаза, чтоб их запомнить и унести в памяти.

— Подойдет время — учись, старайся. Ага? Постигай, наматывай. Где, к примеру, немец обретается, что это за земля такая. Чтоб знать наперед, понял? — Он говорил случайное, не зная, что еще наказать непонятно затворившемуся мальцу. — Ну дак, ясное дело, перво-наперво мать слушайся. И бабушку. Это уже само собой...

Сергунок, не убирая руку с отцовской ладони, молчал, вздув наспанные губы.

— Да что с ним сделалось-то? — охнула бабушка. — Как окаменел малый. Ты скажи, скажи слово-то отцу. Нешто гоже эдак-то немтырем молчать? Экой упорной! Хватишься потом, да некому будет...

— Ладно, мать, ладно. Не замай его. Это со сна он... И ты, Митрий, тож слушайся тут, не докучай. — Касьян притянул на грудь младшенького, потрепал, потискал и, поцеловав трижды в непросохшие глаза, опустил на пол. — Ну, ступай к мамке, ступай!

Бабушка снова украдкой прослезилась какой-то остатней слезой, не одолевшей морщинок: главные свои слезы, никем не слышанные, никем не виданные, она выплакала еще до этого дня в одиноком своем запечье.

— Ну дак пора мне, — опять объявил Касьян, вставая с сундука и озирая напоследок углы и стены. — Миром живите.

Поочередно пообнимавшись с женой и матерью, которые снова ударились в голос, оделив их, не слушавших, торопливыми утешными словами, какие нашлись, какие попадя подвернулись, Касьян с перхотой в горле, стиснув зубы, нырнул в горничную дверь, схватил по пути картуз с кухонного простенка и вылетел во двор. Вслед на крыльце засумятились, запричитали, но он, кургузясь под тяжестью сумы, крепясь не обернуться, через силу порывая липучие тенета отчего дома, превозмогая хватавшую за ноги жалость к оставшимся в нем, топча ее сапогами, — крупно, неистово пошагал, чуть ли не побежал к задней калитке.

И вдруг, уже ухватясь за спасительную щеколду, услышал звеняще-отчаянный голосок, пробившийся сквозь бабьи вопли:

— Папка! Папка-а!.. Я с тобой!.. Я с тобой, папка-а-а!..

Остановился Касьян, похолодел, сжался нутром, будто левым соском напоролся на вилы: перед сенечным крыльцом, отбиваясь от бабкиных и материных рук, барахтался на земле Сергунок, так и не успевший в суматохе натянуть своих покосных штанов, — крутился вертким вьюном, бил-колотил ногами, тянул к нему руки.

— Папка-а! Я с тобой!

Касьян хотел уже было вернуться, как-то успокоить мальца, но на него замахали сразу и мать, и Натаха, закричав: «Нельзя, Касьян! Не вертайся, ради бога!» И он поспешно рванул калитку.

И когда, не обращая внимания на ветки, обдираясь вишеньем, уходил садом, и когда потом косил напрямки по чужой картошке, его долго еще настигал и больно низал этот тоненький вскрик, долетавший с подворья:

— А-а-а...

15

Все это время, готовясь к последнему дню, наперед казнясь его неизбежной надсадой, Касьян все же мыслил себе, как пройдет он по Усвятам, оглядывая, запоминая и прощаясь с деревней, торжественно печалясь про себя, оттого что каждый его шаг будет необратим, а путь его неведом; как выйдут за калитки остающиеся тут старики, почтительно обнажат перед ним головы, наговаривая разное, вроде: «Час добрый тебе, час добрый! Не сплошай там, вертайся!»; как будут вослед торопливыми жменьками сыпать кресты на его заплечную суму глядящие в окна старушки, а деревенская детвора молчаливым поглядом проводит его, ступающего в последний раз мимо изб, ворот и палисадов.

С тем бы и уйти, переступить усвятскую черту...

Но пришел этот день, и бежал Касьян задворьями, обрывая

сапогами ботву, сшибая сиреневые соцветья июльской картошки, не замечая, что бежит, мелькая далеко видным белым мешком. На Полевской улице, против Кузькиной избы, оглядываясь назад, на Сергунков крик, едва не угодил в какую-то ямину, вырытую рядом с тропой, и не сразу понял, к чему она тут, для чего она Кузьке. И лишь когда попалась и другая, и третья, — вспомнил, что и сам вырыл такую же под своими окнами, когда собирались столбить радио. Ненужные теперь ямы желтели взрытой глиной почти против каждой избы, и он, обегая их, с неприятным чувством подумал, что следовало бы опять засыпать, заровнять перед уходом: негоже, нехорошо оставлять заготовленную яму, зиявшую против двора. Все равно теперь некому будет ни ставить столбы, ни тянуть проволоку.

На Селивановом свертке, одолев предел цепенящего тяготения, Касьян обессиленно и в то же время облегченно перевел дух. Под потным обручем картуза запаленно бухали виски, тело колотило мелким ознобом. В последний раз оглянулся назад, не нашел своего двора за скрывшими его соседними садами, да особенно и не вглядывался туда, даже как-то рад был, что уже не видно, что наконец обрезалась пуповина и он теперь сам по себе, с одной только своей ношей.

Деревня в этот уже не ранний час была затаенно нема и безлюдна: все, кому предназначалось идти, еще досиживали свое по домам, обряжались в походное, завтракали, давали последние заветы, еще только подходили к прощальной маете, бабьему крику, и Касьян, окинув в последний раз пустую, будто выморочную улицу, свернул в заулок.

На все том же конторском выгоне, в полуверсте от деревни, вставала ровной соломенной крышей новая конюшня, затеянная там по генеральному Прошкиному плану. Рядом с ней желтела выведенными стропилами другая такая же хоромина — под молодняк. Оттуда натягивало радостным духом лошадиных стойл, к которому подмешивался запах уже обсохшего и засочившегося степной горечью низкорослого полынка, и Касьян, вольно расслабясь, распустив давивший его ворот, пошел уже ровнее, успокаиваясь и обретая себя.

На выбитом выгоне возле конюшни сгрудились бригадные телеги, нынче их еще никто не разбирал, и, видно, теперь уж не тронут за весь день. Возле телег Касьян увидел дедушку Селивана, долговязого и молчаливого деда Симаку и босого, в коротковатых штанах Пашку Гыгу. Дед Симака, поджав плечом бок бестарки, сдвинул с оси заднее колесо, давая Селивану промазать квачом ступицу. Пашка Гыга, присев на корточки, с детским любопытством заглядывал в черную дегтярную дыру колеса. За его спиной поверх выпущенной рубахи висело на бечевке вытесанное из доски аляповатое подобие ружья.

Пашка Гыга первым уловил шаги и, недобро остановив на Касьяне вытаращенные глаза, должно быть, не узнавая, цапнул

было с плеча ружье, но, распознав-таки прежнего конюха, подскочил, миролюбиво и заискивающе протянул пухлую бескостную ладонь.

— А мы тут мажем... Чтоб немец не услыхал, — доложил он и, широко распустив сырой губастый рот, неприятно, всеми внутренностями гыгыкнул.

— О, глянь-кось! Вот он, воитель! В полном сборе! — обрадовался дедушко Селиван, любовно осматривая Касьяна. — На вот дегтярочку, подмажь, подбодри ходки.

— Уже смазаны, — сдержанно ответил Касьян, мельком взглянув на свои успевшие запылиться, потерявшие вид сапоги.

— Тади ладно, ежли так. Догорела свеча до огарочка, пора и выступать. Дожжа вроде не будет.

Дедушко Селиван и сам вырядился в невесть откуда взявшиеся у него чеботы — пустоносые, с заплатами на обоих скульях, но вволю смазанные и расчищенные суконкой. И рубаха на нем была не та — мелким пшенцом по блекло-синему застиранному ситцу, неглаженая, но чистая.

— А Ванюшка-то Дронов еще вчерась надвечер улепетнул, — сообщил он со свежей утренней бодростью. — Один, да пеший. Да-а... Побег, побег, соколик... Заглянул я к нему перед тем — молчит, цигаркой коптит, а сумка уже у порога. Так был сух, а то и вовсе сухменью взялся, исхудал бедой. Вот как запекло-то мужика! Погоди, говорю, завтра подводой доставим. Ни в какую! Каждый час, говорит, дорог. Ну да уж, поди и тамотка, тридцать верст отсчитал по прохладцу, а то небось уж и в ашалоне едет.

— Моя бабка говорит, это его смертушка к себе кличет, — сказал Пашка Гыга. — Иди сюды, иди сюды — пальцем, гы-гы-гы.

— А ну! — повел бровью дед Симака, и Пашка опасливо отскочил, продолжая мокророто лыбиться. — Выправь-ка лучше телегу на выезд.

Пашка готовно облапил дышло и поволок бестарку на свободное место.

— Двух извозов хватит ли? — спросил дедушко Селиван. — С полста мужиков ежли?

— Хватит. — Дед Симака кивнул-клюнул крупным вороньим носом, зачинавшимся безо всякого перехода прямо в самой пуще жестких бровей. — Хватит и двух — не на Азов поход.

— Тебе, Касьянушко, каких прикажешь запречь? — весело поинтересовался дедушко Селиван. — Выбирай любых, напоследок проедешь.

— Все едино. Не с бубенцами скакать. Коней-то покормили?

— А то как же, — степенно кивнул дед Симака, принявший конюшенные бразды.

— Засыпали, засыпали овсеца, — уточнил дедушко Селиван.— Жую-ют! Я ить сюда чуть свет прискакал. А топчан сладим, дак и ночевать тутотка стану.

— Овес бы поберегли. Не зима — всем овес травить, — заметил Касьян. — Теперь сыпь, да оглядывайся.

— Всего по картузу и плеснули. Нехай разговеются. В такой-то день! С маю небось на одной траве. Как посевную пошабашили, с той поры, поди, и не перепадало. А два дни как и вовсе в ночном не бывали, незнамо чем и сыты.

— Это наладится, — покашлял дед Симака. — Нынче с Павлом и сгоняем. Некому ж было. Пришел, а кони брошены, доски грызут. Лобов на дежурство не вышел, его день был. И хвуражиров призывают. Сказать, дак люди не виноваты. Им тож собраться надо. Благо, хоть вот Павел попить привез.

Его жидкие восковые щеки, беспорядочно иссеченные годами, непроизвольно вздрагивали от какого-то тика, будто держал он во рту зубное полосканье и гонял туда-сюда днем и ночью — прихварывал старик, маялся грудью.

— Позавчеры здучит в окно Дронов, — сказал он, откашлявшись. — Иди, говорит, побудь на конюшне. Пока, мол, кого подыщем. Ну дак чего ж пока? Пороблю, раз надо. Ишшо ноги носють. А ногам все одно где топать — дома ли, тут ли. Мне б, конешно, стариков в подмогу. Ну, да я сам и поговорю с которыми.

— Дак и я подсоблю чего-нито, — отозвался дедушка Селиван. — Вот солдатиков провожу, свезу торбы да и переберусь к тебе насовсем. Э-э, Серафим, не журись. Кабы наша там-то взяла, а тут мы присмотрим. — И распорядительно крикнул: — Павел! Слазь-ка, голубь, на сеновал, погляди, нет ли сенца на повозки постлать.

Пашка, сняв ружье и приставив его к конюшенной стене, ловко взбежал по стремянке.

— С сеном нынче разор, — проговорил дед Симака, уставясь в землю. — Ладно, ишо дожжей нет...

Пока старики возились со второй повозкой, Касьян заглянул в конюшню. Но вошел не сразу, а сперва постоял у порога, всматриваясь внутрь с чувством недавнего хозяина, невольно примечая, какая поруха успела завестись в его отсутствие. Со света в конюшне было сумеречно и терпко. Солнечные лучи, бившие слева в узкие оконца, сизо дымились испариной над кучками вычищенного навоза, сваленного в главном проходе. Во время чистки Касьян всегда распахивал и те, и другие ворота настежь, давал погулять свежему ветерку, но нынче дальние двери были заперты, видно, дед Симака остерегался сквозняков. Войдя, Касьян заглянул в шорницкую, отгороженную при входе. Там тоже наметились перемены. Деревянный ларь с инструментами, седельным войлоком и всякой починочной обрезью, на котором зимой конюха коротали дежурства, был отодвинут, а на его месте стоял еще не доделанный топчан, тогда как вокруг на полу валялись обрезки брусков и теса и было насорено щепой и опилками. На столе вперемешку с рубанком и долотами стоял чужой незна-

комый чайник и глиняная черепушка, прикрытая лопухом. Над всем этим, под узким, таким же, как и у лошадей, оконцем, торопко мельтешили жестяные ходики, должно, принесенные дедом Симакой из дому. Дед Симака утверждался в шорном кутке прочно и основательно, будто въезжал в новое жилье, но пока здесь было мусорно и неуютно, и все это кольнуло Касьяна, подчеркнув его окончательную отторженность и непричастность к конюшенному бытию. И было странно и неприятно слушать, как где-то на чердаке топал, стучал пятками разговаривавший сам с собой Пашка Гыга.

За высокими перегородками, так что были видны одни только стегна и холки, наголодавшиеся кони шумно мололи сразу множеством жерновов, довольно пофыркивали, секли по стенкам хвостами. Касьян тихо, будто чужой, прошелся вдоль стойл, заглядывая через прясла. Занятые едой, уткнувшись в кормушки, лошади не замечали его. Касьян переходил от одной к другой все с тем же чувством своей отторженности, и, когда впереди мелькнула молочная спина его собственной кобылы, он родственно затеплился и, минуя остальных лошадей, пошел к ней поглядеть напоследок и попрощаться.

— Данька! Данька! — позвал он еще издали.

Незадолго до колхоза, продав состарившуюся отцову лошадь и прибавив подкопленных деньжат, заимел он некрупную, но броскую молодую кобылку. Была она редкой буланой масти, с белыми аккуратными копытцами, что и перевесило все его раздумья и колебания, и за этот ее теплый молочный окрас, за всю ее девичью игрушечность назвал он кобылу Данькой, подразумевая под этим, что дана ему на счастье. Правда, выглядела она в тот покупной момент тощей и необихоженной, но худоба была не старушечья, поправимая в хороших руках, и он весь ушел в заботы о новой скотине. Увел ее в безлюдный угол займища, сплел себе там шалаш и жил чуть ли не пол-лета, выгуливал свою Даньку на вольной траве, не докучая работой. Только знай гуляй себе, ешь, чего хочется. И Данька на глазах стала выладниваться, хорошеть, заволнилась гривой, заходила остренькими ушами с живым интересом к миру. Напоследок Касьян выкупал ее в Остомле, отчистил белым речным песком и еще раз выкупал и, неузнаваемую, сам в душе с праздником, привел во двор. Собрал на стол, позвал мужиков, те нахваливали: «Хороша, хороша, но да вить корова — молоком, а конь — работой. Спробовать бы надо...» «Спробуем, как не спробовать, — радовался Касьян. — Для того и куплена». На другой день съездил к Афониному отцу, подковал на все четыре высоконьких, стаканчиками, копытца. После того разобрал старую телегу и на прежних осях и железной оснастке принялся мастерить новый полок. Взвешивал и обдумывал каждую дощечку, каждую спицу в колесе, чтобы возок был и крепок, и негромоздок, — ладил в самый раз по кобылке.

Все у Касьяна в тот год вроде бы ладилось и ладно складывалось для ровной жизни в посильных трудах, но вот завелся в Усвятах колхозец и стал поперек всех его планов, расколол мысли надвое. Что это за новшество, многим не особенно было понятно, и поначалу принимали его не все и не сразу. Мужики при хозяйствах осторожничали, тянули время, кое-кто распродал со двора лишки на тот случай, что если придется вступать, то уж с меньшей потратой. Касьяну колхоз тоже показался не ко времени, да кое-кто не советовал вязать себя с ним. Но все ж для себя нашел он иной выход, казавшийся ему разумным и справедливым для обеих сторон. О себе заявил так, что-де не против вступить в колхоз, но с тем условием, чтобы и конь, и полок оставались при нем, на его дворе, а он, когда надо, работал бы вместе с конем на общий котел. Уже тогда севший править артелью Прошка показал ему обидную дулю, сказавши, что таких хитропопых подрядчиков ему не надо: вступать так вступать, а не вступать — так и нечего голову морочить... Хорошо ему, Прошке, фигу показывать — сам-то он безлошадно, налегке, вступил, и Касьян рисовал себе невеселую картину, как кто-то чужой запряжет его Даньку, навалит на телегу сверх всякой меры и совести, огреет кнутом, бестолково задергает вожжами, заорет матерно и не пособит, не слезет с повозки, когда его, Касьянова, Данька, выворачивая из суставов ноги, будет полоумно выпластываться, лезть из хомута на последнем узволоке. Кто ж побережет не свое, думал он тогда. И, подавая наконец заявление, поставил колхозу новое условие: вступить он не возражает с конем и телегой, даже прибавит к тому соху, хорошую железную борону и пару полотен кос, но чтоб непременно назначили его конюхом. «Да что ты все ультиматумы ставишь! — вскинулся тогда Прошка-председатель. — Пан-барон нашелся, понимаешь!» Но, вспомнив, что Касьян отбывал действительную фуражиром, согласился удовлетворить его, как он выразился, «каприс» и назначил на должность временно, до общего собрания — как оно скажет. С той поры так и пошло: конюхом да конюхом — вот уже целый десяток колхозных годов. Сперва рядовым, потом и старшим. Свою хозяйскую дотошность Касьян, обвыкнув в колхозе, перенес и на общественное добро: терпеть не мог изодранной и пересохшей сбруи, расхристанных хомутов, как попало сваленного лошадям сена, ворчал из-за каждой потерянной подковы, и не дай бог, если кто возвернет с поля коня с потертой холкой.

За время своего конюхования привязался он ко многим лошадям, иных выходил с сосунковой поры, иные выдурились почище Даньки. Мечталось завести даже донцов, подбивал на это Прошку-председателя, но тот, узнав, сколько стоит чистокровная матка, замахал обеими руками, отвернул нос: «Иди, иди, не дурей! За такие деньги два трактора можно купить». Но Касьян не отказался от своей задумки: тем же летом выбрал самую ходкую и статную кобылу, Челку, и, не сказав никому, махнул на ней в Подзвонье

на конный завод. За хороший магарыч, так что и сам вернулся без шапки, поставил ее с записным жеребцом Перепелом, и объявилась первая в Усвятах дончиха. Вон она стоит в шестом стойле — подпашистая, сухомордая, в белых чулках. И назвал он ее по всем заводским правилам: от клички отца взял первую букву «П», приставил к имени матери, и получилось, как влилось, — Пчелка. Всего пока полукровка, но уже по всей справе видать, что не простого замеса лошадка — красота с огнем пополам! Прошка-председатель присматривался, удивлялся: «Что за краля? Откуда такая?» Должно, метил в свои бегунки. То-то что и оно — откуда... Не случись война, на другой год опять бы съездил в Подзвонье, уже на самой Пчелке, чтоб еще больше приблизить потомство к настоящим кровям. Да, видно, конец всему, того гляди, и самую Пчелку вот-вот заберут...

Были у него и еще коньки хороших статей, стригунки, часами б глядел на сорванцов, как вынашиваются они, на скаку покусывая друг другу холки, или встают друг перед дружкой на дыбки, под грудь загибают шеи. В табуне что в колоде: есть и козыри, есть и шестерки — всякие, но Данька шла по особь статье: своя лошадь.

Четырнадцатое лето дотаптывает его Данька — три до него да десяток трав под его доглядом. Правда, росточком так и не вышла и даже вроде как ниже стала, оттого что раздалась задом, разломилась повдоль сытой спиной, — от былого, конечно, ничего не осталось, но масть и теперь красит — видная лошадь! В первые годы, уже будучи колхозным конюхом, набрасывал Касьян на нее седло покрасоваться перед миром, когда выгонял табун в ночное, дескать, знай наших! Потом растолстела, разбочкалась, под седлом неудобна стала, и Касьян года три как пересел на рослого Ясеня. Хотел и дальше вести от нее редкую масть, да не сыскал пары, такого же молочнотопленого конька. А хорошо б было! От своих же, усвятских, несла она всякий разнобой, двух жеребяток почему-то сбросила, а главное — получались они и самой мельче. Какие-то нелады у нее с племенем, неспособная к этому. Сказать по совести, малость просчитался он с ней: вгорячах, когда покупал, мерещилось большее. Масть-то масть, да не слезть в грязь. Оказалось, лошаденка-то без старания, норовом себе на уме — лишнего не положи, в паре без кнута валек не натянет, а чуть что — и куснуть горазда. То ли была отроду такой, то ли уже здесь, в колхозе, забаловалась. В своем хозяйстве эта порча сразу бы и обнаружилась, а тут, за другими лошадьми, как-то не примечалось. Да кто ж знал! Иной вон и бабу за одни глаза берет, размечтается, думает, царевну ухватил, ни у кого такой нету... И все ж любил ее Касьян, может, потому, что сам на ней не пахал, не сеял, а только холил, да чистил, да глядел на буланую шерстку. Между тем мужики брали ее в наряд без особой охоты, когда уже выбрать было не из чего, и это задевало Касьяна. Знал он и про то, что бивали ее, с глаз отъехавши, но промалчи-

вал. За другую лошадь поднял бы шум, начертыхал бы по самую завязку, а тут — молчок, неловко было за свою лаяться. Иной раз вернется кобыла на конный двор, а на пыльном гузье — свежие полосы, следы осерженного кнута. Может, и за дело бита, да и как не за дело, но Касьян состроит вид, будто не заметил, замкнет рот, а в самом заворошится обида пополам с жалостью. И, жалея, потом в ночи украдкой подсыплет, хоть на пригоршню, да овсеца побольше, а сенца помягче...

Но вот стоял он нынче с заплечным мешком перед ней, и та не заметила, не оторвалась от чужой подачки.

— Данька, Данька! — позвал он еще раз, играя голосом, не зная и сам, чего добивается от лошади.

Кобыла, услыхав привычный оклик, подняла голову, свернула глаз к заплечью и ненадолго, непомняще посмотрела на хозяина, деловито, размашисто жуя, гоняя рубчатые желваки по широким салазкам. Белое овсяное молоко проступило в ее сомкнутом сизогубом зеве.

— Это я! Аль не видишь? — поспешил удержать ее взгляд Касьян и зачем-то посвистел, как при водопое. Но та, еще не дожевав, жадничая, опять сунулась в обслюнявленный ящик.

— Эк поспешает! — обиделся Касьян. — Успеешь еще, день велик. Нынче и вовсе никуда не тронут. Некому трогать. Нынче у тебя пустой день.

Кобыла продолжала хрумкать, сопя и шарясь мордой по опустевшему ящику, и Касьян, дожидаясь, пока она управится и вскинет голову, униженно рассматривал приколоченную к столбу табличку. Когда вселялись в новую конюшню, он собственноручно выстрогал эту досочку и старательно написал чернильным карандашом крупно, с замысловатыми завитками эти четыре буквы — «Даня». Потом какой-то лихоман перечеркнул букву «а», а сверху надписал «у», и Касьян ночью выскребал ножом эту обидную, насмешливую букву.

— Ну дак чего... Пошел я...— растерянно проговорил он, оглянувшись на выход, мимо которого как раз промелькнул Пашка с охапкой сена. — Ладно, жуй, раз такое дело. Может, больше и не доведется. Овсеца-то. Без меня теперь будешь.

Он потянулся через прясло, прощаясь, почесал пальцами крутую конскую ляжку. Кобыла в ответ досадливо трепнула долгим белым хвостом, будто отмахивалась от докучливого слепня.

— Ну не буду, не буду... Твое теперь дело: кто дал — у того и бери, кто ударил — тому беги, — проговорил он, неудовлетворенно, с обидой отступая от лошади. — Ну, бывай! Пошел я...

Касьян опасливо обернулся в оба конца, не видит ли кто этого его тайного свидания со своей давней, застарелой болячкой,

и, отступаясь от стойла, вдруг в конце прохода, среди ровного ряда хомутов, развешанных на столбах — каждый против своей лошади, — подцепил нечаянным взглядом какой-то лишний, ненужно выпиравший предмет. Всмотревшись, Касьян распознал морду старого Кречета. Положив тяжелую, сумеречно-серую голову на прясло, он затаенно следил из-за хомутов за Касьяном, словно догадывался, что видит его в последний раз.

— А-а, это ты! — обрадовался Касьян внимательному взгляду мерина, о котором как-то и не вспомнил и, наверно, не подошел бы, не попадись тот ему на глаза. — Ну, как ты тут, а? Живой?

Касьян шел к нему, заранее протянув ладонь, будто для рукопожатия, и конь нетерпеливо загремел копытами, сунулся грудью в перекладину и безголосо заржал, издав какой-то долгий сухой сип, под конец которого прорезался немощно озвученный, изъеденный старостью голосок.

— Узнал, а? Узна-ал! — растроганно выговаривал Касьян, увидев, как рванулась к нему лошадь.

Он подошел и потрепал старого коня по замшелой гулкой скуле, и тот ткнулся колючими усатыми губами под Касьяново ухо, засопел довольно.

— Что ж ты не ешь, а? Али не естся? Ты давай ешь. Вон как твои друзья-приятели овес рушат. За ухи не оторвешь. И про прежнего хозяина забыли. А я ж их из грязи, можно сказать... Сколь болячек повымазал...

Конь, положив голову на Касьяново плечо, слушал, водил ушами, и эта доверчивая тяжесть была приятна и радостна Касьяну.

— А я, вишь, ухожу. Война, браток, война! Негожее дело затеялось. Сена не напасли, овес вон подчистили... Вот беда: и дать-то тебе нечего, нету гостинчика. Забыл я про тебя, запамятовал, что ты есть. Ну, прости, прости... Заморочили бабы голову, ревут да голосят. Насилу из дому вырвался... А ты дак не забыл — помнишь! Вот, вишь, как оно...

Наговаривая все это, Касьян в который раз сокрушенно шарился по карманам, ища хоть какую случайную корку, хотя бы зернышко для прощальной утехи коню, ведь всегда ж чего-нибудь носил, не являлся порожний. Но карманы, как назло, были пусты, должно, Натаха, сбирая одежду, все повытрусила оттуда, и от этого сделалось ему неловко и совестно.

— Как же я, а? Нету, нету ничего... Забыл начисто.

И вдруг, задержав руку в пустом кармане, обрадованно замер.

— Постой! Как же нету? Как же это нет? Е-есть! Сичас, сичас, браток...

Он сбросил с себя мешок и, присев на корточки, принялся

торопливо распутывать затянувшуюся петлю. Кречет, перегнувшись шеей через прясло, осторожно теребил губами картузную маковку.

— Ну как же нет? Вот же... — бормотал Касьян и, выхватив ковригу, ломанул от нее закраек. — На-ка, друг, испробуй солдатского!

Мерин потянулся к хлебу, но сразу не взял, а долго нюхал, тонко играл, вздрагивая ноздрями, вдыхая острый ржаной запах, и лишь потом робко, стеснительно, как бы не веря, — не по чести, — заперебирал по горбушке губами, ловчась откусить истертыми до десен негодными резцами. И, так и не откусив, вобрал все в рот и, зажмурясь, благодарно запахнув глаза, неспешно, словно вслушиваясь в душистое, солоноватое лакомство, повернул тяжело гуркающую челюсть в одну сторону, в другую...

— Ешь! — подбадривал Касьян и, жалея лошадь, обломил о колено еще кусок. — Худо твое дело. Кабы не война, дак, может, еще б пожил промеж других. А то, вишь, война...

Когда Касьян впервые принял конюшню, Кречет и тогда в годах был, но еще выглядел крепким, богатым конем в серых морозных яблоках. Привел его с собой в колхоз ныне покойный Устин Подпряхин, а сколь жил до Устина и где обитал, где его настоящая родина, никто в Усвятах не знал. А нашел его Подпряхин аж в девятнадцатом году, в Ключевском яру, в полной сбруе, под боевым седлом. По-за тем яром по Муравскому шляху — Касьян тогда мальчонкой был — ходили конные сотни, секли друг дружку, — то белые налетят, то красные, — и неведомо было, чей это конь, кому служил, за что бился. Коню ведь все едино, куда скакать, чьей рукой направят. За эту его темность Прошка недолюбливал Кречета, называл его в шутку контрой. Ну да, может, и был за конем грех какой, дак после того с лихвой изгладил вину: годов двенадцать на Устина робил, пятерых ребятишек таким вот хлебом на ноги поднял да потом в колхозе, пока не избил копыта, пока не подошел край.

— Да, братка, не станут тебя больше держать. Хватит, скажут. Что поделаешь? Не до тебя теперь. Не помогальщик ты больше. Рази тем токмо пособишь, что шкуру отдашь на солдатские ремни... Так что ешь. Последний твой хлебушко. Не увидимся больше...

Касьян поддавал ладонью, помогал Кречету взять остро растопыренные корки, сминал кулаком потуже мякиш, уже не замечая за словами, сколько раз ломал от ковриги.

Неожиданно кто-то поддал его в спину, и Касьян увидел Варю, тянувшуюся к нему из соседнего стойла. Отросшая порыжевшая челка рассыпалась по ее шоколадной морде с белой пролысиной. Кобыла, коротко гоготнув с густой сдержанной

мощью, ревниво косила на Кречета темно-сливовый зрак с отраженными в нем квадратиками противоположного окошка. Под ее боком толокся такой же шоколадный и тоже с белым переносьем сосунок, дрожливо, как лесная коза, нюхал поверху хлебный воздух, еще не ведая, что это такое, беспонятно волнуясь, перебирая копытцами.

— А-а, Варвара! — обернулся к ней Касьян, всегда уважавший эту сильную, безотказную и добрую лошадь с самым большим хомутом во всех Усвятах. — И тебе хлебца? Дам и тебе. А как же... На, на, матушка. Тебе да не дать...

Он и ей обрадованно отщипнул кусок и еще поменьше протянул жеребенку. Тот, однако, не знал, что делать с хлебом, бестолково тыкался в Касьянову руку, потом потянулся к материным губам, любопытствуя, что она такое жует.

— Экий дурак! — опять растрогался Касьян, ловчась погладить, поласкать несмышленыша, и был он в эти минутки прощального избывания как во хмелю: обостренный ко всему, то горестный, то невесть отчего счастливый. И, снова обращаясь к Варе, говорил:

— Тебя с дитем на войну не возьмут, не должны б взять. Так что тут останешься. Это вон Ласточку с Вегой, Ясеня, к примеру, — тех подберут. Дак и Пчелку, само собой... Ласточка с Вегой в извоз патроны возить або пушку. Куда ни назначь — добрая пара. Дак и Ясень... А Пчелку, ясное дело, под седло, под командира. Увидит — не расстанется командир. Многих пошерстят. Может, какой десяток-полтора и останется. Так что тут тоже не мед. Хомуту не просыхать. Вон сколь хлебушка в поле. Тебе, Варвара, жать да возить. Ты уж, матушка, выручай тут. Сколь малых ребятишек на тебе, на твоей хребтине остается. Эх, кругом разор!

То ли запахом свежего хлеба, то ли голосом своим растревожил, расшевелил Касьян чуть ли не всю конюшню, и то рядом, то за проходом напротив кони загукали полом, застригли навостренными ушами. Принюхиваясь издали, высунулись за входные барьерки стоявшие рядом Вега и Ласточка, с тихой волнистой протяжцей подал молодой голос Касьянов ездовой Ясень... Кто-то там дальше уже зассорился с соседом, взвизгнул звериино, саданул в доски — не иначе Данька, ни с кем не уживается, подлая. Уже два станка сменил ей Касьян, а все то же...

На виду у коней Касьяну было неловко прятать остаток ковриги в мешок, заела б, замучила совесть, и он пошел по рядам, отламывая и раздавая последнее, сам облегчаясь намученной душой.

— Дядька Кося! — встал в солнечном проеме ворот Пашка Гыга. — Каких выводить? Которых?

Но, увидев, как тот ходил по станкам с искромсанным ломтем, поумолк, вырисовываясь деревянным ружьецом за плечами.

16

Лошади были поданы к конторе за полчаса до объявленного срока.

Распрощавшись с дедом Симакой, который, выкликнув вслед: «Ну, с богом! С богом!»,— остался маячить посеред конюшенного двора с непокрытой головой, Касьян на Ласточке с Вегой, дедушко Селиван на Ясене с Мальчиком на рысях подкатили к правленческому майдану.

Но еще издали, трясясь в задней телеге, Селиван окликнул непонятно за колесным грохотом, ткнул кнутом в сторону конторы, и Касьян увидел, как в утренней синеве над соломенной кровлей свежо и беспокойно полоскался новый кумачовый флаг, вывешенный, должно быть, только что, в самое утро, заместо старого, истратившегося до блеклой непотребности.

На пустыре уже набрался усвятский люд: подорожно, не по погоде тепло, с запасом одетые мужики с разномастными самодельными сумками, и с каждым пришли его домашние, провожатые. Люди облепили конторское крыльцо, кирпичную завалинку, толпились кучками, лежали и сидели в тополевой посадке. Мелькнул широкой спиной с полотняным мешком Афоня-кузнец, по старой Махотихе, сидевшей с ребятней на порожках, Касьян догадался, что и Леха был где-то тут. Под кустиками в большом кругу Матюха Лобов перебирал, пробовал на частушечных коленцах свою старую, никому теперь не нужную дома ливенку. Но, несмотря на всплески гармошки, празднично-яркий флаг над конторой и безмятежную синь утреннего неба, во всем: и в том, как неулыбчивы, с припухшими глазами были лики провожавших женщин, как, скорбно понурясь, сидели на крыльце и по завалинке старушки и как непривычно смирны были дети, — чувствовалось сокрыто копившееся напряжение, выжидание чего-то главного. И как знак этого главного у коновязи одиноко и настораживающе стоял не здешний и обликом, и мастью, и крепким воинским седлом пропыленный конь в темных, еще не просохших подпотинах: кого-то он доставил казенным посылом, кто-то поспешно прискакал по ранним безлюдным верстам... Впрочем, сразу же и узналось, что приехал райвоенкоматский лейтенант по мобилизационному делу, чтобы на месте принять намеченных людей и доставить их в организованном порядке.

А из усвятских проулков, выбираясь на полевую, околичную дорогу, по которой еще недавно бежал и сам Касьян, все шли, поспешали, мелькая головами по-над хлебами, новые и новые куртины людей. Кто-то недокричал своего, недовыголосил дома, и теперь, из-за пшеничного окрайка, где колыхались платки и картузы и мелькали все те же заплечные сумки, долетал обессиленно-вскидливый голос какой-то женки.

Касьян, поискав и не найдя своих, Натахи с матерью, подошел к мужикам, окружившим Лобова, здороваясь и всем пожимая руку с той облегчающей братской потребностью, с какой деревенский общинный житель всегда стремится к ближнему в минуты разлада и потревоженной жизни. И те, тоже откликаясь приветно, потеснились и дали место в кругу, где Лобов, охватив гармонь, подвыпивши, краснoязычил:

— А все же должны мы его уделать, курву рогатую. Хоть он и надеколоненный, и колбасу с кофеем лопает, а — должны.

— Ужо не ты ль? — подзадорил кто-то.

— А хоть бы и я! Ежли один на один? Подавай сюда любого. Давай его, б...дю! Окопы рыть? Давай окопы! Дело знакомое, земляное. Неси мне лопату и ему лопату. Да не ево, а нашу, на суковатой палке, чтоб плясала на загнутом гвозде. Нехай такой поковыряет. Я вон на торфу по самую мотню в воде девять кубованцев махал. Пусть попробует, падла!

Лобов сдержал обещанное, пришел-таки в лаптях, вздетых на высоко и плотно обернутые онучи, казавшие кривулистые, имками, ноги. Картуз он подсунул под гармонь и теперь больнично голубел наголо остриженной шишковатой головой, отчего вид у него был занозливый, под стать и самому разговору. Однако мужики слушали его с готовым интересом: коротали время.

— Али пешки итить. Нате, мол, вам по полста верст. Ему полста и мне полста: кто поперед добежит. Токмо чтоб без колбасы, такое условие. Мне в котелок кулешику, и ему кулешику. А мы тади поглядим. Дак я и без кулеша согласен. Пустобрюхом не раз бегано. Но чтоб и он пустобрюхом! На равных дак на равных.

В трудный тридцать третий год Лобов вербовался куда-то один, без семьи, обещал потом вызвать свою Марью с младенцами, но что-то там не то нашкодил, не то еще чего и отбыл за то три года сверх договора. Домой вернулся вот так же без волос, но зато с гармонией и среди усвятцев слыл хотя и балаболом, но бывалым мужиком. В общем-то по обыденности, несмотря на причуды, был он человеком сходным, но, подвыпивши, любил похвастать, или, как говаривал о нем Прошка-председатель, заголить рубаху и показать пуп.

Касьян не все слышал, что там еще загибал Матюха, отходил, глядел по сторонам, искал своих, не подошли бы, и когда вернулся снова, тот продолжал потешать новобранцев.

— Я солдат недорогой, — говорил он, оглаживая стриженую макушку. — Много за себя не спрошу, кофею не затребую: шинелку, опояску, махорки жменю, а нет, дак и моху покурю. Спробовал уже: курить можно. Хоть воньливо, зато комар не ест... Три дня кухню не подвезут — ладно, сухарика из рукава

поточу або гороху за окопом пощиплю. И в болоте без раскладухи заночую, леший не нанюхает. Вша, сказать, — тыю тож за жисть повидали. Так что немцу неча со мной тягаться. Нечем ему меня напужать — пужаный всяко. Не на того наскочил, халява.

Лобов сплюнул, задел плевком гармонь и поспешно вытер ладонью.

— Один на один да без ничего — это и я согласный, — отозвался Никола Зяблов, подбрасывая спиной неловко сидевший мешок. — А то ведь, сказывают, на машинах он да с автоматами. Тут одним живучим брюхом не посрамишь. А ну как да и Россию-то б на машины.

Тем временем дедушко Селиван, встав в телеге, шумел свое:

— Робятки! Слышите ль? Давайте пехтеря-то свои. Чего ж их за собой таскать? Афанасей! Лексеюшка! Давайте... складывайте.

Мужики зашевелились, начали обступать повозки, и дедушко Селиван, принимая и укладывая сидора, весело приговаривал:

— Не всегда ходоку сума барыня, надоть и плечи поберечи. Уложимся загодя — и вся недолга. Вали, робятки, облегчайся! Все как есть к месту доставим.

Лобов, послушав, чего кричит Селиван, заперебивал пуговицами на ладах, гармошка, будто вспорхнувшая бабочка, замелькала рисунчатым коленкором своих мехов, и хозяин выдал скороговорицу:

Ты, телега, ты, телега,
Ты куды торопишьси-и-и?
На тебя, телега, сядешь —
Скоро ли воротишьси-и-и...

На гармонь, на лобовскую запевку откуда-то из-за толпившегося народа внезапно отозвался жестяной надсадный выкрик, вырвавшийся из охрипшего и ободранного горла:

Ох, д'кричу песни-и-и...

И через промежуток:

Кричу вволюю...ю...

И еще через паузу:

Ох, д'напоюсь на все недолю-ю-ю...

Все обернулись на эту охрипшую частушку: по выгону к правлению двигалась толпа, человек двенадцать Кузькиных родичей и гостей, в основном баб, наехавших из окрестных околотков, и в середине сам Кузьма, поддерживаемый под левый закрылок

Давыдкой, а под правый — своей бабой Степанидой. На Степаниде, так же как и на Давыдке, белели лямки холстинного мешка, туго, до желваков набитого снедью. Кузьма, ведомый под руки, сморенно волокся, загребая пыль форсисто осаженными сапогами, обвисая головой со сбитой набок кепкой. Выглядывая одним глазом в расселину свалившегося чуба, словно в заборный пролом, он искал игравшего, пытался пристроиться к ладу:

Голосок мой д'хрипловата-а-ай...
Ох, тут никто... не виновата-а-ай...

Кузька потряс головой, сбросил в пыль кепку, и Степанида, подхватив ее, обтрусив о колено, надела на себя, поверх косынки. Было похоже, будто не она провожала Кузьму, а Кузьма заместо себя отправлял на немца свою жену, облаченную по-походному — в мешок и кепку.

Подступившие бабы, встав коридором, молча глядели, не ввязывались, но старая Махотиха не вытерпела, вскинулась руками:

— Да куда ж ты его такого-то? Степанидка!

— А чего с ним теперь! — отозвалась бледная, намучившаяся тащить Степанида, озираясь на обе стороны. — Знал, паразит, чего делал! Нехай теперь страмотится. Я уж и язык об него излаяла.

— Может, его водицей полить, охолонуть? К колодезю б сперва...

— К-каво? — вскинулся Кузька. — Мне к колодезю? Ха!..Н-на дворе большой колодезь... упаду — не вылезу... Ежли выпить не дадите... Я помру — не вынесу...

— Иди, горла! — дернула его Степанида под руку. — Токмо бы хлебал... Разинь пузыри: все люди как люди, а ты аггел беспамятный.

Позади Кузькиной свиты, чуть поотстав, давая ветру отнести на сторону поднятую ногами пыль, шла, шамкая юбкой, тыча дорогу клюкой, долгая сухая старуха в черной суконной шали — Кузькина мать. Она шла, ни на кого не глядя, не слушая, а может, никого и ничего не слыша...

Кто-то, однако, сбегал до правленческого колодца, отцепил ведро, и Кузьку окатили-таки, намыли голову, а потом положили за конторой в тенек, не давая ему шутоломить, появляться перед окнами.

Между тем народ подобрался, подошли последние, кому должно тут быть, и Касьян отвертел шею, высматривая, пока наконец на конторском выезде не объявилась Натаха с обоими ребятишками. Касьян еще издали узнал ее не столько по голубой просторной кофте в розовую повитель, сколь по тому, как двигала-совала она ногами, широко ставя их от себя и перева-

ливаясь с боку на бок, как зобастая утица. Митюнька, взлетывая на встречном ветру белыми волосенками, скакал бочком, будто пристяжной, об руку с матерью, Серенька шмыгал новыми штанами сам по себе.

Давно ли из дому, но вздрогнуло все в Касьяне при виде своих на этом куске дороги, как если бы глядел он из дверей эшелона, что уже стоял под парами, вот-вот должен был лязгнуть крюками и отойти. Он торопил Натаху глазами и даже помахал кепкой, но, не выдержав, сам поспешил навстречу.

— Папка-а! — звеня голосом, ликуя, не веря, закричал Сергунок, выплескивая все разом в своем восклицании, в одном только слове, которое в эту минуту сделалось главным, единственным, заменившим все остальные ненужные слова, ровно бы забытые начисто, и, как тогда, на сенокосе, первым сорвался бежать и, добежав, повис на руке, засматривая в лицо Касьяна, повторяя уже умиротворенней, со счастливым облегчающим всхлипом: — Папка...

— А я жду, а вас нету и нету, — сквозь терпкую горечь проговорил Касьян. — Нету и нету...

Тут же налетел Митюнька, молча, должно быть, в подражание старшему, обхватил и повис на другой отцовской руке, и Касьян, связанный, распятый ребятишками, так и стоял посередь дороги, пока не подошла Натаха.

— А где же мать? Мать-то чего?

— Ох, да ну ее! — перевела она дух. — Сичас да сичас... Чегой-то ищет... Говорит, идите пока... Ну, чего тут у вас? Скоро ли?

— Да вот ждем... Уже небось десять, а пока ничего.

На выгоне Касьян определил их в сторонке, на примятой траве, но не успел, присев рядом, искурить папироску, как на крыльце появился Прошка-председатель вместе с прибывшим лейтенантом. Тут и там толпившиеся люди ожили, повалили к конторе, и Касьян, предупредив: «Пока тут будьте», направился к крыльцу и сам, тянясь шеей, заглядывая поверх голов.

Прошка-председатель был в своей низко насунутой кепочке, все в том же куропатчатом обвислом пиджаке, но в свежей белой рубахе, наивно, по-детски застегнутой под самый выбритый подбородок.

Рядом с ним у перил остановился непривычный для здешнего глазу, никогда дотоль не бывавший в Усвятах военный, опоясанный по темно-зеленой груди новыми ремнями, в круглой, сиявшей козырьком фуражке и крепких высоких сапогах, казавшийся каким-то странным пугающим пришельцем из неведомых обиталищ, подобно большой и непонятной птице, вдруг увиденной вот так вблизи на деревенском прясле. Смугло выдубленное лицо его было сурово и замкнуто, будто он ничего не понимал по-здешнему, и Прошка был при нем за переводчика.

Прошка-председатель пошатал руками перило, взад-вперед покачался сам, выжидая, пока подойдут остальные, и, когда воцарилась тишина, сказал:

— Значит, так, товарищи... Ну, зачем вы тут — все знаете. Так что говорить лишнее не стану. На прошлой неделе мы проводили в армию первых семнадцать человек. Я и сам тади думал, что этого, может, и хватит и мы с вами будем по-прежнему работать и жить за минусом тех семнадцати. Но дело заварилось нешутейное, тут таить нечего, понимаешь... Приходится, стало быть, нам еще пособлять...

Прошка-председатель достал из-за края пиджака какие-то листки, заглянул в них...

— Повестки уже розданы, но мы тут с представителем военкомата еще раз уточнили, чтоб, значит, никакой путаницы...

Говорил он каким-то серым голосом, пересовывая листки бумаги, будто они жгли ему пальцы, — нижние наперед, верхние под низ, потом опять все сначала.

— Пойдете отсюда организованно, чтоб не тащиться один по одному, не затягивать время. Так что слушайте теперь вот его, вашего командира, и все его приказы исполняйте. У меня пока все.

Он сунул листки в руки лейтенанта, нетерпеливо прошелся у него за спиной, остановился, передвинул кепку, еще раз прошелся и, подойдя к перилам, опять пошатал их обеими руками.

Листки, должно, были сложены неправильно, потому что молчаливый лейтенант взялся неспешно, с давящей обстоятельностью наводить в них какой-то свой порядок: опять положил верхнюю бумажку под низ, нижнюю — сверху, а ту, что была до того наверху, заложил в середину. После чего без всяких предварительных слов и пояснений сразу же выкрикнул:

— Азарин!

С ответом почему-то не поспешили, возможно, потому, что уж слишком вдруг было выкликнуто: по пальцу ударь — и то не сразу больно, а сперва лишь удивительно, — и лейтенант, оторвавшись от бумаги, переспросил:

— Есть такой? Эм вэ?

— Е-есть! — послышался встревоженно-оробелый отклик.

— Азарин! — повторил опять лейтенант и прицелисто поводил по площади строгими глазами.

— Я! Я! — поспешил объявиться вызванный. — Тут я.

— Азарин, три ш-шига впер-ред!

Из толпы, весь в смущении, с растерянно-виноватой улыбкой на опаленно-красном дробном лице, бормоча сам себе «иду, иду», протолкался невеликий мужичонка, по-уличному Митичка, числившийся скотником на усвятской молочной ферме.

— Тэ-эк... — протянул лейтенант, помечая что-то в листке карандашом.

Митичка, стоя перед крыльцом, стесняясь своего на виду у всех одиночества, продолжал улыбчиво озираться, перебирать парусиновыми туфлишками — вертелся, будто червяк, выковырнутый из земли.

— Азарин, смир-р-но! — вдруг резко скомандовал лейтенант, которому, видно, была неприятна и оскорбительна этакая разболтанность, и вздрогнувший Митичка враз замер навостренным коростелем — крылья по швам, клюв кверху.

Лейтенант внимательно, изучающе посмотрел на Митичку, как бы оценивая материал, с которым придется работать, и, опять сказав «тэк», уткнулся в бумагу.

— Витой!

— Я Витой! — готовно отозвался Давыдко.

— Три ш-шига вперед! В одну ширенгу станови-и-ись!

Давыдко провористо выбежал, пристроился к Азарину и поравнял по его парусиновым туфлям с коричневыми, как у жуков, нососпинками свои юфтовые ботинки.

— Горбов!

— Есть Горбов, — раздался сдержанный бас с покашливанием. Крупным тяжелым шагом выступил Афоня-кузнец в своей особой афонинской одежде: старом, жужелично лоснящемся пиджаке, негнуче вздутых штанах, тускло поблескивающих на коленках, заправленных в разлатые сапожищи. Свою белую сумку из подушечной наволочки он никуда не сдавал, словно бы позабыл о ее существовании за широченной сутулой спиной, и та уже успела вымараться пиджачной смагой.

Лейтенант дольше, чем предыдущих, осматривал Афоню, даже обернулся с каким-то вопросом к ходившему позади него Прошке-председателю и, ставя против Афониной фамилии энергичный отчерк, дважды повторил свое «тэк».

Вскоре подобрали Николу Зяблова, который тетешкал, успокаивал раскапризничавшегося неходячего младенца, мешавшего ему слушать фамилии. Намаявшись и от мальчонки, и от ожидания своего вызова, Никола, когда его наконец окликнули, даже позабыл отдать жене пацана, а так и шагнул было в строй вместе с дитем, отчего народ маленько развеселился, посмеялся этому курьезу. Потом через несколько человек вызвали Матюху Лобова, ожидавшего череда с перекинутой через плечо гармошкой. И сразу за его спиной завыла Матюхина Манька — с таким же, как и у Матюхи, носом розовой редисочкой, с упавшим на плечи платком, — замахала обеими руками, будто отбивалась от налетевших оводов.

— Да Матвеюшка мой едина-а-ай...

— А ну цыть! — огрызнулся Матюха, безброво насупясь, отдергивая рукав, не давая жене ухватиться. — На-ка, подержи гармонь.

— Да че мне гармонь! Че гармонь... — голосила Манька, невидяще цапая протянутую ливенку, и та, расщеперясь мехами, подвыла ей какой-то распоследней пронзительной пуговицей.

Лобов беззвучно, как кот, вышагнул вперед в своих обмятых покосных лапотках и, перемогая бабий прозорливый плач, досадно погуркав пересохшим горлом, проговорил, преданно глядя на лейтенанта:

— Развылась тут... Небось не в гроб заколачивают, реветь мне.

Однако лейтенант не обратил внимания на Матюхины слова а, лишь со вниманием поглядев на его лапти, продолжил чтение списка.

Шеренга все увеличивалась, от тесноты и скученности обступавших людей строй начал кривиться левым наращиваемым концом, и Прошка-председатель уже два раза обращался к собравшимся:

— Товарищи, попрошу дать место. Отойдите лишние. Сколько говорить, понимаешь!

Лехой Махотиным закрыли первый ряд человек в двадцать. Солнце начало припекать, становилось жарковато, и Леха, оставив жене пиджак и кепку, занял свое место во вчерашней небесно-синей блескучей косоворотке, перехваченной наборным кавказским ремешком. Выполосканный в Остомле чуб играл на ветру и солнце крупными смоляными завитками, да и сам Леха был какой-то весь выполосканный, прибранный и ясный, каким бывал он, пожалуй, раз в году, после своей пыльной комбайновой работы. Лейтенант откровенно засмотрелся на него и тоже с нажимом отчеркнул в бумагах, после чего выкликнул Недригайлова.

На эту фамилию никто не откликнулся, и лейтенант, тоже порядком упревший в своих ремнях, нетерпеливо повторил, добавив для ясности инициалы:

— Кэ Вэ. Есть такой?

— Пишите, есть! — подала голос за мужа Степанида, так и не снявшая Кузькиной кепки.

— Тут, тут он! — подтвердили и мужики.

— Недригайлов, три ш-шига вперед! — наддал осерженным голосом лейтенант, в упор глядя на Степаниду.

Кузьма по-прежнему не выходил, и пришлось вмешаться Прошке-председателю:

— Кузьма! Кова ляда? Шуточки тебе, что ли? Степанида, чей картуз на тебе? Где мужик, понимаешь?

Бледная Степанида виновато молчала, убрав вовнутрь рта покусанные губы.

— Да тут он, Прохор Ваныч, — пытались разъяснить из толпы. — Токмо он тово... маленько не рассчитал... А так — тута, за конторой находится.

— Эть, понимаешь... — сдавил челюсти Прошка-председатель. — Позорить мне ополчение! Макнуть его, подлеца!

— Да уже макали. Щас ничего уже. В телегу, дак за дорогу оклемается. За это похлопочем. К месту как есть выправим.

— Меру надо знать... — буркнул Прошка и отвалил от перил.

К Касьяну тихо подошла Натаха, тронула за рукав, но он, прикованный вызовами, не сразу осознал ее присутствие.

— Сичас тебя, Кося, — сказала она, стиснув его руку. — Ох...

— Ага, скоро должны, — не отрывая взгляда от крыльца, вытягивая шею, отозвался Касьян.

Ожидая этого момента, он присмаливал одну цигарку за другой и, когда его назвали, не сразу признал свою фамилию. Касьяну показалось, будто вызвали не его, но кровь уже сама откликнулась, ударила напором в шею, и он, услышав, как выкликнули его вторично, подтолкнутый Натахой: «Тебя, тебя кличут», — так и вышел оглохший, с липким звоном в ушах, будто саданулся о невидимую притолоку. Стоявший в первом ряду Матюха, обернувшись, что-то сказал ему, приветно заулыбался, но Касьян ничего не понял и, как бы не узнав Матюху, уставился на лейтенанта, делавшего очередную пометку.

Кого еще выкликали, он долго не слышал, пока не рассосало этот застойный гул в ушах, пока не отпустило плечи, онемело скованные какой-то неподвластной силой.

— Разиньков! — продолжал выкликать лейтенант.

— Я!

— Рукавицын...

Отсюда, из строя, лезла в глаза всякая мелочь и ерунда, на которую прежде и не глядел бы, не увидел этого: ненужно раздумывал, откуда взялся под конторским окном куст крыжовника. Сто раз бывал здесь и ни разу не видел. То ли Дуська-счетоводка когда посадила, то ли так, сам по себе, самосевка. Та же Дуська небось сплевывала в окно кожурки, они и занялись расти... Потом углядел под крыжовником пестрявую курицу с упавшим на глаз краснотряпичным гребнем. Странно, что она не боялась всей этой толкотни, будто здесь никого и не было, она одна-разъединая со своим делом. Курица, лежа на боку, словно кайлом, долбила край ямки, обрушивала комья под себя, после чего, мелко суча свободным крылом, нагребала на спину наклеванную землю, топорщилась всеми перьями, блаженно задергивая веком единственный глаз. За такое дело курицу следовало бы потурить, потому как оголяет, подлая, корни. Но куст был уже без ягод, должно, еще зеленцой обнесли пацаны, и теперь стоял никому не нужный, разве что этой заблудшей птице.

— Сучилин Вэ Пэ!

— Так точно, я!
— Сучилин А Мэ!
— Иду!
Солнце жгло спину сквозь пиджак, калило суконный картуз, и было странно Касьяну стоять вот так стреноженно, самому не своим в виду своей же деревни, в трех шагах от жены и детишек. Он заискивающе обернулся, и Натаха, прижимавшая к себе, к животу своему обоих ребят, растерянно, принужденно улыбнулась, дескать, здесь мы, здесь...
— Сучилин Лэ Фэ!
— Я-а!
— Сучков!
— Есть Сучков!
Оставшиеся на воле немногие мужики, стомясь ожиданием, выходили на оклик с поспешной согласностью, будто опасаясь, что им, последним, уже не найдется места. Но место находилось всем, и уже начали лепить четвертую шеренгу. Набиралось не, как думалось раньше, пятьдесят ходоков, а, поди, все восемьдесят! И сразу стало видно, с чем остаются Усвяты — с белыми платками, седыми бородами да с белоголовыми малолетками.
Лейтенант сложил бумажки пополам, затолкал их в планшетку и, оглядев строй, спросил:
— Вопросы есть?
Вопросов не было.
— Больные? С потертостями?
Не нашлось и таких.
Лейтенант вынул из брючного кармана часы и посмотрел с ладони на их время.
— Так, товарищи... — сказал Прошка-председатель, оглядывая пустырь перед конторой — молчавших мужиков в строю, присмиревших женщин вокруг ополчения. — Если кто хочет чего сказать — выходи сюда, на крыльцо, и скажи.
Люди молчали.
— Дак будет чье слово?
— Ясно! — выкрикнул за всех из строя Матюха Лобов, белевший новыми веревочно перекрещенными онучами.
— Ну, тогда дайте мне...
— Давай, Прохор Ваныч! — опять выкрикнул Лобов.
— Ну дак вот...
Председатель кинул взгляд в ветреное поле, потом, пройдясь туда-сюда по крыльцу, поперебирал чего-то в карманах и снова вернулся к перилам.
— Я вон хоть и велел повесить новый флаг, но нынче у нас не праздник. Не до веселья нам. Война — тут объяснять нечего. А повесил я флаг за той надобностью, чтобы каженный видел, чего вы идете оборонять.
Все стоявшие перед конторой невольно подняли глаза на кры-

шу. Там над коньком билось и хлопало, гнуло и шатало на ветру долгий оструганный шест свежее кумачовое полотнище. И многие за сутолокой утра видели его впервые, в первый раз подняли взгляд выше конторских окон.

— Но, — продолжал Прошка, — оборонять вы идете не просто вот этот флаг, который на нашей конторе. Не только этот, не только тот, что в Верхних Ставцах либо еще где. А главное — тот, который над всеми нами. Где б мы ни были. Он у нас один на всех, и мы не дадим его уронить и залапать.

Прошка постоял, скосив голову набок, будто прислушиваясь к трепетному биению флага над головой, и добавил, уточняя сказанное:

— Дак тот, который один на всех, он, понимаешь, не флаг, а знамя. Потому что вовсе не из материялу, не из сатину или там еще из чего. А из нашего дела, работы, пота и крови, из нашего понимания, кто мы есть...

Прошка окинул взглядом присутствующих, проверяя по лицам, понятно ли он сказал, и продолжил:

— Конечно, кличут вас, ребята, не на сладок пир. Об этом и говорить нечего. Идешь драть чужую бороду — не во всяк час уберегешь и свою. Тут уж не плошай. Ну да, как сказывали наши деды: в бранном поле не одна токмо вражья воля, а и наша тож. А с нами еще и справедливое дело. Потому как не мы, понимаешь, на него, а он посягнул на нашу землю. А своя земля, ребята, и в горсти дорога́, а в щепоти родина.

В эту тихую на площади минуту кто-то опять тронул сзади Касьяна. Он обернулся и, враз ватно обмякнув, увидел мать. Серая в своей сарпинковой одежке, в сероклетчатом бумажном платке, она пробралась через ряды и мышью потеребила Касьяна.

— Дак нашла, нашла я! — радостно шептала она, торопливо вкладывая в его ладонь тряпичный комок. — Тут пуповинка твоя. Пуповинка. От рождения твово. На случай берегла. Дак вот и случай. Бери, бери, милай. Так надо, так надо...

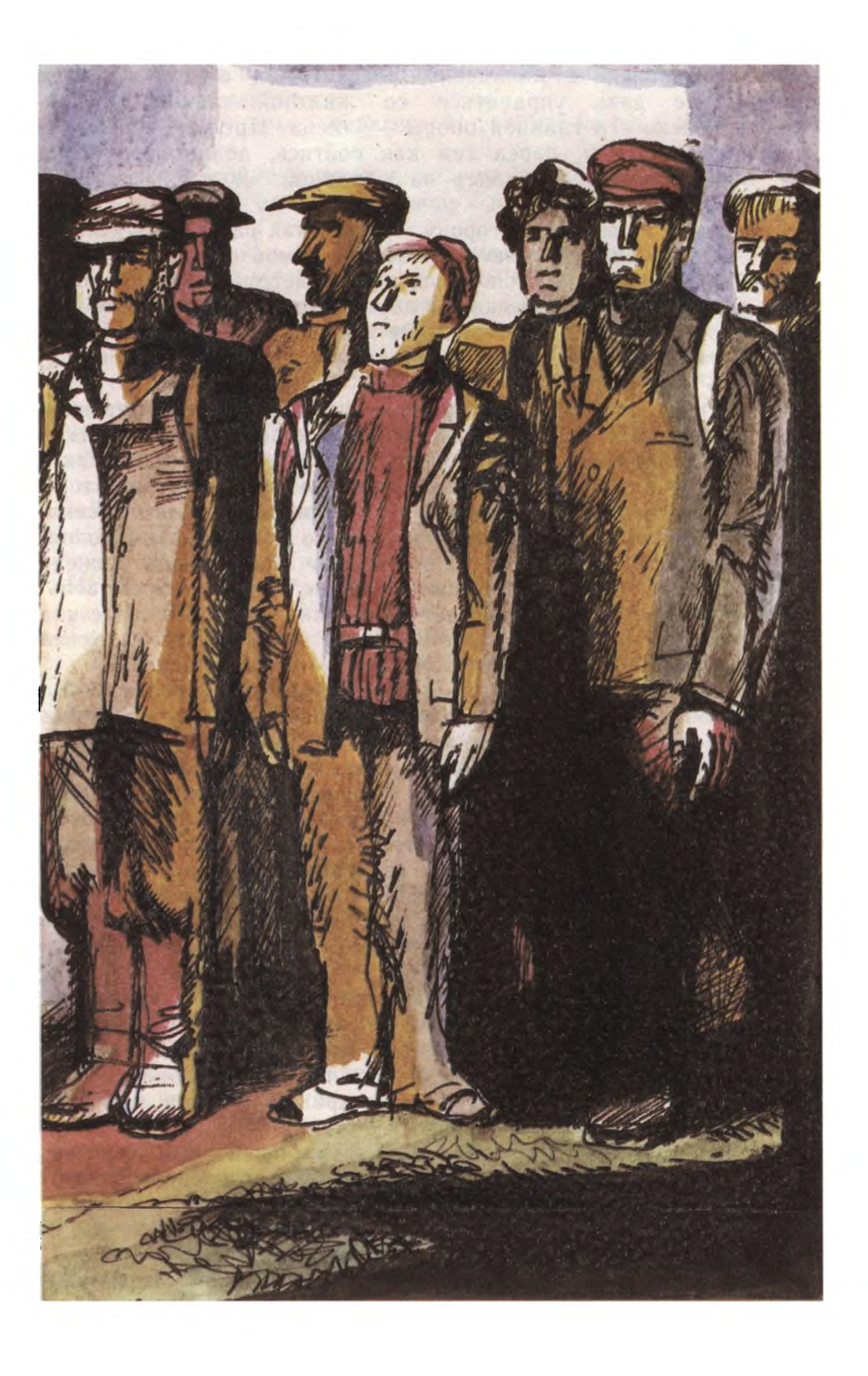
Касьян пытался заслонить мать спиной, уберечь ее от лейтенанта, но тот, заметив какой-то непорядок в строю, уже строго нацелился в его сторону, и Касьян отстранил от себя мать:

— Ступай, мама. Нельзя...

— Иду, иду... — поспешно, согласно закивала она и, воздев руки, маленькая — едва по Касьяново плечо, — немощно потянулась к нему с лихорадочно-поспешным поцелуем. — Ну, час добрый! Час добрый, сынок. Смотри там... Храни тебя господь.

17

По тому, как уходило усвятское ополчение, пыля знойным проселком меж еще не завосковевших хлебов, старики угадывали, как лют был нынешний враг, как подло он преднамерил



свое необъявленное нападение, рассчитывая вместе со всем прочим не дать управиться со жнитвой, лишить супротивное войско его главной опоры — хлеба. Прежде, сказывали старики, будто бы, перед тем как сойтись, дожидались страды, очищали поле и бились на убранной, не столь ранимой земле.

Дорога в ту военную сторону уходила как раз хлебным наделом, обступившим деревню с заката от самой околицы. Нынче, как ни в какой день, расшумевшееся на ветру, ходившее косыми перевалами, то заплескивая дорогу, то отшатываясь от нее обрывистым краем, поле словно бы перечило этому уходу, металось и гневалось, бессильное остановить, удержать от безвременья.

Версту, а то и две провожали отряд бабы и ребятишки, толпой волоклись позади, глотали дорожную пыль, иногда забегая вперед по тесной, заросшей полыном и осотом обочине, запинаясь о пашенные окраинные комья, прикрытые пустотравьем, чтобы сказать что-нибудь еще или хотя бы взглянуть на своего суженого, отца или брата. Было душно и жарко идти рядом с колонной, занявшей собой весь узкий проселочный коридор, тяжело топавшей и густо, непродыхаемо пылившей даже на этом вольном степном ветру. И только лейтенант, качавшийся в седле над мужицкими головами, обдуваемый этим ветром, еще не успел пропылиться и тем смешаться со всеми.

За ветряком, стоявшим на древнем могильном кургане, бабы, надорванные внутренней безголосой скорбью, начали отставать одна по одной, останавливались, махали сорванными с головы платками, что-то еще докрикивая издали, или же молчаливыми изваяниями замирали среди поля. Лишь Лобова Манька долго еще не поворачивала вспять. С гармошкой через плечо, которую она, облегчая Матюху, не хотела отдавать, сопровождаемая тремя босоногими девочками с испуганно-строгими личиками, безмолвно бежавшими за матерью растянувшимся выводком, она время от времени появлялась то справа, то слева от третьего ряда, где шагал, снявши картуз, Митюха, размашисто вышлепывая своими лаптешками.

— Давай гармонь! — завидев жену, всякий раз кричал ей Матюха, пытаясь спровадить ее домой, и когда та опять не отдавала, поддерживая тем самым свою причастность к строю, он строго отворачивался, не хотел больше ни о чем говорить.

— Ты иди, иди знай, — шурша по краю колосьями, выкрикивала она. — Али мы тебе мешаем?

И снова молча шли, дружно, охотно по первым верстам, храня торжественность начатого дела, гукали и шлепали сапогами, лаптями, ботинками, веревочными чунями.

— Ну ладно, прощай, Мотя! — наконец выдохнула Манька. — Глаза видят, а уже все одно не наш. Прощай!

Она на ходу сняла гармошку, передала крайнему новобран-

цу и, остановясь, дернув под горлом косынку, распахнув душу, крикнула своим девочкам:

— Побегите, девки, побегите! Поглядите на отца еще! А я уже не могу...

И, пьяно сойдя с дороги, волоча по земле платок, ничком, как в бурную, невзгодную воду, пала в ходуном ходившее жито.

Касьян, окликая с дороги отставших баб, оглохших и беспонятных: «Сторони-ись! Эй, берегись там!» — ехал в первом возу, держась поодаль от колонны, чтобы не хлебать понапрасну пыли. Со своими он распрощался еще у конторы, обе, и мать, и Натаха, — без ног, на последнем пределе, куда ж им было еще бежать, какие там провожанья. Взяв с собой ребятишек, все время моляще глядевших на него, ловивших каждое его движение, пока в последний раз обходил лошадей, поправлял упряжь, и уже с возка, выбрав и натянув вожжи, придерживая коней, застоявшихся у коновязи, нетерпеливо попросил: «Все, все, Наталья! Мам, все!» Женщины покорно отступились, отпустили грядку, и он с места взял рысью. Но еще до ветряка, отъехав с четверть версты, круто остановил и, поцеловав оробело-притихших сыновей — «Ну, сынки...», — ссадил их с повозки, и те, держа друг дружку за руку, остались стоять на дороге, глядя вослед пыльному облаку, поднятому отцом, догонявшим отряд.

Обогнав Селиванову повозку, Касьян отпустил вожжи, лошади перешли на шаг, отфыркиваясь, радуясь недавнему бегу, и он полез за кисетом, чтобы в первый раз за все утро покурить без спешки.

Когда дорога очистилась от провожатых, дедушко Селиван, оставив своих лошадей идти самих по себе, подсел к Касьяну. Был он торжественно-возбужден этим нарядом и все время озирался, радовался езде, дороге, глядел, как плескались у колес матереющие хлеба.

— Ну, пошли наши! — воскликнул он, засматривая из-под руки на колонну. — Пошли, соколики!

— Как там Кузьма? — поинтересовался Касьян.

— А ничего. Храпит во все заверти.

Часть мешков с Селивановой повозки Касьяну пришлось переложить на свою, а на высвободившееся место, на дно, уложили Кузьму. Уже перед самым отходом Кузьма, встрепанный, с отекшим лицом, вылетел вдруг из-за угла конторы, кинулся было в ряды, но его оттащили, и он, отпихиваясь, расталкивая мужиков, ударил кого-то, крича: «Кав-во? Меня не пущать? Да я вас...» Пришлось его связать, уложить в телегу и прикинуть плащом. Кузьма долго вертелся, пытаясь освободиться, выкобенивался и матерился, но потом его утрясло, и он, угомонившись, снова захрапел.

Деревня еще долго виделась позади, сначала кровлями, потом одними только купами старых темных ракит над светлой

нивой, пока не перевалили за первый пологий увал, убравший за себя Усвяты, и только старый, за ненадобностью давно уже распятый ветряк все еще одиноко маячил среди поля, томя душу последним видением родимых мест.

— Подтяни-и-ись! — покрикивал лейтенант, поворачиваясь в седле и оглядывая колонну.

После часу ходьбы отряд заметно растянулся, пожижел рядами. Только самые первые еще старались идти согласно, тогда как прочие мужики, толкая друг друга плечами от непривычки ходить нога в ногу в такой тесноте, уже давно сбились, потеряли шаг, а в хвосте и вовсе каждый топал сам по себе нестройной ватажкой. Но, несмотря на то, шли споро, со свежей размашистостью, будто стремились поскорее отбежать от Усвят, за пределы своей округи.

Дедушко Селиван, поглядывая в их сторону, укоризненно покричал Касьяну:

— Гляжу я, никак не могут командой ходить! Нешто это строй — кто в лес, кто по дрова. Еще и не шли, ветряк видать, а уже хвост волокут. Во, слышь, командир опеть «подтянись» кричит. Эдак и горла не хватит кричать так-то.

— А он пусть не кричит. Сердитый больно, — буркнул Касьян.

— Командир-то? Не-е! Он нужное требует. Вы ведь, поглядеть, чурки сырые, неошкуренные. Командирское дело какое? Его дело задать шаг, швыдко али нешвыдко. А уж строй сам должон ногу держать, как задано. Тади и марш не уморен, и кричать командиру нечего. До настоящих-то солдат — ох ты, братец мой!

— Как думаешь, — спросил Касьян, — ситнянские какой дорогой пойдут? На Разметное али на Ключевскую балку?

— Какой же им резон на Разметное итить? Ясное дело — на Ключики. А чего?

— Да Никифор мой должен пойти.

— Ох ты! И его взяли?

— Поше-ел! Да хотел повидаться...

— Ну да перед Ключами Верхи будут, оттуда и поглядим. Ежли ситняки напрямки двинут, полем, как мы, дак с Верхов далеко видать. Человек не иголка, а целое ополченье и вовсе в поле не утаится. В прежние времена, сказывают, на теих Верхах сторожевая вежа стояла.

— Это для чего?

— Для догляду. Караулили, не набегут ли с дикого поля хангирейцы. Ежли что, дозорные люди сразу и подадут знать. Подпалят на верху вежи бурьян або хворост. А уж за Остомлей, за лесом, другая вежа была. Та потом себе дымить зачинала. Так аж до самых Ливен, а то и дале — дымы. Мол, татары идут, хангирейцы. Доедем до Верхов — глянем твоего Никифора, коли ситняки нонче выступили.

— Дак и ставцовские тоже седни идут.

— Ага, ага... Стало быть, всех одним днем кличут.

Тем временем кончилось усвятское поле, открылась пологая балочка, коих в этих местах — за каждым увалом. По дну лощины сквозь осочку и лозняк несмело пробивался только что народившийся безымянный ручей.

Лейтенант свел отряд до самого долу и тут остановил, объявил перекур.

В логу стояла тишина, никем не топтанная трава медово млела под безоблачным солнцем, и там, в вышине, будто вечная музыка, совсем как весной, звенели и ликовали невидимые жаворонки.

Долго ли шли строем, всего и одолели одно поле, но мужики, ровно малые дети, обрадовались привалу, и не столько самому отдыху, сколь возможности рассыпаться, разбежаться в разные стороны. Теперь можно было сесть, развалиться на бархатной травке, покурить в охотку, и все это представлялось нежданным благом. Но все первым делом наперегонки, треща кустами, ринулись к ручью, вставали перед ним на колени, пластались на животы и пили, пили, зачерпывая пригоршнями и картузами или дотягиваясь губами до воды. Напившись, принимались плескать себе в пыльные лица, на потные загривки и, утираясь кто тем же картузом, кто — подолом рубахи, благодарно поглядывали на лейтенанта, что, сидя поодаль от всех на старой кротовой кочке, покуривал свой «Беломорканал», придерживая в поводу жеребчика.

В повозке застонал, завозился Кузьма, было видно, как он, вскидывая голову, бодал изнутри брезент.

— Чего тебе, милай? — сдернул с него плащ дедушко Селиван. — Не жарко ли?

Опутанный веревками по рукам и сапогам, со сведенными за спину посиневшими кулаками, Кузьма боком лежал на дне телеги со сложенными вдвое, подобранными под живот долгими, саранчуковыми ногами и, жмурясь от света, всем спаленным нутром не принимая дня и солнца, хватал и жавкал воздух сухими, спекшимися губами.

— Дак чего надоть? — переспросил Селиван.

— Стешку мне... Степаниду...

— Хе, когда хватился! — Дедушко Селиван отмахнул от Кузькиного носа невесть откуда налетевшую синюю муху, учуявшую дурное. — Проспал, проспал бабу-ти. Да-алече теперь твоя Степанидка.

— Сумка игде...

— Дак и сумка при ней. С отрядом баба ушла. Утрехала Степанида. Говорит, ежли мужик ружья держать неспособен, то нехай печь топит, ухватами бренчит. А я, дескать, за него, за негожего, сама на немца пойду. Да и пошла вот.

Кузьма метнул кровяным заспанным глазом, должно, не в

состоянии набрякшим умом понять, шутит ли Селиван или же бает чего похожее.

— Ладно тебе...

— А чего — ладно? Ладно-то чего? Рази это ладно, ежли баба заместо мужика оборону держать идет? Завтра, глядишь, и присягу со всеми приймет. Перед полковым знаменьем стоять будет. Дак и чего? Со Степанидой все станется. Как погрозится, так и сделает, мешкать не подумает. Твою бабу токмо штыку обучить, дак она какого хошь немца упорет. Вот, вишь, какое твое нехорошее положение.

Кузьма, налившись синюшной, перепорченной кровью, задергал плечами, силясь одолеть веревки.

— Развяжи, слышь... — потребовал он.

— Э-э, нет, братка! В этом я не волен. Не мною ты сужен, не мной и в узлы ряжен. Это уж как обчество. Его проси. А ежели охота по-маленькому, дак и так можно. Телега — не корыто, вода дырочку найдет.

— Пусти, говорю... — клокотал горлом Кузьма.

— Дак опамятовался ли? Вспомнил хоть, за что тебя? Не за то, что кого-то там ударил, а за то, сук-кин ты сын, что сраму не знаешь, в святое дело на четверях ползешь.

Кузьма молчал, сопел в чей-то мешок, подсунутый ему под голову.

— То-то же... — И, обернувшись, старик крикнул Касьяну: — Как думаешь, Тимофеич, время ли отпускать орла-сокола? Не порхнет ли куда не след?

Касьян подошел к телеге, оценивающе оглядел похмельем измятого, полуживого Кузьму и молча потянул конец веревки под его коленками.

Орел-сокол, однако, не только не вспорхнул после этого, но, попробовав было перелезть через грядку и так и не сумев приподнять себя, оброненно осел на дно телеги, проговорив лишь пришибленно:

— Попить дайте...

Касьян отцепил ведерко, притороченное к задку Селиванова возка, сходил к ручью и подал Кузьме напиться.

— Ох, гадство, — потряс тот головой и, окончательно сморясь от воды, потянув на себя дождевик, упрятался от бела света и всего сущего в нем.

Меж тем дичком глядевшие поначалу мужики, теснившиеся друг к дружке в щемящем чувстве бездомности, особенно остром на первых отходных верстах, мало-помалу начали прибиваться к лейтенанту. Рассаживаясь по извечной деревенской неназойливости в некотором отдалении, большей частью — за его спиной, чтобы не мозолить глаза своим присутствием, и поглядывая, как тот уже по второму разу закурил «беломорину», они и сами лезли за баночками и кисетами, как бы выражая тем свое молчаливое расположение.

В них самих все еще саднило, болело деревней, еще незамутненно виделись оставленные дворы и лица, стояли в ушах родные голоса, стук в последний раз захлопнутых калиток, и, не ведая, чем притушить эту неотвязную явь, невольно тянулись к сидевшему поодаль леитенанту, послеживали за каждым его движением. Неосознанно нуждаясь в его понимании и сочувствии, они, как это часто бывает в разломную минуту с глубинно русским человеком, сами проникались пониманием и сочувствием к нему — одинокому в чужих полях, среди незнакомого люда, и только ждали, чаяли минуты, чтобы протянуть руку товарищества и братства на начатой вместе дороге. И первым, бродя поблизости, делая вид, что интересуется щавелем, подошел к лейтенанту легкий на все Матюха Лобов:

— Товарищ лейтенант! Давай конька попою. Пристал на жаре конек.

Матюха безбоязненно подшагнул под лошадиную шею и, взяв коня под уздцы, сочувственно погладил горбатое переносье.

— Щас, милай, щас, — заговорил он с лошадью, осыпанный по стриженой голове конской гривой, и лейтенант, задержав взгляд на Матюхиной рассеченной губе, улыбчиво обнажавшей зубы, снял с руки повод и молча бросил его Лобову.

— Дак ты и сам помойся, — обрадовался поводу Матюха. — Сними, сними рубаху-то. Чего ж в ремнях сидеть. И ноги ополосни, побудь босый. Глянь, травка-то какая.

— Времени нет полоскаться, — отозвался тот. — Пора выступать.

— Дак ить это ж недолго. Минутное дело. А хоть сюда ведро принесем. — И, не дожидаясь ответа, кивнул мужикам: — Эй, ребята, неси сюда воды. Товарищ лейтенант умываться будет.

Сразу двое подскочили бежать за ведром, но дедушко Селиван и сам догадался, что к чему, проворно сбежал вниз и зачерпнул по самую дужку. Видя, как Давыдко перехватил у старика ведро и уже мчал с ним по пригорку, лейтенант привстал и расстегнул поясной ремень.

— Ладно, давайте, — сказал он. — И в самом деле жарковато.

Он обнажил себя до пояса, наклонился перед Давыдкой, и тут все вдруг увидели на его левой лопатке сизый напряженно стянутый рубец в добрую четверть. Занесенное было ведро повисло в воздухе, и лейтенант, не понимая, в чем дело, отчего мешкают, нетерпеливо поторопил:

— Лей, кто там...

— Дак можно ли? — оторопело спросил Давыдко. — Это чегой-то у тебя на спине?

— А-а! — засмеялся согнувшийся лейтенант.— Давай валяй.

Давыдко осторожно, тонкой струей прицелился в лейтенантову шею, боясь попасть на страшное место.

— Лей, лей, — ободрял тот. — Поливай, не бойся.

— Чем это тебя, товарищ лейтенант?

— Было дело, — гудел сквозь струи лейтенант, радостно отфыркиваясь. — Хасан это... Озеро Хасан...

— Не болит?

— Болело б, так не служил бы. Рана ведь неглубокая, по кости только чиркнуло.

— Вот это дак чиркнуло! — с уважительной опаской таращились на рану мужики. — Эко боднула костлявая! Чуть бы что — и, считай, лабарет.

— Ничего! — крякал лейтенант. — Зато мы ему тоже всыпали. Долго будет зализывать.

У кого-то в сумке нашлось и полотенце — побежали, принесли долгий самотканый рушник с красными мережками, и, утираясь им, раскрасневшись от каляного суровья, лейтенант просиял белозубо:

— Хороша водица! Спасибо, товарищи.

Мужики польщенно оживились.

— Водица тут редкая, это верно. Из мелов бежит. А ты из каких мест? Где родина-то?

— С Урала я. Тагильский.

— Так, так... Мать-отец есть? Живы ли?

— Отца давно уже нет. Белоказаки расстреляли. Чего-то там в депо сделали, их и сцапали, восемь человек. Завели в пустой вагон, там и постреляли. А вагон потом сожгли... А матушка жива. И две сестренки. Уже б должна пойти на пенсию, да вот война, теперь не знаю как...

Пока утирался, а потом надевал гимнастерку и застегивал ремни, был он в эти минуты прост и доступен свежим, умытым лицом с прилипшими ко лбу мокрыми волосами, и мужики радовались этой обыденности, до той поры таившейся под строгостью армейской фуражки.

— Товарищ лейтенант, на-ка покури нашего домашнего, — Матюха Лобов протянул свернутую газетную книжечку. Он уже сводил командирского коня к ручью, и теперь тот пасся неподалеку на нехоженом склоне.

— Да погоди ты с махоркой, — перебил дедушко Селиван. — Человеку, может, перекусить охота. А ну, несите-ка, чего у вас там.

— А и верно! — вскинулись мужики. — Что ж это мы...

— Нет, нет, — запротестовал лейтенант и достал свои часы-луковку. — Время выступать. Предписано сегодня же прибыть на сборный.

— Поешь, поешь, сынок, — настаивал дедушко Селиван. — Тебя как звать-то?

— Александр... Саша.

— Ну дак, вишь, и зван по-нашему. А по-нашему такое правило: хоть ты генерал будь, а от хлеба-соли не отказывайся. А по-

солдатски и того гожей устав: ешь без уклону, пей без поклону. Я солдатом тоже бывал, дак у нас так: где кисель, там служивый и сел, а где пирог, там и лег. За спасибо чина не прибавляют.

— Ну, отец, от тебя, видать, и ротой не отбиться! — засмеялся лейтенант.

— Была б причина со мной войну затевать, — тоже рассмеялся дедушко Селиван. — Неси самобрань, робяты! Какое время за хлебом потеряно, то вдвое в дороге нагонится. И конь, говорится, не ногами бежит, а овсом...

Тем временем Леха Махотин принес свою дорожную торбу, развязал ей хобот и принялся выкладывать припасы на разостланном рушнике — разломил смугло обжаренную курицу, высыпал пригоршню пирожков, достал свежих огурчиков, редиски. Мотнулся к своему припасу и Матюха Лобов и под одобрительный перегляд мужиков бережно, чтоб не расплескать, выставил на рушник голубенькую кружицу с белым на боку цветочком, чем и вовсе привел лейтенанта в смущение.

— Давай, товарищ лейтенант, — сказал он, почтительно отступая в сторону. — На здоровьице.

— Ну это уж вы зря... — смутился лейтенант. — Честное слово...

— Да чего там! — загомонили новобранцы. — Экое дело выпить перед едой. Выпей да закуси.

— Ну ладно, раз так. — Лейтенант поднял кружку. — За что выпью, так это за нашу победу.

— Вот это верно! — дружно одобрили мужики.

— Давай, товарищ лейтенант. Чтобы ему, Гитлеру, пусто было.

— Ни дна ему, ни покрышки.

И всем почему-то сделалось радостно, оттого что их командир выпил чарку, а теперь, присев на корточки, крепко хрустел ихним, усвятским, огурцом, тыча им в ворошок соли на листе медвежьего уха.

— Ужли не победим? — ухватился за слово Николай Зяблов, подбивая лейтенанта на больной разговор.

— Побьем, ребята, побьем, — спокойно сказал тот.

— Дак и я говорю, — подхватил дедушко Селиван. — Не все серому мясоед. Будет час, заставим и его мордой хрен ковырять.

— Правильно, отец! — захохотал лейтенант. — Это точно!

— Сколько уже замахивались на Россию, — ободренно продолжал Селиван, — а она и доси стоит. Уже тыщу годов. Эвон какое дерево вымахало за тыщу лет: шапка валится на верхушку глядеть.

— Насчет дерева это ты, отец, хорошо сказал, — кивнул лейтенант. — Нам бы еще немного заматереть, каких пяток лет, тогда ни один топор не был бы страшен.

— Это б хорошо, — поскреб под картузом Никола. — Да сучья, слышно, уже летят...

— Ничего! — сказал лейтенант. — О сучья ведь тоже топор тупится. Покамест до главного ствола дело дойдет, и рубить будет нечем. Нам, товарищи, главный ствол уберечь, а сучья потом снова отрастут. А за те, что порублены, он еще поплатится. Мы из них ему крестов наделаем.

— Что и говорить, к главному-то стволу его никак не след допускать, — сказал Никола. — Уж коли само дерево падет — конец и всем его веткам.

— Затем и идем, — баснул Афоня-кузнец, лежавший особняком под кустом конского щавеля.

— Выбьем, выбьем у него топор, товарищ лейтенант, — покряхтывая, подал голос Матюха. Кривясь от цигарки, дымившей под рассеченной губой, он взялся перематывать ослабленные на онуче завязки. — Не все-то одним нам в ус да в рыло, будет ему и мимо. Брехня! Ежели скопом навалимся, все одно передушим. Нам бы только техникой помочь, а мы сдюжаем. Я их, падлу, не пулей, дак зубами буду грызть. Я им покажу деколон.

— В каких частях служил? — поинтересовался лейтенант.

— В разных. Три года пехоты да три еще кое-где... На спецподготовке, — засмеялся Матюха. — Между прочим, тоже на Урале. Только на Северном. Выходит, вроде как земляки с то-г[illegible]

— Понятно.

— Так что топором и я обучен махать, — уточнил Матюха и, встав, потопал лаптями, попробовал, ладно ли обмотался.

Поблагодарив за еду, лейтенант достал пачку «Беломора», протянул ее в круг. Мужики, смущаясь, бережно разобрали угощенье.

— Дак а ты нашего тади дерни, — предложил Лобов. — Знаешь, как в сельпе махорка называется?

— Ну-ка, ну-ка?

— Смычка! Ты нам «Беломору», а мы тебе нашей рубленки. Вот и посмыкуемся.

— С удовольствием, землячок! — засмеялся лейтенант.

18

Вскоре объявили построение. Матюха изловил и подал посвежевшего коня лейтенанту, и тот, оглядев из седла замерший строй, скомандовал к маршу.

За ручьем начиналась чужая, не усвятская, пажить; рядами разбегались и прыгали через узкое руслице на ту сторону, за первые пределы отчей земли, своей малой родины, иные при этом норовили макнуть напоследок руку, потом, опять сомкнув-

шись, одолели зеленый склон и, выйдя на дорогу, подравняли шаг.

Касьян с дедушкой Селиваном, напоив лошадей, тронулись в объезд на жиденькую жердяную гатку.

Дорога потянулась на долгий пологий волок, сливавшийся где-то впереди с дрожливым маревом. По обе стороны топленым розоватым молоком пенилась на ветру зацветшая гречиха, и все оживились, воидя в нее, пахуче-пряную, гудевшую пчелой, неожиданно сменившую однообразие хлебов. За гречихой начались подсолнухи, уже вымахавшие в человеческий рост и местами тоже зацветшие, и было светло и как-то празднично идти среди этих ярких золотых цветов, терпко пахнувших лубом, повернутых, как один, к полуденному солнцу. И вообще, отдохнув и малость пообвыкнув в строевом ходу, шли легко, без изначального скованного напряжения, уже не вздрагивая от окрика лейтенанта, который в низко насунутой фуражке, подстегнутой под подбородком ремешком от встречного ветра, еще недавно казался в своем седле чем-то вроде ниспосланного рока, глухого ко всему и неумолимого в своей власти. Теперь все знали, что зовут его Сашкой, что, как и у всех у них, есть и у него где-то мать, что сам он в сущности неплохой, компанейский малый и что в его полевой сумке вместе со списками новобранцев лежит пара Лехиных пирожков с капустой, которые уговорили взять на тот случай, если захочется пожевать в седле. Помнилось и о том, что под его гимнастеркой на левой лопатке сизым рубцом запеклась не очень давнишняя пулевая рана, и в строю поговаривали, что не худо бы с ним, уже понюхавшим пороху, идти не до одного только призывного, а и дальше. Чтобы так вот всех, как есть, не разлучая, определили б в одну часть, а он остался бы при них командиром. И когда лейтенант время от времени поворачивался в седле, опершись рукой о круп лошади, оглядывал колонну и зычно, со звонцой кричал «подтяни-и-ись!», все уже понимали, что покрикивал он не от какой-то машинной заведенности и недоброй воли, а оттого, что, стало быть, кто-то там и на самом деле замешкался и поотстал, закуривая или отбежав до ветру.

И лишь однажды, когда взошли на самый гребешок и дальше дорога должна была покатиться долу, лейтенант рассерчал не на шутку, потому что строй вдруг без всякой причины сбился с шагу, затопал разноногим гуртом, мужики, притушая ход, заоглядывались и по колонне прошелся какой-то возбужденный ропот. Ехавший позади отряда Касьян, заговорившись с дедушкой Селиваном, едва не врезался дышлом в последние ряды.

— На-аправляющий! — гаркнул лейтенант. — Сты-ой!

Колонна приостановилась, и командир, упрятав глаза под посверкивающий козырек, поворотил коня в хвост отряда.

— В чем дело? Что за базар?

Мужики виновато отмалчивались.

Лейтенант обогнул колонну и, подвернув к повозкам, как бы пожаловался дедушке Селивану:

— Ведь только что отдохнули, покурили, черт возьми! Еще и трех верст не прошли.

— Дак вона, командир, причина-то! — Дедушко Селиван ткнул кнутовищем в обратную, уже пройденную сторону. — Туда гляди!

С увала, с самой его маковки, там, позади, за еще таким же увалом, бегуче испятнанным неспокойными хлебами, виднелась узкая, уже засиненная далью полоска усвятского посада, даже не сами избы, а только зеленая призрачность дерев, а справа, в отдалении, на фоне вымлевшего неба воздетым перстом белела, дрожала за марью затерянная в полях колоколенка. А еще была видна остомельская урема и дальний заречный лес, синевший как сон, за которым еще что-то брезжилось, какая-то твердь.

Глянул туда и Касьян и враз пристыл к телеге, охолодал защемившей душой от видения и не мог оторваться, хотя, как ни силился, как ни понуждал глаза, не разглядел ни своего двора, ни даже примерного места, где должно ему быть. Но все равно — вот оно, как ни бежали, как ни ехали. Еще и ветер, что относил в ту сторону взволнованные дымки цигарок, долетал туда за каких-нибудь три счета и вот уже кудрявил надворные ветлы, курил золой, высыпанной под откос из еще не остывших печей, трепал ребячьи волосенки и бабьи платки, что еще небось маячили кучками на осиротевших улицах...

— Чего ж не сказали? — глухо проговорил у телеги лейтенант, поглядывая на повернувшихся мужиков. — Разве я не понимаю...

— А что они тебе скажут? — Дедушко Селиван поддел кнутовищем под козырек, поправил картуз. — Вот сичас зайдут за бугор — и весь сказ... А там уж пойдут без оглядки. Холмы да горки, холмы да горки...

Лейтенант с места наддал коню, рысью обогнул смешавшуюся, молчаливую колонну и, привстав в стременах, уже сдержаннее выкрикнул:

— Ну что, ребята? Пошли, что ли? Или вернемся?

— Пошли, товарищ лейтенант! — отозвался за всех Матюха.

— Тогда — разбери-и-ись! Ши-а-го-о-ом!..

Но в остальном, исключая это маленькое недоразумение, отряд продвигался споро, не задерживаясь, минули и одно, и другое угорное поле, один и другой дол с садовыми хуторами и в третьем часу вошли в Гремячее, первое большое сельсоветское село. Следовало бы сделать передых, но решили в селе не останавливаться, не муторить народ, а идти до Верхов и уж там уединиться и перекусить без помехи.

Гремячее занимало оба склона распадка с мелкой речушкой между глядевшими друг на друга улицами. Колонна пересекла

село поперек, с горы на гору, и, пока шли ложбинкой, на виду у обоих улиц, из дворов высыпали бабы и ребятишки, молчаливыми изваяниями уставясь на проходившее ополчение, на серых, пропыленных мужиков.

— Чии, голуби, будете? — спросил какой-то трясучий белый старик, сидевший в тени, под козырьком уличной погребицы, когда колонна поднялась на левую сторону.

— Усвятские! — выкрикнули из рядов.

Старик трудно, опершись о раскосину, поднялся и снял с головы мятую безухую шапку.

— Кто еще через вас проходил, отец? — спросил Давыдко.

— Того часу никольские пробегли да хуторские, — оповестил старик.

— А ваши пошли-и?

— Дак и наши. Али не видите, пустое село. Одне галицы да галченята малые. Пошли и наши, а то как же. Полтораста душ.

— На Верхи верно ли правим?

— На Вёршки? Дак вот они, за нами и будут. — И уже вослед крикнул больным, надрывным голоском: — Ну дак придяржите ево! Не пущайте дале! Не посрамите знамё-он!

— Постоим, отец! Постоим!

— Тади легкого поля вам, легкого поля!

Старик трижды поклонился белой головой, касаясь земли снятой шапкой.

За гремячьей околицей привязалась собака — полугодовалый волчьей масти кобелек, еще плоский, большелапый, с никак не встающим на зрелый манер левым ухом. Кобелек поначалу долго глядел на уходившую колонну, потом вдруг сорвался, нагнал и, то робея и присаживаясь, то обнадежив себя какой-то догадкой, опять догонял и озабоченно продирался подступавшими к дороге овсами. Время от времени он привставал зайцем на задних лапах и проглядывал отряд с переменчивой тоской и надеждой в желтых сиротских глазах.

— Иди домой, милый, — крикнул ему Матюха. — Нету тут никого твоих.

Но кобелек не послушался и долго еще шуршал овсами, выбегал позади на дорогу и в поджарой стойке тянул носом взбитую пыль. И только когда лейтенант бросил ему пирожок, щенок, взвизгнув, шарахнулся от него, будто от камня, и постепенно отстал, запропал куда-то...

Верхи почуялись еще издали, попер долгий упорный тягун, заставивший змеиться дорогу. Поля еще цеплялись за бока — то просцо в седой завязи, будто в инее, то низкий ячменек, но вот и они изошли, и воцарилась дикая вольница, подбитая пучкастым типчаком и вершковой полынью, среди которых, красно

пятная, звездились куртинки суходольных гвоздик. Раскаленный косогор звенел кобылкой, веял знойной хмелью разомлевших солнцелюбивых трав. Пыльные спины мужиков пробила соленая мокрядь, разило терпким загустевшим потом, но они все топали по жаркой даже сквозь обувь пыли, шубно скопившейся в колеях, нетерпеливо поглядывая на хребтину, где дремал в извечном забытьи одинокий курган с обрезанной вершиной. И когда до него было совсем рукой подать, оттуда снялся и полетел, будто черная распростертая рубаха, матерый орел-курганник.

Усвятцы, наезжая в район, редко пользовались этим верховым проселком, хотя и скрадывавшим путь версты на четыре, но уморным для ездоков и лошадей, особенно в знойную пору. Чаще же ездили ключевским низом, по людным местам, прохладным и обветленным, никогда не докучавшим пылюкой. Но всегда тянуло побывать здесь, на манивших горах, хотя за делами не всякий того удосужился. И вот занесло всех разом аж на самую маковку!

— Правое плечо вперед! — скомандовал лейтенант, и отряд свернул с дороги к подножию кургана. — Переку-у-ур!

Как ни упёхались мужики за долгий переход, но и пав ничком на жесткую траву, каждый все-таки лег не как попало, а все до единого головой на восток, куда крутым овражным обрывом метров на семьдесят, а то и на все сто неожиданно обрезались Верхи. И открывалась отсюда даль неоглядная, сразу с несколькими деревеньками, нанизанными на блескучие петли Выпи-реки, с мельничным плесом и самой мельничкой, бело кипевшей игрушечным колесом, с клубившимися левадами приречных ольх и ракит, россыпью коров во влажнозеленых лугах, мерцающих озерками и болотцами, с бугорками сенных стожков и сизыми капустными бахчами — все это звалось той самой Ключевской балкой, питавшейся обильными ключами из-под Верхового уреза, было тем самым низом, по которому и проходила излюбленная дорога. А по-за балкой вновь поднималась, дыбилась холмами материковая земля, и дивно было глядеть сразу на всю эту уймищу хлебов, уходивших верст на пятнадцать вправо и влево. И еще было дивно, что над всем этим — казалось, вот оно, только дотянуться рукой — неслось по ветру невесть откуда взявшееся одинокое облако, будто белый отставший гусь-лебедь, и тень от него, пересекая долину, мимолетно темнила то светлобеленые хаты, то блестки воды, то хлебные нивы на взгорьях. А еще выше, там, где царило одно только солнце, кружил в восходящем паренье тот самый старый курганник, что неслышной тенью сорвался с дремотных верхов.

Так и не сойдя с седла, лейтенант вместе с конем остановился у самого края и долго глядел вниз с жутковатой высоты.

— Да-а... — протянул он и, обернувшись к подъехавшим телегам, изумленно спросил у дедушки Селивана: — Как же я утром этого не видел?

— Дак ты, мил человек, в ста саженях мимо и проскочил. Эвон где дорога-то!

— Пожалуй... А это что за курган?

— А он завсегда тут был. Спокон веку. Может, кто насыпал, а может, и сам по себе. На нем и стояла дозорная вежа. Вишь, макушка срезана? Для того, видать, и сровняли, чтоб вежу поставить.

— Ясно. Ну, а те откуда же шли? С какой стороны?

— Татары-то? Дак тамотка и шли, по заречью. Гляди, во-он на той стороне по хлебам пыль курится? Это и есть ихняя дорога. Муравский шлях. Туда, туда, за Остомлю, а там уж и Куликово поле — вот оно. Тамотко и шли поганые. Дак и оттуда, с Куликов, тем же путем и бежали, кто суцелел. На Дон да по-за Дон, в свои степя.

— Ребята! — вдруг подхватился Давыдко. — Дак ведь это, должно, ситнянские идут!

— Где?

— Да вон пыль!

Касьян насторожился, принялся глядеть в заречную сторону. И верно, поле клубило долгим низким облаком. Людей было не разобрать, но хорошо виделись катившие позади две, не то три подводы.

— Небось ставские, — предположил Леха Махотин. — В самый раз ставцам быть.

— Ох ты! Ставцы низом должны, им низом ближе. А это точно ситнянские. Кому ж еще?

— У меня там сродный должóн итить, — сказал Матюха. — Так и не свиделись.

— Дак и у Касьяна братан. Тоже не попрощался.

Лежа на краю обрыва, усвятцы наблюдали, как дальнее заречное ополчение медленно плелось меж телефонных столбов, и по этим столбам, забежав глазами вперед, можно было догадаться, что колонна неминуче сползет в Ключевскую балку — если не здесь, то где-то потом, за поворотом.

— А что, братцы, ежли вдарить наперехват, а? — загорелся Матюха. — Им ведь все равно за Верхами перебредать на нашу сторону. Они сюды, а мы — вот они!

— Поесть бы сперва... — напомнил Никола Зяблов.

— Ладно тебе! Токмо от стола.

— Да где ж токмо?

— Расшеперимся тут с сидорами, а они и пройдут. А встретимся — вместе и поедим. Да и пойдем заодно. Вместе куда веселей-то. Считай, в Ситном половина усвятской родни. Ну что, братцы? Как, Касьянка? Ты ж Никифора хотел повидать.

— Я что — я на телеге.

— Как командир поглядит, — вяло согласился Никола.

Доложили лейтенанту. Тот внимательно посмотрел за реку, сказал, что если это действительно ситнянские, то их должен вести его хороший приятель, тоже уралец, лейтенант Фарид Халидуллин, и что он в общем не возражает против такого маневра. Правда, некоторые были недовольны хлопотной затеей, но большинство обрадовалось повидать своих, и лейтенант снова объявил построение, добавив, что там, на перекрестке, будет объявлен большой привал, можно будет распрячь лошадей, сходить на речку искупаться.

Двинулись краем обрыва, прямо по целине, стараясь не выпускать из виду ситнянскую колонну. Тем более что трава оказалась невелика, а главное, не было осточертелой пыли. Однако вскоре, как только обогнули курган и открылся поворот Ключевского лога, выяснилось, что далеко впереди движется еще какой-то отряд, и, судя по обозу, не маленький. Возникли толки, что, мол, не те ли ситнянские. Если они, то их уже не нагнать, а стало быть, и нечего пороть горячку. Но тут же кто-то усомнился, что для Ситного — деревни в сотню дворов, отряд, пожалуй, великоват и что те, первые, скорее всего из Разметного. И порешили, что ситняки все же не те, а эти, ближние.

— А и ладно! — обрезал споры Матюха. — Раз пошли, то чего уж гадать. Шире шаг, ребята! Идти так идти!

В Селивановой повозке опять завозился Кузьма, высунулся наружу, сел, потер кулаками глаза, и Касьян слышал, как тот спросил:

— Где едем, батя?

— Далече уже, служивый. По Верхам едем.

— Ну-у? — не поверил Кузьма. — Вот это дак дали!

— Кто давал, а кто нахрапывал. Чего хоть во снях видел?

— А-а, всякую хреновину. Тот мордатый лектор приснился. Помнишь, который все брехал: попрут, попрут, на чужой тератории бить будут.

— А и попрут! — кивнул картузом дедушко Селиван, пришлепывая лошадей вожжами.

— А чего же не прут? — Кузьма сплюнул клубок вязкой слюны за телегу. — Так поперли, аж сами на тыщу верст отлетели. Подавай только ноги. То отдали, это бросили. Сколь ишо отдавать да бросать? Чего ж доси не прут?

— Ну дак ежли не поперли, — передернул плечами Селиван, — стало быть, нечем. Нечем, дак и не попрешь. Не подстрелишь — не отеребишь.

— Ага! Нечем! — усмехнулся Кузьма. — Еще и не воевали, а уже и нечем! А где ж она, та-то главная армия, про которую очкастый брехал? Где? — И Кузьма, сморщив нос, гуня-

во передразнил: — «Погодите, товарищи, главные наши силы ишо не подошли». Дак чего ж не подходят — вторая неделя пошла?

— Ты чего зевло этак-то разеваешь? Аж потроха дурные видать. Я тебе не фельдмаршал и сраженьев не проигрывал, чтоб с меня взыскивать. Ты пойди да вон на командира и пошуми. А он послушает, какой ты разумный.

— А меня стращать теперь нечего, — огрызнулся Кузьма и сумрачно уставился на лейтенанта, маячившего впереди поверх колонны. — Дальше фронта не зашлют.

— А на то я тебе так скажу. — Дедушко Селиван, обернувшись, кивнул картузом в сторону мужиков: — Вон она топает, главная-то армия! Шуряк твой Давыдко, да Матвейка Лобов, да Алексей с Афанасием... А другой больше армии нету. И ждать неоткуда...

— Чего это за армия? Капля с мокрого носу.

— Э-э, малый! — задребезжал несогласным смешком дедушко Селиван. — Снег, братка, тоже по капле тает, а половодье собирается. Нас тут капля, да глянь туды, за речку, вишь, народишко по столбам идет? Вот и другая капля. Да эвон впереди, дивись-ка, мосток переходят — третья. Да уже никольские прошли, разметнинские... Это, считай, по здешним дорогам. А и по другим путям, которые нам с тобой не видны, поди, тоже идут, а? По всей матушке-земле нашей! Вот тебе и полая вода. Вот и главная армия!

Дедушко Селиван шевельнул лошадей, морозно припискнул на них губами и вдруг, поворотившись, осведомился:

— Ты что, Кузьма Васильич, никак оклемался уже? Дак тади, может, со строем пойдешь? А то ведь этак прямо на губвахту можешь угодить.

— Погожу маленько, — неохотно признался тот. — Башка чегой-то трещит. Закурить нету?

— Закурить у Касьяна проси.

Касьян, услыхав про себя, придержал свою пару.

Разломанно кряхтя, Кузьма перевалился через край телеги и нетвердо, будто после затяжной болезни, поковылял к переднему возу.

— Дай-ка курнуть, — потер он зябко ладони.

— Ты вот что... — Касьян потянулся за табаком. — Ежли голову уже держишь, лезь-ка сюда, за меня побудешь.

— А ты чего?

— С ребятами пойду. А то ноги онемели сидеть. На, держи...

Касьян сыпнул в Кузькины дрожащие ладони жменю махры, бросил сверху свертыш газеты со спичками и, на ходу надевая пиджак, побежал догонять ополченцев.

— Давай сюда! — обрадованно крикнул Леха. — А ну, ребята, пересуньтесь, дайте Касьяну место.

Касьян пристроился с краю рядом с Махотиным, подловил шаг и затопал в общую ногу. И радостна была ему эта невольная забота о том, чтобы не сбиться, поддерживать дружный гул земли под ногами.

— А гляди-ка, братцы! — возликовал Матюха. — Обходим, обходим этих-то! Ситников да калашников. Небось напехтерили сидора. Сичас мы вас уделаем, раскоряшных! Куда вы денетесь!

Поглядывая на заречную колонну, неожиданно поворотившую от телефонных столбов на какой-то проселок и явно косившую на переправу, усвятцы, подгоняемые замыслом, какое-то время шли с молчаливой сосредоточенностью, в лад шамкая и хрустя пересохшей в верховом безводье травой. Но вот Матюха Лобов, мелькавший в третьем ряду стриженой макушкой, пересунув со спины на грудь запыленную гармонь, как-то неожиданно, никого не предупредив, взвился высоко-звонким переливчатым голоском, пробившимся сквозь обычную матюхинскую разговорную хрипотцу:

И эх, в Таган-ро-ге! Эх, в Таган-роге!

Лейтенант, державшийся левой, береговой стороны и все время поглядывавший в заречье, удивленным рывком повернулся на голос и, увидев в руках Лобова гармошку, одобрительно закивал головой, дескать, молодец, земляк, давай подбрось угольку.

И как это ни было внезапно, все же шагавшие вблизи Лобова мужики не сплошали, с ходу приняли его заманку и, пока только первыми рядами, охотно подхватили под гудевшую басами гармонь:

Да в Таган-роге приключилася беда-а-а...

Касьян, еще не успевший обвыкнуться в строю, не изловчился ухватить давно не петый мотив и пропустил первый припев, но, уже загоревшись азартом назревающей песни, ее неистовой полонящей стихией, улучив момент, жарко оглушил себя накатившимся повтором:

В Таган-роге д'приключилася беда-а-а...

А Матюха, раскачивая от плеча до плеча ушастой головой, сладко томясь от еще не выплеснутых слов, подготавливая их в себе, в яром полыме взыгравшей души даванув на басы под левую ногу, снова выкинул мужикам очередную скупую пайку:

Эх, там убили-и... эх, убили-и-и,
Там убили д'молодого каза-ка-а-а...

И мужики, будто у них не было больше никакого терпения, жадно набрасывались на брошенную им строку и тотчас, теперь уже всем строем, громово глушили и топили запевалу:

Там убили д'молодого каза-ка-а-а...

Но Матюхин голосок ловким селезнем выныривал из громогласной пучины и снова взмывал, еще больше раззадоривая певцов:

И эх, схоронили-и... эх, схоронили-и-и,
Схоронили при широкой долинé-е-е...

А тем временем над Верхами в недосягаемом одиночестве все кружил и кружил всеми забытый курганный орел, похожий на распростертую черную рубаху.

РАССКАЗЫ

КРАСНОЕ ВИНО ПОБЕДЫ

Весна сорок пятого застала нас в маленьком подмосковном городке Серпухове.

Наш эшелон, собранный из товарных теплушек, проплутав около недели по заснеженным пространствам России, наконец февральской вьюжной ночью нашел себе пристанище в серпуховском тупике. В последний раз вдоль состава пробежал морозный звон буферов, будто в поезде везли битую стеклянную посуду, эшелон замер, и стало слышно, как в дощатую стенку вагона секло сухой снежной крупой. Вслед за нетерпеливым озябшим путейским свистком сразу же началась разгрузка. Нас выносили прямо в нижнем белье, накрыв сверху одеялами, складывали в грузовики, гулко хлопавшие на ветру промерзлым брезентом, и увозили куда-то по темным ночным улицам.

После серых блиндажей, где от каждого вздрога земли сквозь накаты сыпался песок, хрустевший на зубах и в винтовочных затворах, после землисто-серого белья, которое мы, если выпадало затишье, проваривали в бочках из-под солярки, после слякотных дорог наступления и липкой хляби в непросыхающих сапогах, — после всего, что там было, эта госпитальная белизна и тишина показались нам чем-то неправдоподобным. Мы заново приучались есть из тарелок, держать в руках вилки, удивлялись забытому вкусу белого хлеба, привыкали к простыням и райской мягкости панцирных кроватей. Несмотря на раны, первое время мы испытывали какую-то разнеженную умиротворенную невесомость.

Но шли дни, мы обвыклись, и постепенно вся эта лазаретная белизна и наша недвижность начали угнетать, а под конец сделались невыносимыми. Два окна второго этажа, из которых нам, лежащим, были видны одни только макушки голых деревьев да временами белое мельтешенье снега, двенадцать белых коек и шесть белых тумбочек, белые гипсы, белые бинты, белые халаты сестер и врачей и этот белый, постоянно висевший над головой потолок, изученный до последней трещинки. Белое, белое, белое... Какое-то изнуряющее, цинготное состояние от этой белизны. И так изо дня в день: конец февраля, март, апрель...

Впрочем, гипсы, в которые мы были закованы всяк на свой манер, уже давно утратили свою белизну. Они замызгались, залоснились от долгой лежки, насквозь пропитались желто-зеленой жижей тлеющих под ними ран. От них неистребимо тянуло сладковатым духом тления, воздух в палате стоял густ и тяжек, и, чтобы хоть как-то его уснастить, мы поливали гипсы одеколоном.

Медленно заживающие раны зудели, и это было нестерпимой пыткой, не дававшей покоя ни днем, ни ночью. Вопреки строгим запретам врачей мы просверливали в гипсах дыры вокруг ран, чтобы добраться до тела карандашом или прутиком от веника. Когда же в городе зацвела черемуха и серпуховские ткачихи и школьники начали приносить в палату обрызганные росой благоухающие букеты, они не знали, что по ночам мы безжалостно раздергивали их цветы, чтобы выломать себе палочки, которые каждый запасал и тайно хранил под матрасом как драгоценный инструмент.

— Опять букет располовинили, — журила умывавшая нас по утрам старая нянька тетя Зина. — Все мои веники потрепали, а теперь за цветы взялись. Ох ты, горюшко мое!

От этих каменных панцирей нельзя было избавиться до срока, и надо было терпеть и дожидаться своего часа, своей судьбы. Двоих из двенадцати унесли еще в марте... С тех пор койки их пустовали.

В том, что на освободившиеся места не клали новеньких,

чувствовалась близость конца войны. Конечно, там, на Западе, кто-то и теперь еще падал, подкошенный пулей или осколком, страшная мясорубка крутилась на предельных оборотах, и в глубь страны по-прежнему мчались лазаретные теплушки, но в наш госпиталь раненых больше не поступало. Их не привозили к нам, наверно, потому, что здание надо было привести в порядок и к сентябрю вернуть школьникам. Мы были здесь последней волной, последним эшелоном перед ликвидацией госпиталя. И, может быть, потому это была самая томительная военная весна. Томительная именно тем, что все: и медперсонал и мы, раненые, со дня на день, с часу на час ожидали близкой победы.

После того как пал Будапешт и была взята Вена, палатное радио не выключалось даже ночью.

Было видно, что теперь все кончится без нас.

В госпиталь мы попали сразу же после январского прорыва восточнопрусских укреплений. Нас подобрали в Мазурских болотах, промозглых от сырых ветров и едких туманов близкой Балтики. То была уже земля врага. Мы прошли по ней совсем немного, по этой чужой унылой местности с зарослями чахлого вереска на песчаных холмах. Нам не встретилось даже маломальского городишка. Между тем ходили слухи, будто на нашем направлении среди этих мрачных болот Гитлер устроил свою главную ставку — подземное бетонное логово.

Это придавало особую значимость нашему наступлению и возбуждало боевой азарт. Вместе с жаждой победы росло и простое любопытство — посмотреть на страну, сумевшую заглотить чуть ли не половину России. Но для меня, как, впрочем, и для всех лежащих в нашей палате, собранных из разных полков и дивизий, это наступление закончилось неожиданно и весьма прозаически: через какую-то неделю нас уже тащили в тыл на носилках...

Оперировали меня в сосновой рощице, куда долетала канонада близкого фронта. Роща была начинена повозками и грузовиками, беспрерывно подвозившими раненых. Наспех забинтованные солдаты — обросшие, осунувшиеся, в заляпанных распутицей шинелях и гимнастерках — ожидали под соснами врачебного осмотра и перевязок. В первую очередь пропускали тяжелораненых, сложенных у медсанбата на подстилках из соснового лапника.

Под пологом просторной палатки с окнами и жестяной трубой над брезентовой крышей стояли сдвинутые в один ряд столы, накрытые клеенками. Раздетые до нижнего белья раненые лежали поперек столов с интервалом железнодорожных шпал. Это была внутренняя очередь — очередь непосредственно к хирургическому ножу. Сам же хирург — сухой, сутулый, с желтым морщинистым лицом и закатанными выше костля-

вых локтей рукавами халата — в окружении сестер орудовал за отдельным столом.

Я лежал на этом конвейере следом за каким-то солдатом, повернутым ко мне спиной. Подштанники спустили с него до колен, и мне виделся его кострец, обвязанный солдатским вафельным полотенцем, на котором с каждой минутой увеличивалось и расплывалось темное пятно.

Очередного раненого переносили на отдельный стол, лицо его накрывали толсто сложенной марлей, чем-то брызгали на нее, и по палатке расползался незнакомый запах. Стол обступали сестры, что-то там придерживали, оттягивали, прижимали, подавали шприцы и инструменты. Среди толпы сестер горбилась высокая фигура хирурга, начинали мелькать его оголенные острые локти, слышались отрывисто-резкие слова каких-то его команд, которые нельзя было разобрать за шумом примуса, непрестанно кипятившего воду. Время от времени раздавался звонкий металлический шлепок: это хирург выбрасывал что-то в цинковый тазик, пододвинутый к подножию стола. А где-то за лазаретной рощей, прорываясь сквозь ватную глухоту сосновой хвои, грохотали разрывы, и стены палатки вздрагивали туго натянутым брезентом.

Наконец хирург выпрямлялся и, как-то мученически, неприязненно, красноватыми от бессонницы глазами взглянув на остальных, дожидавшихся своей очереди, отходил в угол мыть руки. Он шлепал соском рукомойника, и я видел, как острилась его узкая спина с завязками на халате и как устало обвисали плечи.

Пока он приводил руки в порядок, одна из сестер подхватывала и уносила таз, где среди красной каши из мокрых бинтов и ваты иногда пронзительно-восково, по-куриному желтела чья-то кисть, чья-то стопа... Мы видели все это, с нами не играли в прятки, да и некогда было и не было условий, чтобы щадить нас этикой милосердия.

Обработанный солдат какие-то минуты еще оставался в одиночестве на своем столе, но вот уже сестра подходит к нему, начинает тормошить, приговаривая:

— Солдат, а солдат... Солдат, а солдат...

Она произносит это с механической однотонностью, как говорила уже сотни раз прежде и как будет скоро говорить мне, а после меня — тем, что длинной вереницей лежали за палаткой на сосновых лапах. И тем, которых еще только везли сюда, и многим другим, которые в этот час находились к западу от сосновой рощи, были еще целы и невредимы, но падут вечером или ночью, завтра или через неделю...

— Солдат, а солдат...

Оперированный не подает признаков жизни, и тогда сестра принимается шлепать ладонью по его небритым запавшим щекам, чтобы он поскорее пришел в себя и уступил место дру-

гому. Если нет тяжелого шока, солдат постепенно очухивается, начинает крутить головой, и тотчас раздается нетерпеливый приказ хирурга:

— Унести!

Раненого подхватывают на носилки и уносят, сестра ребром ладони смахивает в таз темные студенистые сгустки, оставшиеся после него на клеенке, другая сестра поливает горячей водой из голубого домашнего чайника, третья затирает тряпкой, тогда как старшая хирургическая сворачивает марлю для очередной наркозной маски.

— Следующий! — выкрикивает хирург и воздевает кверху обтертые спиртом длиннопалые ладони.

Тогда же в маленьком польском городке Млава, лежащем на пути в Данциг, нас погрузили в товарный порожняк, доставлявший к фронту то ли боеприпасы, то ли продовольствие. Состав был спешно переоборудован в санитарный поезд с тройными ярусами нар в каждом вагоне, железной печкой посередине и снарядным ящиком у захлопнутой левой двери, где хранились колотые дрова для разжижки, а также миски на тридцать человек, пакеты бинтов и кое-какие медикаменты.

Медицинская прислуга ехала где-то отдельно, вагоны между собой не сообщались, и когда поезд трогался и часами тащился от станции к станции по временным одноколейным путям, только что уложенным на живую нитку вместо взорванных, мы, уже одетые в гипсовые вериги, оставались в теплушках одни, как говорят теперь — на полном самообслуживании. Еду нам приносили на остановках, и те, кто мог передвигаться, начинали делить похлебку и кашу. Они же поочередно топили печку, поили лежачих и подавали на нары консервную жестянку, служившую заместо лазаретной утки.

В Россию въехали со стороны Орши, и хотя в узкие продолговатые оконца могли смотреть только те, кому достались верхние нары, мы, нижние и средние, и без того догадывались, что едем по России: исчезла едкая сырость Балтики, в щелястый пол начало подбивать сухим снежком, морозно, остро пахло близким зимним лесом, а на безвестных станциях вдоль эшелона хрустели торопливые шаги и было щемяще-радостно узнавание родной стороны по бабьим и детским голосам, по их просительным выкрикам: «Картошка! Картошка! Кому вареной картошки?», «Есть горячие шти! Шти горячие!», «Покурим, покурим!» — и, пытаясь пошутить, весело повести торговлю, должно быть, вдовая молодуха прибавляла нараспев: «Самосадик я садила, сама вышла продава-а-ть...»

Но все это было еще в январе.

Теперь же шла весна, и мы находились в глубоком тылу, вдалеке от пекла войны.

— Интересно, где теперь наши? — спрашивал, ни к кому не обращаясь, лежавший в дальнем углу Саша Селиванов, смуг-

лый волгарь с татарской раскосиной. В голосе его чувствовалась тоска и зависть.

Войска восточнопрусского направления шли уже где-то по полям Померании, и мы, вслушиваясь в сводки Информбюро, пытались напасть на след своих подразделений. Но по радио не назывались номера дивизий и полков, все они были энскими частями, и никто не знал, где теперь топают ребята, фронтовые дружки-товарищи. Иногда в палате разгорался спор о том, как считать: повезло ли нам, что хотя и такой ценой, но мы уже както определились, или не повезло...

— На войне как в шахматах, — сказал Саша. — Е-два — е-четыре, бац! — и нету пешки. Валяйся теперь за доской без надобности.

Сашина толсто загипсованная нога торчала над щитком кровати наподобие пушки, за что Сашу в палате прозвали Самоходкой. К ноге с помощью кронштейна и блока был подвязан мешочек с песком, отчего Саша вынужден был все время лежать на спине, а если и садился, то в неудобной позе, с высоко задранной ногой.

— Теперь мат будут ставить без нас, — задумчиво продолжал он.

— Нешто не навоевался? — басил мой правый сосед Бородухов.

— Да как-то ни то ни се... Шел-шел и никуда не дошел... Охота посмотреть, как Берлин будут колошматить.

— Зато дома наверняка будешь. А то мог бы еще и два аршина схлопотать... Под самый конец.

Бородухов заметно напирал на «о», отчего речь его звучала весомо и основательно. Был он из мезенских мужиков-лесовиков, уже в летах, кряжист и матер телом, под которым тугая панцирная сетка провисала, как веревочный гамак. Минные осколки угодили ему в тазовую кость, но лежал он легко, ни разу не закряхтев, не поморщившись. С начала войны это четвертое его ранение, и потому, должно быть, Бородухов отлеживал свой очередной лазарет как-то по-домашнему, с несуетной обстоятельностью, словно пребывал в доме отдыха по профсоюзной путевке.

Я слушал разговоры в палате, потихоньку температурил, задремывал, снова открывал глаза и подолгу глядел в весеннее небо. Мой нагрудный гипсовый жилет походил на рачью скорлупу с одной клешней. Под скорлупой тупо мозжила раздробленная лопатка, внутри клешни безвольно пролегала плеть правой руки, перебитой в предплечье и заклиненной в локтевом суставе. Я все еще не мог привыкнуть к моему новому состоянию, к тому, что в меня тоже вонзилось железо, что-то там разворочало, перебило, нарушило и что я мог быть убит этими слепыми и равнодушными кусками металла, сваренного в крупповских печах, может быть, еще в то время, когда я бегал в коротких штаниш-

ках и отдавал свои медяки в школьную кассу МОПРа. Неотвратимая, исподволь обусловленная связь обстоятельств... От ран моих попахивало собственным трупным духом, и это жестоко и неумолимо убеждало меня в моей обыкновенности, серийности, в том, что я тоже смертен, хотя собственную смерть понять и допустить по-прежнему отказывался. Сам факт моего ранения я пытался приспособить к моей наивной теории бессмертия: ведь я только ранен, а не убит! А раны — это всего лишь испытание. Мне шел тогда двадцать первый, и я, вернее не я, а что-то помимо меня, тот неуправляемый эгоцентризм, столь необходимый всему живому в пору расцвета, не допускал понимания, что я тоже могу превратиться в нечто непостижимое, доступное червю и мухе. Пули врага долгое время облетали меня, и я думал, верил, что это так и должно быть. За несколько минут до того, как меня изрешетило осколками, мы прямой наводкой расстреливали выскочивших из горящего танка троих немцев. В своих черных коротеньких френчах похожие на тараканов, немцы, быстро перебирая руками и ногами, карабкались на четвереньках по крутому склону приозерной дюны. Песок осыпался, они беспомощно съезжали вниз и начинали снова карабкаться в своем насекомьем безумии. Мы били по ним болванками с трехсот метров, и снаряды без следа исчезали в толще песка. В общем-то для удиравших немцев это была не слишком опасная пальба, хотя страху нагоняла изрядно, и одно это доставляло нам мстительное удовольствие, меж тем как проще было срезать их автоматной очередью. Вгорячах мы отчаянно мазали, беззлобно переругивались и, упиваясь паническим бегством врага, хохотали у орудия. Откуда-то взявшийся на гребне дюны «фердинанд» первым же выстрелом сшиб нашу пушку. Он разделал нас каким-то городошным ударом, выметя из огневой позиции весь наш расчет. Мне кажется, что в момент, когда снаряд разорвался под колесами орудия, во мне еще ликовало чувство торжества, а быть может, в это самое мгновение я даже хохотал над удиравшими танкистами и непроизвольно закусил свой смех судорожно сжавшимися челюстями. Видно, в мире все построено на таких вот непредвиденных подножках судьбы.

— А ты не балуй на войне, — резонил по этому поводу Бородухов, когда я рассказал, как попал в госпиталь. — Баловство — оно, парень, не дело.

Слева от меня лежал солдат Копёшкин. У Копёшкина перебиты обе руки, повреждены шейные позвонки, имелись и еще какие-то увечья. Его замуровали в сплошной нагрудный гипс, а голову прибинтовали к лубку, подведенному под затылок. Копёшкин лежал только навзничь, и обе его руки, согнутые в локтях навстречу друг другу, торчали над грудью, тоже загипсованные до самых пальцев. Эта конструкция со всеми ее подпорками и расчалками на обиходном госпитальном языке именовалась «самолетом». Копёшкин, как нам удалось у него дознаться,

числился в обозе, справляя и на войне свою нехитрую крестьянскую работу: запрягал, распрягал, кормил-поил обозных лошадей, летом, если позволяли фронтовые условия, гонял их в ночное, чинил сбрую, возил за батальоном всякую солдатскую поклажу: мешки с сухарями, концентраты, каптерское имущество, патронные цинки.

— Медалей много навоевал? — интересовался Самоходка.

— Дак какие медали... — слабым сдавленным голосом отзывался из своего склепа Копёшкин. — За езду рази дают...

— Ты, поди, и немца-то до дела не видел?

— Как не видел... За четыре-то года... Повида-а-ал.

— Стрелять-то хоть доводилось?

— Дак и стрелял... А то как же... В окруженье однова попали... Вот как насел немец-то, вот как обложил... дак и стрелял, куда денешься.

— Убил кого?

— А шут его разберет... Нешто там поймешь... Темень, пальба отовсюдова.

— Небось перепугался?

— Дак и страшно... А то как же...

— Это где ж тебя так разделало?

— Заблудился с обозом. Я говорю — туда надо ехать, а старшой — не туда... Поехали за старшим... Да и прямо на ихнюю батарею... Куда колеса, куда что... Обоих лошадей моих прибило. От самого Сталинграда берег: и бомбили, и чего только не было... А тут вот и получилось нескладно...

В последние дни Копёшкину стало худо. Говорил он все реже, да и то безголосо, одними только губами, и надо было напрягаться, чтобы что-то разобрать в его невнятном шепоте. Несколько раз ему вливали свежую кровь, но все равно что-то ломало его, жгло под гипсовым скафандром, он и вовсе усох лицом, резко проступили заросшие ржавой щетиной скулы, сбрить которые мешали бинты. Иной раз было трудно сказать, жив ли он еще в своей скорлупе или уже затих навечно. Лишь когда дежурная сестра Таня подсаживалась к нему и начинала кормить с ложки, было видно, что в нем еще теплится какая-то живинка.

— Ты давай ешь, — наставлял его Бородухов. — Перемогайся, парень. Вон скоро и война кончится. Пошто уж теперь зазря гибнуть-то.

Копёшкин, будто внемля совету, чуть приоткрывал сухие губы, но зубов не разнимал, крепко держал ими свою боль, и сестра цедила с ложки супную жижу сквозь желтые прокуренные резцы.

— Ему бы клюквы надавить, — говорил Бородухов, поглядывая на терпеливо сидевшую возле Копёшкина сестру с тарелкой на коленях. — Дак где ж ее взять. Нежели посылку из дому затребовать? У нас ее сколько хошь. Вот как добро жар утушает, клюква-то.

Как-то раз на имя Копёшкина пришло письмо — голубенький косячок из тетрадочной обертки. Сестра поднесла конверт к его глазам, показала адрес.

— Из дому? — спросил Бородухов.

Подернутые температурным нагаром губы Копёшкина в ответ разошлись в тихой медленной улыбке.

— Вот и хорошо, вот и ладно. Пацаны-то есть?

Копёшкин с трудом пригнул два непослушных желто-сизых пальца с приставшими крупинками гипса на волосках, показывая остальные три.

— Трое, выходит? Тогда держись, держись, парень. Теперь домой недалеко.

Сестра Таня предложила прочитать ему письмо вслух, но он беспокойно шевельнул кистью.

— Сам хочет, сам, — догадался Самоходка.

— Ежели может, дак пусть сам, — сказал Бородухов. — Своими-то глазами лучше.

Косячок развернули и вставили ему в руки.

Весь остаток дня листок проторчал в недвижных руках Копёшкина, будто вложенный в станок. С ним он и спал ночью. А может быть, и не спал... Лишь на следующее утро попросил перевернуть другой стороной и долго разглядывал обратный адрес, где крупными неловкими буквами, надписанными послюнявленным чернильным карандашом, было выведено: «Пензенская область, Ломовской район, деревня Сухой Житень».

Перед маем из нашей палаты ушли сразу трое. Им выдали новенькие костыли, довольствие на дорогу и отправили по домам. Это тоже означало конец войне. Раньше их направили бы в так называемый выздоравливающий батальон на какие-нибудь работы: пилить дрова, сапожничать, заготавливать в колхозах фураж с тем, чтобы потом, еще раз пропустив через жесткое сито медицинской комиссии, выкроить из этих хромоногих и косоруких одного-другого лишнего солдата для фронтовых тылов. Но теперь такие там были не нужны.

Те, кто остался, кто мог переползать по палате, перебрались на опустевшие койки у окон. Приоконные места пользовались привилегией: оттуда можно хотя бы смотреть на улицу. Эти койки обычно захватывали выздоравливающие.

Ушел к окну сапер Михай, родом из-под загадочного бессарабского городка Флаешты. Я представлял себе молдаван непременно черноволосыми, поджарыми и проворными, а это был молчаливо-медлительный увалень с широченной спиной и с детским выражением округлого лица, на котором примечательны и удивительно ясные, какие-то по-утреннему свежие, чистые, ко всему доверчивые голубые глаза и маленький нос пипочкой. К тому же Михай, даже будучи коротко остриженным под машинку, был золотисто-рыж, будто облитый медом. Этот большой тихий тридцатилетний ребенок вызывал у нас молчаливое сострадание. Он

единственный в палате не носил гипсов: обе его руки были ампутированы выше локтей, и пустые рукава исподней рубахи ему подвязывали узлами.

Тетя Зина вспоминала, как она однажды, еще зимой, убирая в туалете, застала там беспомощно стоявшего Михая.

— Гляжу, — рассказывала нянька, — а у него слезы по щекам. До того, стало быть, расстроился. Ты что ж это, сынок, стоишь, говорю я ему, давай, милай, помогну. Так-таки не дал пуговицу отстегнуть, застеснялся... Все, бывало, стоит ждет, пока какой-нибудь раненый заглянет.

Мы и сами видели, как тяжело переживал Михай утрату рук. Часами лежал он, уткнувшись лицом в подушку, иногда беззвучно трясясь широкой спиной. Но потом успокоился. Случалось даже, что, сидя у окна, он тихо напевал что-то на своем языке, раскачивая могучее тело в такт песне. И все глядел куда-то поверх домов, будто высматривал за горизонтом далекую Молдову.

В один из вечеров, когда Михай вот так же сидел на подоконнике и его огненная голова полыхала от закатного солнца, Копёшкин зашевелил пальцами, прося о чем-то.

— Чего ему? — поднял голову Бородухов.

Мы прислушались к слабому голосу Копёшкина.

— Спрашивает у Михая, что видно за окном, — разобрал я, поскольку моя койка стояла ближе всех к его кровати.

— Солнце вижу... Поле вижу... — не оборачиваясь, ответил Михай.

— Далеко? — спрашивает, — переводил я шепот Копёшкина.

— Поле? А там... За рекой.

— Какое оно? — говорит. — Что посеяно?

— Зеленое. Хлеб будет.

Копёшкин вздохнул, закрыл глаза и больше не спрашивал. На какое-то время в палате наступило молчание. Даже по одному только небу, которое виднелось нам, лежащим у дальней стены, очистившемуся, синему, высокому, чувствовалось, как там теперь привольно.

— А на улице что? — помолчав, спросил Саша Самоходка.

— Дома, люди...

— Девчата ходят?

— Ходят.

— Красивые? — допытывался Самоходка.

Михай промолчал. Голова его монотонно качалась в раме окна.

— Тебе чего, трудно сказать? Красивые девки-то?

— А! — Михай досадливо отмахнулся узлом рукава.

— Ему теперь не до девок, — сказал Бородухов.

— Эх, братья-славяне! — с горькой веселостью воскликнул Самоходка. — Мне бы девчоночку! Дошкандыбаю до своей

матушки-Волги — такие страдания разведу, елки-шишки посыпятся!

Но шутить у нас было некому. Двое наших шутников, двое счастливчиков — Саенко и Бугаёв, — почти не обитали в палате. В отличие от нас, белокальсонников, они щеголяли в полосатых госпитальных халатах, которые позволяли им разгуливать по двору. Чуть только дождавшись обхода, они рассовывали по карманам курево, спички, домино и, выставив вперед по гипсовому сапогу — Саенко правую ногу, Бугаёв левую, — упрыгивали из палаты. Остальные поглядывали на них с завистью.

Возвращались они только к обеду. От них вкусно, опьяняюще пахло солнцем, ветреной свежестью воли, а иногда и винцом. Оба уже успели загореть, согнать с лица палатную желтизну.

А за окном было действительно невообразимо хорошо. Уже курились зеленым дымком верхушки госпитальных тополей, и когда Саенко, уходя, открывал для нас окно, которое в общем-то открывать не разрешалось, мы пьянели от пряной тополевой горечи ворвавшегося воздуха. А тут еще повадился под окно зяблик. Каждый вечер на закате он садился на самую последнюю ветку, выше которой уже ничего не было, и начинал выворачивать нам души своей развеселой цыганистой трелью, заставляя надолго всех присмиреть и задуматься.

Сестра Таня, приходившая в шестом часу ставить термометры, в строгом негодовании первым делом шла к окну, чтобы захлопнуть створки, но Михай вставал в проходе между коек и преграждал ей дорогу:

— Нэ надо... Что тебе стоит?

— Не положено. Кто-нибудь схватит пневмонию. Разве вам мало форточки?

— А! — морщился молдаванин. — Ты послуша́й, послуша́й... Птица поет.

Михай культей обнимал Таню за плечи и подводил к подоконнику.

— Слышишь, как поет? А ты говоришь — форто́чка!

Таня молча слушала и не снимала с плеча Михаеву обрубленную руку.

Рухнул, капитулировал наконец и сам Берлин! Но этому как-то даже не верилось.

Мы жадно разглядывали газетные фотографии, на которых были отсняты бои на улицах фашистской столицы. Мрачные руины, разверстые утробы подвалов, толпы оборванных, чумазых, перепуганных гитлеровцев с задранными руками, белые флаги и простыни на балконах и в окнах домов... Но все-таки не верилось, что это и есть конец.

И действительно, война все еще продолжалась и третьего мая, и пятого, и седьмого... Сколько же еще?! Это ежеминутное ожидание конца взвинчивало всех до крайности. Даже раны

в последние дни почему-то особенно донимали, будто на изломе погоды.

От нечего делать я учился малевать левой рукой, рисовал всяких зверюшек, но все во мне было настороженно — и слух и нервы. Саенко и Бугаёв отсиживались в палате, деловито и скучно шуршали газетами. Бородухов, наладив иглу, принялся чинить распоровшийся бумажник. Саша Самоходка тоже молчал, курил пайковый «Дюбек», пускал дым себе под простыню, чтобы не заметила дежурная сестра. Валялся на койке Михай, разбросав по подушке культи, разглядывал потолок. На каждый скрип двери все настороженно поворачивали головы. Мы ждали.

Так прошел восьмой день мая и томительно-тихий вечер.

А ночью, отчего-то вдруг пробудившись, я увидел, как в лунных столбах света, цепляясь за спинки кроватей, промелькнул в исподнем белье Саенко, подсел к Бородухову.

— Спишь?

— Да нет...

— Кажется, Дед приехал.

— Похоже — он.

— Чего бы ему ночью...

По госпитальному коридору хрустко хрумкали сапоги. В гулкой коридорной пустоте все отчетливей слышался сдержанный голос начальника госпиталя полковника Туранцева, или Деда, как называли его за узкую ассирийскую лопаточку бороды. Туранцева все побаивались, но и уважали: был он строг и даже суров, но считался хорошим хирургом и в тяжелых операциях нередко сам брался за скальпель. Как-то раз в четвертой палате один кавалерийский старшина, носивший Золотую Звезду, благодаря чему получавший всяческие поблажки: лежал в отдельной палате, не позволял стричь вихрастый казачий чуб и прочее, — поднял шум из-за того, что ему досталась заштопанная пижама. Он накричал на кастеляншу, скомкал белье и швырнул ей в лицо. Мы в общем-то догадывались, почему этот казак поднял тарарам: донец похаживал в общежитие к ткачихам, а потому не хотел появляться перед серпуховскими девчатами в заплатанной пижаме. Кастелянша расплакалась, выбежала в коридор и в самый раз наскочила на проходившего мимо Туранцева. Дед, выслушав, в чем дело, повернул в палату. Кастелянша потом рассказывала, как он отбрил кавалериста: «Чтобы носить эту Звезду, сказал он ему, одной богатырской груди недостаточно. Надо лечиться от хамства, пока еще не поздно. Война скоро кончится, и вам придется жить среди людей. Попрошу запомнить это». Он вышел, приказав, однако, выдать старшине новую пижамную пару.

И вот этот самый Дед шел по ночному госпитальному коридору. Мы слышали, как он вполголоса разговаривал со своим заместителем по хозяйственной части Звонарчуком. Его жесткий сухой бас, казалось, просверливал стены:

— ...Выдать все чистое — постель, белье.

— Мы ж тильки змэнилы.

— Все равно сменить, сменить.

— Слухаюсь, Анатоль Сергеич.

— Заколите кабана. Сделайте к обеду что-нибудь поинтереснее. Не жмитесь, не жалейте продуктов.

— Та я ж, Анатоль Сергеич, зо всий душою. Всэ, що трэба...

— Потом вот что... Хорошо бы к обеду вина. Как думаете?

— Цэ можно. У мэни рэктификату йе трохы.

— Нет, спирт не то. Крепковато. Да и буднично как-то... День! День-то какой, голубчик вы мой!

— Та ж яснэ дило...

Шаги и голоса отдалились.

Бу-бу-бу-бу...

Минуту-другую мы прислушивались к невнятному разговору. Потом все стихло. Но мы все еще оцепенело прислушивались к самой тишине. В ординаторской тягуче, будто в раздумье, часы отсчитали три удара. Три часа ночи... Я вдруг остро ощутил, что госпитальные часы отбили какое-то иное, новое время... Что-то враз обожгло меня изнутри, гулкими толчками забухала в подушку напрягшаяся жила на моем виске.

Внезапно Саенко вскинул руки, потряс в пучке лунного света синими от татуировки кулаками.

— Все! Конец! Конец, ребята! — завопил он. — Это, братцы, конец! — И, не находя больше слов, круто, яростно, счастливо выматерился на всю палату.

Михай свесил ноги с кровати, пытаясь прийти в себя, как об сук, потерся глазом о правый обрубок руки.

— Михай, победа! — ликовал Саенко.

Спрыгнул с койки Бугаёв, схватил подушку, запустил ею в угол, где спал Саша Самоходка. Саша заворочался и забормотал что-то, отвернул голову к стене.

— Сашка, проснись!

Бугаёв запрыгал к Сашкиной койке и сдернул с него одеяло. Очнувшийся Самоходка успел сцапать Бугаёва за рубаху, повалил к себе на постель. Бугаёв, тиская Самоходку, хохотал и приговаривал:

— Дубина ты бесчувственная... Победа, а ты дрыхнешь... Ты мне руки не заламывай. Это уж дудки! Не на того нарвался... Мы, брат, полковая разведка. Не таких вязали, понял?

— Это у меня... нога привязана... — сопел Самоходка. — Я бы тебе... перо вставил, куда надо...

— Бросьте вы, дьяволы, — окликнул Бородухов. — Гипсы поломаете.

— А, хрен с ними! — тряхнул головой Саенко. Он дурашливо заплясал в проходе между койками, нарочно притопывая гипсовой ногой-колотушкой по паркету:

Эх, милка моя,
Юбка лыковая!

Бугаёв, бросив Самоходку, принялся подыгрывать, тряся, будто бубнами, шахматной доской с громыхающими внутри фигурами.

У меня теперь нога
Тоже липовая...

За окном в светлой лунной ночи сочно расцвела малиновая ракета, переспело рассыпалась гроздьями. С ней скрестилась зеленая. Где-то резко рыкнула автоматная очередь. Потом слаженно забасили гудки: должно быть, трубили буксиры на недалекой Оке.

— Братцы! — Саенко застучал кулаком в стену соседней палаты. — Эй, ребята! Слышите!

Там тоже не спали и в ответ забухали чем-то глухим и тяжелым, скорее всего резиновым набалдашником костыля.

Прибежала сестра Таня, щелкнула на стене выключателем.

— Это что еще такое? Сейчас же по местам! — Но губы ее никак не складывались в обычную строгость. Наша милая, терпеливая, измученная бессонницами сестренка! Тоненькая, чуть ли не дважды обернутая полами халата, перехваченная пояском, она все еще держала руку на выключателе, вглядываясь, что мы натворили. — Куда это годится, все перевернули вверх дном. Взрослые люди, а как дети... Бугаёв! Поднимите подушку. Саенко! Сейчас же ложиться! Здесь Анатолий Сергеевич, зайдет — посмотрит.

Таня подсела к Копёшкину и озабоченно потрогала его пальцы.

— Спите, спите, Копёшкин. Я вам сейчас атропинчик сделаю. И всем немедленно спать!

Но никто, казалось, не в силах был утихомирить пчелино загудевшие этажи. Где-то кричали, топали ногами, выстукивали морзянку на батарее. Анатолий Сергеевич не вмешивался: наверно, понимал, что сегодня и он был не властен.

Меж тем за окном все чаще, все гуще взлетали в небо пестрые, ликующие ракеты, и от них по стенам и лицам ходили цветные всполохи и причудливые тени деревьев.

Город тоже не спал.

Часу в пятом под хлопки ракет во дворе пронзительно заверещал и сразу же умолк госпитальный поросенок...

Едва только дождались рассвета, все, кто был способен хоть как-то передвигаться, кто сумел раздобыть более или менее нестыдную одежку — пижамные штаны или какой-нибудь халатишко, а иные и просто в одном исподнем белье — повалили на улицу. Саенко и Бугаёв, распахнув для нас оба окна, тоже поскакали из палаты. Коридор гудел от стука и скрипа костылей. Нам было слышно, как госпитальный садик наполнялся

бурливым гомоном людей, высыпавших из соседних домов и переулков.

— Что там, Михай?

— Аяй-яй... — качал головой молдаванин.

— Что?

— Цветы несут... Обнимаются, вижу... Целуются, вижу...

Люди не могли наедине, в своих домах переживать эту ошеломляющую радость и потому, должно быть, устремились сюда, к госпиталю, к тем, кто имел отношение к войне и победе. Кто-то снизу заметил высунувшегося Михая, послышался девичий возглас «держите!», и в квадрате окна мелькнул подброшенный букет. Михай, позабыв, что у него нет рук, протянул к цветам куцые предплечья, но не достал и лишь взмахнул в воздухе пустыми рукавами.

— Да миленькие ж вы мои-и-и! — навзрыд запричитала какая-то женщина, увидевшая беспомощного Михая. — Ох да страдальцы горемычныи-и! Сколько кровушки вашей пролита-а-а...

— Мам, не надо... — долетел взволнованно-тревожный детский голос.

— Ой да сиротинушки вы мои беспонятны-и-и! — продолжала вскрикивать женщина. — Дак как же я теперь с вами буду! Что наделала война распроклятая, что натворила! Нету нашего родимова-а-а...

— Не плачь, мам... Мамочка!

— Брось, Насть. Глядишь, еще объявится, — уговаривал старческий мужской голос. — Мало ли что...

— Ой да не вернется ж он теперь во веки вечныи-и-и...

И вдруг грянул неизвестно откуда взявшийся оркестр:

Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой...

Музыка звучала торжественно и сурово. Ухавший барабан будто отсчитывал чью-то тяжелую поступь.

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна...

Но вот сквозь четкий выговор труб пробились отдельные людские голоса, потом мелодию подхватили другие, сначала неуверенно и нестройно, но постепенно приладились, и, будто обрадовавшись, что песня настроилась, пошла, запели дружно, мощно, истово, выплескивая еще оставшиеся запасы святой ярости и гнева. Высокий женский голос где-то на грани крика и плача, как острие, пронизывал хор:

Идет война народна-ая-я...

От этой песни всегда что-то закипало в груди, а сейчас, когда нервы у всех были на пределе, она хватала за горло, и я

видел, как стоявший перед окном Михай судорожно двигал челюстями и вытирал рукавом глаза. Саша Самоходка первый не выдержал. Он запел, ударяя кулаком по щитку кровати, сотрясая и койку и самого себя. Запел, раскачиваясь туловищем, молдаванин. Небритым кадыком задвигал Бородухов. Вслед за нами песню подхватили в соседней палате, потом наверху, на третьем этаже. Это была песня-гимн, песня-клятва. Мы понимали, что прощаемся с ней — отслужившей, демобилизованной, уходящей в запас.

Оркестр смолк, и сразу же без роздыха, лихо, весело трубы ударили «яблочко». Дробно застучали каблуки.

Эх, Гитлер-фашист,
Куда топаешь?
До Москвы не дойдешь —
Пулю слопаешь...

Частушка была явно устаревшая, времен обороны Москвы, но в это утро она звучала особенно злободневно, как исполнившееся народное пророчество.

И уже совсем разудало, с бедовым бабьим ойканьем, с прихлопыванием в ладоши:

Я по карточкам жила
Четыре годочка, —
Ненаглядного ждала
Своего дружочка!
Э-ой-ой-ой, йи-и-и-их...

Между тем начался митинг. Было слышно, как что-то выкрикивал наш замполит. Голос его, и без того не шибко речистый, простудно-сиплый, теперь дрожал и поминутно рвался: видно, замполит и сам порядочно волновался. Когда он неожиданно замолкал, мучительно подбирая нужные слова, неловкую паузу заполняли дружеские всплески аплодисментов. Да и не особенно было важно, что он сейчас говорил.

Часу в девятом в нашу дверь несмело постучали.

— Давай, кто там?! — отозвался Саша Самоходка.

— Разрешите?

В палату вошел ветхий старичок с фанерным баулом и каким-то зачехленным предметом под мышкой. На старичке поверх черного сюртука был наброшен госпитальный халат, волочившийся по полу.

— С праздником вас, товарищи воины! — Старичок снял суконную зимнюю кепку, показал в поклоне восковую плешь. — Кто желает иметь фотографию в День Победы? Есть желающие?

— Какие тебе, батя, фотографии, — сказал Саша Самоходка. — На нас одни подштанники.

— Это ничего, друзья мои. Уверяю вас... Доверьтесь старому мастеру.

Старичок присел перед баулом на корточки, извлек новую шерстяную гимнастерку, встряхнул ею, как фокусник, перекинул

через плечо, после чего достал черную кубанку с золоченым перекрестием по красному верху.

— Это все в наших руках. Пара пустяков... Итак, кто, друзья мои, желает первым? — Старичок оглядел палату поверх жестяных очков, низко сидевших на сухом хрящеватом носу. — Позвольте начать с вас, молодой человек.

Старичок подошел к Михаю и проворно, будто на малое дитя, натянул на безрукого молдаванина гимнастерку.

— Все будет в лучшем виде, — приговаривал фотограф, застегивая на растерявшемся Михае сверкающие пуговицы. — Никто ничего не заметит, даю вам мое честное слово. Теперь извольте кубаночку... Прекрасно! Можете удостовериться. — Старичок достал из внутреннего кармана сюртука овальное зеркальце с алюминиевой ручкой и дал Михаю посмотреть на себя. — Герой, не правда ли? Позвольте узнать, какого будете чину?

— Как — чину? — не понял Михай.

— Сержант? Старшина?

— Нэ-э... — замотал головой Михай.

— Он у нас рядовой, — подсказал Саша.

— Это ничего... Если правильно рассудить — дело не в чине.

Старичок порылся в бауле, откопал там новенькие, с чистым полем пехотные погоны и, привстав на цыпочки, пришпилил их к широким плечам Михая.

— Желаете с орденами?

— У него при себе нету, — ответил за Михая Самоходка. — Сданы на хранение.

— Это ничего. У меня найдутся. Какие прикажете?

— Не надо... — покраснел Михай. — Чужих не надо.

— Какая разница? Если у вас есть свои, то — какая разница? — приговаривал старичок, нацеливаясь в Михая деревянным аппаратом на треноге. — Я вам могу подобрать точно такие же.

— Нет, не хочу.

— Скромность тоже украшает... Так... Одну секундочку... Смотреть прошу сюда... Смотреть героем! Не так хмуро, не так хмуро. Ах, какой день! Какой день!

После Михая фотограф прямо в койке обмундировал в ту же гимнастерку Сашу Самоходку. Саша, хохоча, пожелал сняться с орденами.

— «Отечественная», папаша, найдется? — спросил он, подмигивая Бородухову.

— Пожалуйста, пожалуйста.

— И Славу повесь.

— Можно и Славу. Можно и полного кавалера, — нимало не смутившись, предложил старичок, видимо, поняв, что Саша все обращает в шутку.

— А ты, папаша, в курсе всех регалий! Тогда валяй полного! Дома увидят — ахнут. Только не пойму, — изумленно хохотал

Самоходка, — как же меня с такой ногой? Койка будет видна.

— Все сделаем честь по форме. Была бы голова на плечах — будет и фотография. Так я говорю? — тоже шутил старичок, морщась в улыбке. — Зачем нам кровать? Кровать солдату не нужна. Все будет как в боевой обстановке.

Фотограф выудил из баульчика полотнище с намалеванным горящим немецким танком.

— Подойдет? Если хотите, имеется и самолет.

— Давай танк, папаша! — покатывался со смеху Самоходка. — А гранату не дашь? Противотанковую?

— Этого не держим, — улыбнулся старичок.

На карточке должно было получиться так, будто Саша находился не на госпитальной койке в нижнем белье, а на поле сражения. Он якобы только что разделался с немецким «тигром» и теперь, сдвинув набекрень кубанку, посмеивался и устраивал перекур.

— Ну и дает старикан! — реготал Самоходка.

— В каждом деле, молодой человек, имеется свое искусство.

— Понимаю: не обманешь — не проживешь, так, что ли?

— Это вы напрасно! К вашему сведению, я даже генералов снимал и имел благодарности.

— Тоже «в боевой обстановке»?

— Веселый вы человек! — жиденько засмеялся старичок и погрозил Самоходке коричневым от проявителя пальцем.

На меня гимнастерка не налезла: помешала загипсованная оттопыренная рука.

— Хотите манишку? — вышел из положения старичок, который, видимо, уже давно специализировался на съемках калек и предусмотрел все возможные варианты увечья. — Не беспокойтесь, я уже таких, как вы, фотографировал. Уверяю вас: все будет хорошо.

Но манишки, а попросту говоря, нагрудника с пуговицами, я устыдился и не стал сниматься. Отказался и Бородухов, проворчавший сердито:

— Обойдусь. Скоро сам домой приеду.

— Тогда давайте вы. — Старичок цепким взглядом окинул Копёшкина, должно быть прикидывая, какую можно к нему применить декорацию и бутафорский реквизит, чтобы и этому недвижному солдату придать бравый вид.

— К нему, дед, не лезь, — сказал строго Бородухов.

— Но, может, он желает?

— Ничего он не желает... Не видишь, что ли?

— Понимаю, понимаю, — старичок приложил палец к губам и на цыпочках отошел от койки. — Хотя можно было и его... Что-нибудь придумали б... У меня, знаете, были очень трудные случаи...

— Давай, давай...

— Тогда счастливо выздоравливать. Фотографии только через десять дней. Много другой работы. Тула... Владимир... Это все моя зона. Что поделаешь... Теперь нету хороших мастеров, нету... Ах, такой день, такой день! Слава богу, дожили наконец...

Он зачехлил аппарат, сложил в баул все свои бебехи, галантно раскланялся, доставая кепкой до пола, и неслышно вышмыгнул за дверь.

— Трупоед... — сплюнул Бородухов.

Госпитальный садик все еще гудел народом. Играла музыка — все больше вальсы, от которых щемило сердце. Саенко и Бугаёв вернулись в палату с красными бантами на пижамах и с охапками черемухи.

Перед обедом нам сменили белье, побрили, потом зареванная по случаю праздника, с распухшим носом тетя Зина разносила янтарно-желтый суп из кабана.

— Кушайте, сыночки, кушайте, родненькие. — Концом косынки она утирала мокрые морщинистые щеки. — Суп-то нынче добрый... Ох ты господи! А я как услышала, так и села. Сколько по этим-то итажам выбегала, сколь носилок перетаскала и — ничего. А тут хочу, хочу встать, а ноги как не мои... Да неужто, думаю, все уже кончилося? Аж не верится. Какую долю вытерпели, какого сапустата одолели. Как вспомню, как вспомню...

Слезы опять выступили на ее глазах, она торопливо утерлась и тут же улыбнулась, просветлела лицом.

— Кушайте, кушайте, а я пойду котлеток принесу. Поправляйтесь на здоровье, уж теперь недолго осталося...

Дверь распахнулась от толчка сапогом, в палату грузно протиснулся начхоз Звонарчук с неузнаваемо обвисшими усами на широком потном лице.

— Погодьте, погодьте исты!

На вытянутых руках он нес медный самоварный поднос с несколькими темно-красными стаканами.

— З победою вас, товаришчи, — поздравил он усталым, по детски тонким голоском. — Скильки вас у палати?

— Семеро осталось.

— Ага, точно... Тут вам вид имени администрации... Саенко, распорядысь.

— Есть, распорядиться! — Саенко с готовностью подпрыгал к подносу и составил стаканы на Михаеву тумбочку. — Давайте с нами, товарищ начхоз. За победу.

— Ни, хлопци. Нема время. — Он вытер рукавом халата потный лоб. — У мэни ще сто двадцать душ. Ух ты, чертяка, запалывси як...

Начхоз еще раз поглядел на стаканы: то ли пересчитывая в уме для отчетности, то ли просто так — как на произведение собственной расторопности. Видно, вино это досталось ему нелегко.

— Так вы давайте... А то суп охолонет.

— Спасибо.

— Було б за що.

Он ушел.

Саенко медленно, чтобы не пролить, не прыгая, как всегда, а волоча раненую ногу по полу, при полном молчании всех присутствующих разнес стаканы по тумбочкам. Лицо его при этом было озабоченным и строгим, а нижняя губа аскетически поджата, словно у ксендза при свершении исповеди. Да и правда, эти рубиново-красные, наполненные до краев стаканы воспринимались в нашей бесцветно-белой палате как нечто небывало-торжественное, как волнующее таинство.

Минуту-другую каждый молча созерцал свой стакан

— Ну что, солдаты... Что задумались? Давайте колыхнем, что ли... — предложил Саенко.

— Да, давайте.

— Пусть сперва Михай, — сказал Бородухов.

— Верно, пусть он сперва. А то как же ему...

— Это само собой. — Бугаёв взял Михаев стакан. — Давай присядь, а то не дотянусь.

Михай послушно сел на край койки, запрокинул голову.

— Ну, браток... За Победу?

— Ага.

— Жаль, нельзя с тобой чокнуться...

По лицу Михая скользнула виноватая улыбка.

— Ну ничего... поехали.

Мы смотрели, как Бугаёв, осторожно наклоняя стакан, вылил вино в птенцово раскрытый рот молдаванина.

— Во, парень, — удовлетворенно сказал он. — Это дело. Ничего, наловчишься... — Бугаёв вытер пижамным рукавом Михаев подбородок, по которому скользнула алая струйка, и, зачерпнув из супа картофелину, дал ему закусить. — Я знал одного такого, как ты, так он приспособился зубами брать стакан за край и высасывал все до донышка.

— Вино пить можно. А как теперь его делать будешь! — Михай тряхнул узлами рукавов. — Вину руки нужны.

— Ничего, братка! Не падай духом. Жинка поможет.

— Аяй-ай-ай... — Михай покачал головой.

— Ну будет, будет про это... — прервал Бородухов и степенно провозгласил: — Давайте, робяты, за дальнейшую нашу жисть выпьем... Как она дальше пойдет... Что было — то было, будь оно неладно! Живым жить, живое загадывать.

Мы выпили.

Прибежала Таня, поздравила с праздником, поставила на нашу с Копёшкиным тумбочку букет подснежников, принялась кормить его с ложки. Копёшкин, глотая жижу, морщился, пускал пузыри.

— Ты ему винца всплесни, — посоветовал Саенко.

— Вы что, смеетесь?

— А что? Пусть солдат разговеется.

— Ему же нельзя.

— Дай, дай ему. Отпусти ты его душу на волю. Вот увидишь, полегчает с вина-то.

— Не говорите глупостей.

Ох уж эти лекари! Хуже жандармов. Может, ему только и осталось, что посошок выпить. Сердца у вас нету.

— Все, славяне! Завтра буду проситься на выписку, — решительным тоном сказал Саша Самоходка.

Таня посмотрела в его сторону, укоризненно покачала головой.

— Не выпишут — убегу. Тань, поехали со мной, а? На Волгу. Красота!

— По дороге потеряешь, — усмехнулась Таня.

— Честное гвардейское, не потеряю! Я ведь к тебе, можно сказать, привык. Осталось только расписаться. — Саша заметно окосел, да и все тоже порозовели, заблестели глазами. — Ребята, поехали? — говорил Саша, хмельной и добрый. — Нашими дружками будете. Такую свадьбу сварганим. Эх и хорошо у нас, братцы! Деревня высоко-высоко! А внизу Волга. Всю видать, на пятнадцать верст туда и сюда. Пароходы идут, гудки, бакены по вечерам... Михай, поехали?

— Не-е, я домой.

— Что у тебя там? Успеешь.

— Как что? — Михай вскинул рыжие брови. — Как что? Не был — не говори.

— Нет, брат, — Самоходка мечтательно уставился в потолок. — Где Волга не течет, там не жизнь.

— Зачем зря говоришь? Зачем? А виноград у вас есть? А вино наше пил? Не пил.

— Квас, знаю.

— Что понимаешь? — горячился Михай. — Давай спорить! Квас, да? Налью тебе кружку, вот такую большую, — он сдвинул культи, показывая, какую кружку нальет Самоходке. — Пей, пожалуйста! Выпьешь — под бочку упадешь. Как мертвый будешь. Э-э, что говоришь — нету жизни. Поедем — увидишь. Что Волга? Что Волга? Мы воду не пьем, мы вино пьем. Молдова, понял?

— Что ж вы не едите? — покачала головой Таня, насильно вливая Копёшкину бульон. — Ну съешьте еще ложечку. Горе мне с вами...

— А у нас на Мезени пиво теперь варят. — Бородухов, только что побритый, в свежей рубахе, чинно прихлебывал наваристый суп, всякий раз подпирая донышко ложки куском хлеба.

— Сегодня везде празднуют, — сказал Саенко.

— Празднуют, да не так. У нас, на Мезени-то, бабы старинное надевают. Хороводы водят, песни поют. А потом сядут в лодки да по Мезени. А пиво я люблю, чтоб с брусникою. — Бородухов выразительно покрякал, провел ладонью по рту, будто обтер пивную пену. — Благо! Давно не пивал. — И добавил, задумавшись: — Поди, теперь не из чего варить.

Таня кое-как покормила Копёшкина и, сама больше намучившись, ушла. Ей надо было смениться еще в девять утра, но она осталась помогать по случаю праздника. И было жаль, что еще не посидела с ними. Самоходка прав: мы привыкли к ней и — чего уж темнить! — почти все были тихо влюблены в нее...

Вино разбередило, ребята зашумели, заспорили, где жить лучше. Вмешались Саенко с Бугаёвым, стали рассказывать о Сибири. Оба были родом из-за Урала, только Саенко происходил из степных алтайских хохлов, а Бугаёв — коренной енисейский чалдон.

«Сколько разных мест на земле, — думал я, слушая разговоры. — Лежали раненые и в других палатах, и у них тоже были где-то свои единственные родные города и деревни. Были они и у тех, кто уже никогда не вернется домой... Каждый воевал, думая о своем обжитом уголке, привычном с детства, и выходило, что всякая пядь земли имела своего защитника. Потому и похоронные так широко разлетались по русской земле...»

— Тише, ребята... — Бородухов первый заметил, как Копёшкин зашевелил пальцами. — Чего тебе, браток?

Мы насторожились.

— Пить?

Копёшкин отрицательно пошевелил кистью руки.

— Утку?

Припрыгал Саенко, наклонился над ним.

— Ты чего, друг?

Копёшкин что-то шепелявил сухими ломкими губами.

— Так, так... Ага, понял... — Саенко закивал и перевел нам: — Говорит, у них тоже хорошо жить. Давай, давай, Копёшкин, расшевеливайся! Вот молодец! Ну-ка, расскажи, как там у вас... Это где ж такое? А-а, ясно... Пензяк ты. Ну и что там у вас?

— Хорошо тоже... — разобрал я слабый, будто из-под земли, голос Копёшкина.

— Заладил: хорошо да хорошо... А что хорошего-то? Лес есть или речка какая?

Копёшкин пытался еще что-то сказать о своих местах, но не смог, обессилел и только облизал непослушные губы.

Мы помолчали, ожидая, что он отдышится, но Копёшкин так больше и не заговорил.

В палате воцарилась тишина.

Я пытался представить себе родину Копёшкина. Оказалось, никто из нас ничего не знал об этой самой пензенской земле. Ни какие там реки, ни какие вообще места: лесистые ли, открытые... И даже где они находятся, как туда добираться. Знал я только, что Пенза эта где-то не то возле мордвы, не то по соседству с чувашами. Ну, а где эта самая мордва?.. Я и прежде почти никогда не вспоминал, что есть такая территория в России, хотя когда-то сдавал экзамены по географии. Сдал да тут же и позабыл... Где-то там в неведомом краю стоит и копёшкинская деревенька с

загадочным названием — Сухой Житень, вполне реальная, зримая, и для самого Копёшкина являет она собой центр мироздания. Должно быть, полощутся белесые ракиты перед избами, по волнистым холмушкам за околицей — майская свежесть хлебов, вечером побредет с лугов стадо, запахнет сухой пылью, скотиной, ранний соловей негромко щелкнет у ручья, прорежется молодой месяц, закачается в темной воде...

Я уже вторую неделю тренировал левую руку и, размышляя о копёшкинской земле, машинально чиркал карандашом по клочку бумаги. Нарисовалась бревенчатая изба с тремя оконцами по фасаду, косматое дерево у калитки, похожее на перевернутый веник. Ничего больше не придумав, я потянулся и вложил эту неказистую картину в руки Копёшкина. Тот почувствовал прикосновение к пальцам, разлепил веки и долго с осмысленным вниманием разглядывал рисунок. Потом прошептал:

— Домок прибавь... У меня домок тут... На дереве...

Я понял, забрал листок, пририсовал над деревом скворечник и вернул картину.

Копёшкин, одобряя, еле заметно закивал восковым, заострившимся носом.

Ребята снова о чем-то заспорили, потом, пристроив стул между Сашиной и Бородуховой койками, шумно рубились в домино, заставляя проигравшего кукарекать. Во всем степенный Бородухов кукарекать отказывался, и этот штраф ему заменяли щелчками по роскошной лысине, что тут же исполнялось Бугаёвым с особым пристрастием под дружный хохот. Михай в домино не играл и, уединившись у окна, опять пел в закатном отсвете солнца, как всегда глядя куда-то за петлявшую под горой речку Нару, за дальние вечереющие холмы. Пел он сегодня как-то особенно грустно и тревожно, тяжко вздыхая между песнями, и надолго задумывался.

Прислоненная к рукам Копёшкина, до самых сумерек простояла моя картинка, и я про себя радовался, что угодил ему, нарисовал нечто похожее на его родную избу. Мне казалось, что Копёшкин тихо разглядывал рисунок, вспоминая все, что было одному ему дорого в том далеком и неизвестном для остальных Сухом Житне.

Но Копёшкина уже не было...

Ушел он незаметно, одиноко, должно быть, в тот час, когда садилось солнце и мы слушали негромкие Михаевы песни. А может быть, и раньше, когда ребята стучали костяшками домино. Этого никто не знал.

В сущности, человек всегда умирает в одиночестве, даже если его изголовье участливо окружают друзья: отключает слух, чтобы не слушать ненужные сожаления, гасит зрение, как гасят свет, уходя из квартиры, и, какое-то время оставшись наедине сам с собой, в немой тишине и мраке, последним усилием отталкивает челн от этих берегов...

Пришли санитары, с трудом подняли с кровати тяжелую промокшую гипсовую скорлупу, из которой торчали, уже одеревенев, иссохшие ноги Копёшкина, уложили все это на носилки, накрыли простыней и унесли.

Вскоре неслышно вошла тетя Зина со строгим отрешенным лицом, заново застелила койку и, сменив наволочку, еще свежую, накрахмаленную, выданную сегодня перед обедом, принялась взбивать кулаками подушку.

Я онемело смотрел на взбитую подушку, на ее равнодушную праздную белизну и вдруг с пронзительной очевидностью понял: что подушка эта уже ничья, потому что ее хозяин уже н и ч т о... Его не просто вынесли из палаты — его нет вовсе. Нет!.. Можно было догнать носилки, найти Копёшкина где-то внизу, во дворе, в полутемном каменном сарае. Но это уже будет не он, а то самое непостижимое ничто, именуемое прахом... «И это все? — спрашивал я себя, покрываясь холодной испариной. — Больше для него ничего не будет? Тогда зачем же он был? Для чего столь долго ожидал своей очереди родиться на земле?» Эта его возможность появления сберегалась тысячелетиями, предки пронесли ее через всю историю — от первобытных пещер до современных небоскребов. Пришло время, сошлись, совпали какие-то шифры таинства и он наконец родился... Но его срезало осколками, и он снова исчез в небытие... Завтра снимут с него теперь уже не нужную гипсовую оболочку, высвободят тело, вскроют, установят причину смерти и составят акт. Потом его останки свезут на серпуховское кладбище, где для таких, как он, госпиталь арендует угол, и там закопают — без речей, без почетного караула, без прощальных залпов, — закопают, так сказать, «в рабочем порядке», как обычно хоронили по лазаретам ничем не отличившихся солдат.

— Ох ты, грехи наши тяжкие... — проговорила нянька, подняла с пола оброненную санитарами картинку с копёшкиной избой и прислонила ее к нетронутому стакану с вином. — Вот и пожар затушили, а, видно, чадить еще долго будет. Уж больно раскочегарено...

Мы промолчали: разговаривать ни о чем не хотелось.

Картинка была моей вольной фантазией, но теперь нарисованная изба обратилась в единственную реальность, оставшуюся после Копёшкина. Я теперь и сам верил, что такая вот — серая, бревенчатая, с тремя окнами по фасаду, с деревом и скворечником перед калиткой, — такая и стоит она где-то там на пензенской земле. В это самое время, в час сумерек, когда санитары укладывают Копёшкина в госпитальном морге, в окнах его избы, должно быть, уже затеплился жидкий огонек керосиновой лампы, завиднелись головенки ребятишек, обступивших стол с вечерней похлебкой. Топчется у стола жена Копёшкина (какая она? как зовут?), что-то подкладывает, подливает... Она теперь тоже знает

о победе, и все в доме — в молчаливом ожидании хозяина, который не убит, атолько ранен, и, даст бог, все обойдется...

Странно и грустно представлять себе людей, которых никогда не видел и наверняка никогда не увидишь, которые для тебя как бы не существуют, как не существуешь и ты для них.

Тишину нарушил Саенко. Он встал, допрыгал до нашей с Копёшкиным тумбочки и взял стакан.

— Зря-таки солдат не выпил напоследок, — сказал он раздумчиво, разглядывая стакан против сумеречного света в окне. — Что ж... Давайте помянем. Не повезло парню... Как хоть его звали?

— Иваном, кажется, — сказал Саша.

— Ну... Прости-прощай, брат Иван. — Саенко плеснул немного из стакана на изголовье, на котором еще только что лежал Копёшкин. Вино густо окрасило белую накрахмаленную наволочку. — Вечная тебе память.

Оставшееся в стакане вино он разнес по койкам, и мы выпили по глотку. Теперь оно показалось таинственно-темным, как кровь.

В вечернем небе снова вспыхивали праздничные ракеты.

ВО СУББОТУ, ДЕНЬ НЕНАСТНЫЙ

1

Однообразно-серое небо недвижно висело над аэродромом. С осенней ленцой крапал нудный, обложной дождишко.

Сеялся он с ночи, и взлетное поле, ровное и пустое, с одинокой, наспех сколоченной диспетчерской будкой посередине, побурело и потерялось краями за сизой моросью. Лишь с одной стороны к нему подступали призрачные очертания старых деревьев, казавшихся особенно высокими в тумане, за которыми еще более смутно угадывались окраинные постройки районного центра.

Райцентром здесь именовалось большое село, разделенное пополам худосочной речушкой Варакушей. Речка привередливо петляла и рылась в хлябкой низине, заросшей камышами, лозой и красностволым дурманным дудником. По весне она затопляла все это от склона до склона, так что избы, отбежав на сухие взлобки и растянувшись по ним двумя бесконечными улицами, гляде-

лись друг на друга через камышовую чащобу с почтительного расстояния. Ближе к центру села Варакуша была подпружена глиняной дамбой, разлилась широкой стоячей водой, и на этой воде весь день гомонили, полоскались и смертно дрались стая на стаю зажиревшие осенние гуси. По утрам они слетались сюда прямо из калиток окрестных дворов, а днем — с суходольной озими, что зеленела по буграм за домами. Перед тем как опуститься на воду, они старались как можно дольше протянуть, продержаться в небе. Тяжело и трудно махая крыльями, заполошно кегекая, удивляясь самим себе, что так высоко летят, они проносились над дворами, над торговой площадью возле заколоченной церкви, по сторонам которой толпились скобяные и книжные магазинчики, парикмахерская и новая кирпичная чайная, потом, спускаясь все ниже, летели над школьным двором и садом, откуда в них швыряли яблоками и кепками, и под конец, потеряв строй и высоту, беспорядочно ломились к воде сквозь береговой ракитник. Гусиный ликующий гам проникал даже в кабинет предрика, куда я заходил по делам своей командировки.

— Вот черт, — говорил он, прикрывая форточку, — когда насыпали плотину, думали устроить озеро Рицу, с беседками и крашеными лодками. Беседки и лодки поразломали в один год, но зато гусей поразвели превеликое множество. Жизнь, так сказать, дала поправку.

Даже отсюда, с аэродрома, было слышно, как гоготали стаи где-то за дождем, за туманной хлябью.

Часов в восемь утра, когда я добрался до диспетчерской будки, возле нее уже собралось человек пять пассажиров. На чемодане, укрывшись офицерской накидкой, так что были видны одни только начищенные сапоги и белые резиновые ботики, сидели, шушукались военный с женой, а может, и не с женой... У дощатой стенки прятались от дождя две девчонки — обе в высоких прическах, прикрытых прозрачными полиэтиленовыми накидками, о которые с сухим треском разбивались крупные капли, копившиеся на карнизе. Красными нахолодавшими руками девчата бросали в округленные бубликом рты подсолнечные семечки и с вороватым любопытством прислушивались к шушуканью под палаткой. Топтался еще какой-то пожилой и сумрачный гражданин с портфелем, в очках, зеленой обвислой шляпе и тяжелом драповом пальто — должно быть, наезжий ревизор.

Потом подошли еще двое — грузная, закутанная бахромчатой шалью бабка и женщина помоложе, тоже полная, но крепкая и рослая, в васильковом шелковом плаще. Та, что помоложе, несла на изгибе руки большую, обшитую мешком одноручную корзину. Она поставила ношу у кассового окошечка, загороженного фанеркой, усадила на корзину запыхавшуюся бабку и, сама переводя дыхание, с приветливым добродушием оглядела публику.

— Будет — не будет самолет? — спросила она вслух у самой себя, ребром ладони запихивая под платок шестимесячные кудряшки.

Ей никто не ответил. По расписанию самолет должен был прилететь в половине девятого, а уже набежало без четверти, и каждый задавал себе такой же вопрос: «Будет — не будет?» Гражданин в очках вместо ответа только взглянул на небо. Он нетерпеливо топтался взад-вперед, придерживая обеими руками свой желтый портфель впереди себя у коленок и, прохаживаясь так, успел натоптать на раскисшей земле хлюпкую пятиметровую дорожку.

Неожиданно под бабкой резко, звонко, пронзительно гаркнул гусь. Все оглянулись. Даже военный высунулся из-под накидки. Он оказался молоденьким лейтенантиком и был, судя по раскрасневшемуся лицу, немного под хмельком, а может быть, разогрелся так от интимной беседы со своей спутницей. Гусь забился в корзине и закричал еще громче. Девчонки переглянулись и прыснули.

— Ну чего ты, чего ты, — засмущалась женщина в васильковом плаще и с виноватой улыбкой посмотрела на корзину. Гусь все вскрикивал просительно и тревожно, тыкал носом в натянутую мешковину, но бабка продолжала недвижно сидеть, широко расставив толстые отечные ноги в глубоких калошах.

— Черт знает что такое, — проворчал гражданин в очках, морщась и косясь на старуху.

— А что я сделаю? — еще больше засмущалась женщина, стоявшая рядом. — Накормленный, напоенный...

— На то автобус есть, — сказал гражданин в очках. Он подбежал к окошечку и забарабанил по фанерке согнутым пальцем. — Совсем избаловались...

— Говорила, мама, давай зарежем. Одни только неприятности, — сказала женщина. — Еще и корзину возьмут, за место посчитают. И люди вот обижаются...

— Сердит, пока за стол не сел, — сказала бабка.

Гражданин промолчал и еще раз побарабанил в оконце.

— Ну чего здучите? — взъярился наконец молчавший до того диспетчер, появляясь в дверях будки. Щуплый, обиженный, был он одет в выцветший на плечах синий ватник и резиновые сапоги с байковыми отворотами и выглядел по-домашнему. И не брит был тоже по-домашнему. Только гевеэфовская фуражка, фасонисто сдвинутая набок, обозначала его высокое предназначение.

— Здучат и здучат... — с напускной суровостью проворчал он, но, видимо, довольный тем, что может вот так строго говорить с каждым.

— Так ведь уже больше часу ждем, — с простодушной виноватостью отозвалась женщина.

— И я жду, — диспетчер циркнул желтой табачной слюной. — Запаздывает...

Морщась от дождинок, он пошарил глазами по мутному небу, перевел взгляд на шест с обвисшим полосатым конусом, потом достал из кармана большой амбарный замок, повесил его на дверь и, побалтывая ключом на веревке, поглядывая на свои сапоги, на то, как они разъезжаются на ослизлой земле, пошлепал к райцентру.

— Куда же вы? — возмутился гражданин. — Как в Конго, ей-богу...

— Все улетите... Сказано, — не оборачиваясь, отозвался диспетчер и вдруг, замахав руками, погнался за мокрой, взъерошенной коровой, которая забрела к самой будке.

— Куды пресси?! Геть — пошла, пропасти на вас нетути!

Корова, оставляя глубокие жирные рытвины на раскисшей земле, отбежала прочь и лопоухо вызрилась на диспетчера.

— Целый день, знай, гоняю...

Диспетчер ушел неизвестно куда и на сколько, растворившись в мороси. Вскоре, взявшись за руки и над чем-то хохоча, убежали девчата.

Дождь не дождь, но я успел промокнуть в своем легоньком пальто и тоже пошел поискать прибежища, решив, что если появится самолет, то непременно услышу его гул в небе. Да пока он сядет, разгрузится, пока пилоты перекурят — времени будет предостаточно вернуться на аэродром.

2

Я пошел не по натоптанной дороге, которая выводила на улицу окольно, а напрямик, по аэродромной траве, к маячившим впереди деревьям. Несмотря на ненастье, было у меня легкое настроение, должно быть, оттого, что завершил свое дело. Я особенно не сетовал на опаздывающий самолет и даже на этот въедливый дождишко, который мне и вовсе пришелся бы к настроению, если бы со мной были плащ и сапоги: люблю побродить полем или же по опустевшим лесам, чутким и гулким, как заброшенные храмы. А то встреться поблизости копенка сена, я с удовольствием привалился бы сейчас к ее обдерганному коровами сухому подножию и лежал бы так, наблюдая за вороной, одиноко тянувшей по серому осеннему небу. Или, жуя травинку, добиваясь от нее какого-то вкуса, думал бы о минувшем лете, о живой шумливой траве, которая теперь вот уложена всем скопом в сенной ворох. Зимней лунной ночью к стожку начнут подбираться сторожкие русаки, и радостно глядеть, закопавшись в копне с ружьишком, как они то и дело встают столбиком, роняя на искристый снег долгие синие тени...

Шагая по мокрой траве к селу, я вспомнил, что уже давно не писал о таких вот милых пустяках. И вообще хотелось написать что-нибудь простое, бесхитростное, ни на малость не вмешиваясь в течение жизни, хотя бы вот о таком сером осеннем деньке, о бабкином гусе, зашитом в корзине, должно быть еще молодом, не долетавшем своего срока до веселых морозцев, когда воздух резок, как спирт, и вода холодна, и особенно красны на первом снежку гусиные лапы, о том, как иду сейчас полем и как встречу кого-то в деревне и заговорю с ним или с ней, еще не зная о чем, — написать так, как было, как будет, как виделось, без привиранья и лукавства. И почему-то вспомнилось мне яшинское:

Медведя мы не убили,
Но я написал рассказ
О том, как медведя убили,
Какие мы храбрые были,
Когда он пошел на нас.

Зная, что меня теперь никто не услышит, я попробовал напеть стихи на мотив «Я люблю тебя, жизнь»:

В журнале меня-я хва-ли-ли-и-и
За правду,
За мас-тер-ство-о-о...
Медведя мы не уби-ли-и-и,
Не видели даже его-о-о.

Дальше мотив как-то не пришелся, и я, перелезая под высокими деревьями через плетень, захрустевший подо мной всеми своими иссушенными и выветренными костями, а теперь мокрыми и ослизлыми, дочитал стихи без напева:

И что еще характерно:
Попробуй теперь скажи,
Что факты недостоверны —
Тебя ж обвинят во лжи.

Так, бормоча про шкуру неубитого медведя, я очутился в чужом огороде. Дождь копошился в опавших тополевых листьях, далеко усеявших гряды, и был он здесь слышнее, чем в поле. Огород уже перекопан и истоптан, но на одной грядке еще матово голубели крепкие студеные кочны и свежо и остро пахло поздней капустой, а еще горьковатым палым листом и посыревшей усталой землей, отработавшей свое. На старом подсолнухе, забытом у межи, предзимне тинькала синица. Прицепившись к его поникшей растрепанной голове, она теребила пустую жухлую решетку. И тоже было хорошо видеть этот живой и неунывающий желто-зеленый комочек бытия. И был приятен своим домовитым уютом стук топора за сараем.

Я пошел на этот стук, отыскал в плетне огородную калитку, снял с кола лыковую петлю, удерживавшую дверцу запертой,

и, остерегаясь собаки, но в то же время желая все-таки, чтобы она выскочила и облаяла — не мрачный цепной Полкан, а суматошная и незлобивая собачушка, что через минуту уже приятельски тычется в колени, нетерпеливо перебирает передними лапами и метет землю хвостом, — протиснулся за лозовую скрипучую калитку.

Собака не выскочила, не облаяла, а в пустом дворе тяпала топором женщина. Голова ее была небрежно обмотана хлопчатым мелкоклетчатым платком, забранным внутрь воротника все того же стеганого ватника, так удачно кем-то придуманного, что и поныне его предпочитают в нашей несуровой местности всем прочим одежкам, — и в лес по дрова, и в город за хлебом, и так просто дома расхож да ловок, а если нов еще, то и в праздники. Носят его от млада до старого, иные так и всю жизнь, только роста меняют, как раки меняют скорлупу. У меня и у самого такой: добрая штукенция, а если сверху полушубок набросить или, на худой конец, пододеть козловую безрукавку, то и вовсе стой себе у проруби, таскай окуней.

Женщина выдергивала из мокрой кучи хвороста плоско слежавшиеся лозины и, прилаживая на плахе подобно тому, как придерживают куренка перед тем, как отрубить ему голову, сноровисто отсекала полуметровые полешки, а потом, когда хворостина истончалась, секла и ветвистые концы. Нарубленное она складывала в ровный ворошок, белевший в мою сторону свежими косыми торцами, после чего выдергивала новую хворостину. Я стоял у сарая, смотрел, как она рубит, и она долго меня не замечала. Заметив же наконец, женщина выпрямилась, свободной рукой сдвинула съехавший платок на затылок. Мокрый блескучий топор в другой ее руке повис вдоль кирзового сапога.

Было ей лет за сорок, а то и под пятьдесят, суха и мелка темным дубленым лицом, некрасиво-востроноса, и серые, полураскрытые и растянутые в частом дыхании губы светлей, чем само лицо, разгоряченное работой. Неосознанно, безо всякой для себя надобности, я пожалел, что она немолода. Нам ведь, мужикам, все хочется, чтобы нас окружали молодые и красивые. Едешь в поезде, и всей-то езды на три-четыре часа, казалось бы, что тебе до проводника. Ан нет, почему-то чувствуешь себя бодрее, когда знаешь, что в твоем вагоне молоденькая проводница. Даже лишний раз покуришь в коридоре. Или в магазине: из молодых рук возьмешь и жирную ветчину, не станешь препираться... Да что поезд или там магазин! Лежишь в больнице, температура под сорок, глаза осоловелые, а все же приятнее, когда подсядет врачиха помоложе. Даже если и министр, вот как занятой человек, тысячи бумаг, сотни прошений, важен и суров с виду, а зайди к нему просительница, если, конечно, не явная рухлядь, — суров-то суров, а все равно улучит момент и оценит. А ежели хороша собой, то невольно, хочет не хочет,

а помягчеет, хотя и сам понимает, что не положено: все-таки при исполнении высоких обязанностей... Что поделаешь, видно, не нами это устроено...

Моя суженая была немолода, и я лишь на мгновение пожалел об этом, даже не я, а что-то во мне, помимо меня. И уже через секунду, смирившись и позабыв об этом подспудном толчке, я с фальшивой бодрецой, с какой-то юродинкой зябко потирал руки, изображая сирого и бесприютного.

— Пустила бы, хозяюшка, к печке. Ждали, ждали самолет, а его все нет, проклятого.

Должно быть, вид у меня был не совсем разбойный, но и не начальственный — пальто да кепка и никакого пугающего портфеля (в деревне казенный портфель — всегда какая-нибудь смута), а потому она сразу же откликнулась:

— Да какой самолет — вон как обложило.

Она врубила топор в колоду и, нагнувшись, принялась собирать растопку.

— И диспетчер куда-то ушел, — сказал я, продолжая потирать ладони.

— Пойдемте уж... Только печка еще не топленная.

Она подхватила беремок и направилась к сеням, гулькая разластыми голяшками сапог. Просыпав по дороге несколько полешков, она быстро обернулась, но, заметив, что я подбираю, пошла, заговорив уже совсем доверительно, по-свойски:

— А вчерась вродя был самолет. Утром бегла в магазин, дак слыхала — рипел. А и автобус небось нынче не пойдет, глейдер расквасило.

Вслед за ней я прошел в темные сени, различая тугие тела насыпанных мешков в углу, коромысло и волосяное сито на стенке. Забилась, заметалась на мешках и с дурным криком, загромыхав опрокинутым ведром, прошмыгнула меж ног на свет, за порог, курица.

— Проходьтя, проходьтя, — ободряла меня хозяйка уже из кухни, видя, как я втягиваю голову перед низкой дверной притолокой. — Да уж чего там ноги вытирать, все одно пола нету.

Со свежего воздуха резко потянуло духом чужого жилья: каким-то варевом, застарелым дымом. Маленькое, на уровне пояса оконце, заплаканное дождем, роняло непривычно низкий свет прямо в разверстое устье холодной печки. На подоконнике, среди мутных пустых бутылок равнодушно и безжизненно торчал из консервной банки отводок цветка алоэ. Колючий и неказистый, он почти совсем перевелся в городах, особенно в пору пенициллинов, и его держат теперь лишь сердобольные старушки, все еще памятуя как о сподручном лекарстве.

Женщина сбросила дрова к подножию печи, на землю, истыканную острыми поросячьими копытцами, и, не раздеваясь,

приговаривая: «Сичас, сичас... А я вчерась не управилась нарубить, дак и припозднилась с печкою», — полезла открывать вьюшку, ступив на полок — дощатый настил между печью и горничной перегородкой. Учуяв хозяйку, настороженно гукнул под полком поросенок. Он приладил свой пятачок к дверной щелке и, шевеля им и втягивая воздух, докучливо заверещал, заканючил.

— Узё-ё! — Она притопнула сапогом по доскам настила. — Поори мене, скаженный, Витькю разбудишь... Сейчас наварю.

Я снял кепку и присел на краешек скамьи перед столом, рядом с ведрами, в темной глубине которых на взблесках воды покачивались черные перекрестия оконной рамы. Сидя так, я оглядывал убежище, приютившее меня. Из-под стола высовывалось лукошко, набитое кусками свежего розоватого сала, густо пересыпанного крупной замокревшей солью. Несколько кусков почему-то валялось на земле, у подножия лукошка, и на один из них я чуть было не наступил ботинком. Я принялся подбирать, но хозяйка, заметив мое смущение, замахала с полка:

— Небось, небось... Это поросенок пораскидал. Все балуется, демоненок. Ему и лиха мало, что, можа, это мать его посоленная лежит, — усмехнулась она. — Отлучись, а ему тут своя воля. В лукошко лезет, чугунки с лавки скапывает... Один грех с ним. — Она опять усмехнулась, глядя на меня сверху, с полка. — Намедни рушник с гвоздя сдернул, бегает, запутался, телепает — весь об пол измызгал. Как кутенок. Хоть не выпущай. А в закутке держать жалко, сосуночек еще...

Она принялась собирать на печи сухую разжижку и, шебарша щепками, говорила откуда-то из глубины запечья, вся перегнувшись туда с полка, вытягиваясь и привставая на носки, отчего из сапог высовывались голые, напряженно-угловатые икры в уродливых жгутах синих вен.

— Да и сарай такой... Вот Витька, может, подладняет... Да теперь чего ж ладнять... дожжи пошли. А и то, слава те господи, со свеклой управилися.

— Это хорошо, — отозвался я, имея в виду убранную свеклу.

— Да уж отмаялися. А то нешто благо по грязи-то убирать, кабы б дожжи. Оно хочь и машины теперь, а все одно работы много... Машина-то она слепая, за ней тоже догляд нужóн. А еще ж погрузить... Полтораста центнеров на гектаре, а в колхозя их пятьсот. Бабе оно завсегда на чем живот порвать сыщется...

Она спрыгнула с полка с пучком лучин и, положив разжижку на шесток, принялась выгребать золу. Кочерга утробно гыркнула по кирпичам пода.

— А теперь и надо б помочить, — говорила она за ловкой своей работой. — Хлебушко по сухому сеялся. Ему и так, бедному,

ничево... Все под бурак да под конопли сыпють, а ему опять ни граммушки. Байки одни. Сердце изболелося, на него глядючи. Взошел квелый да неохотный... Какой же он будет, коли уже теперь такой... А ему ж еще под зиму итить.

О хлебе она говорила «он», «ему» — как о живом существе.

— Это плохо, если так, — поддакивал я, разглядывая большой брусковатый фуганок, висевший на горничной переборке. Был он из какого-то темного, с красниной, дерева, и на его смуглых, лоснящихся боках проступали витиеватые, узорчатые слои.

— Мужев струмент, — перехватила мой взгляд хозяйка, подпаливая выложенный на полу дровяной колодчик.

— Хороший фуганок, — похвалил я.

— А и хороша-ай! — кивнула она, обрадованная похвалой. — Мастера смотрели, тоже так говорили. Сказывают, лёзги дюже хорошие. А мой дак когда и брился лезгою. Уж так, бывало, правит, так правит... До того, чтоб газетку сostругивало... Ежели буковки снимает, а газетка цельная остается, не прорезывается насквозь, тади бросает точить... А после того побриться любил. Свежей-то лезгою. А мне дак и страшно делается, как он по лицу вострой железкою. У нево весь струмент такой был ухоженный. Дюже любил, штоб все в аккуратности было...

Печь разгоралась, сипели и потрескивали лозовые дровца, пузырились обрубленные концы, роняли капли на жаркие угли, которые, допламенев, сами собой распадались на одинаковые округлые кусочки, осыпая наставленные чугунки. Дым, обволакивая поверху устье, розовым холстом бежал навстречу и уже серым загибался в трубу. Хозяйка, по-прежнему в телогрейке, лишь платок отбросив с маленькой головы на заплечья, проворно шастала по кухне — то поскребет какую-то посудину, то ухватом поправит чугунок, отодвинет подальше, если начинал закипать. Стены, потолок, ведра на лавке, бутыли на подоконнике — все заиграло веселыми красноватыми отсветами, и совсем славно запахло ракитовыми дровами. Я сидел поодаль, а и то чувствовал на лице и на руках приятное тепло, пальто мое начало парить и попахивать пареной и кислой материей.

— Это ж он сам делал, — кивнула она на посудный шкафчик справа от окна.

Я сначала не обратил на него внимания, но теперь из вежливости принялся разглядывать. Стоял он в темном углу между окном и сенишной дверью и сам был темен от времени. В его потускневшем лаке где-то глубоко и глухо тоже плясало багровое пламя печи. Но я все же разглядел резьбу на дверцах — трехпалые, похожие на клевер, листья и какие-то птицы с чешуйчатым оперением. И пока рассматривал, женщина, опершись на ухват, с робкой настороженностью ожидала, что скажу.

— Тонкая работа. Это что же за птицы?

— А не знаю... Это он все выдумывал.

Женщина в раздумье поковыряла в печи ухватом.

— Он-то не здешний был, с Архангельску. А сюды на подряды приезжал, с товарищами. Кому конюшню, кому что... По колхозам. Два лета так. Ну, мы с ним и сошлись. Это ж он, как поженилися, скапчик-то сделал. Бывало, прибегит с работы, повесит на дереве фонарь — дерево во дворе стояло, засохло — и все пилит, стружит. Скапчик-то этот. И ночь уже, мошкара около фонаря мельтешится, а он все стружит. А я ему: Коля, да что ж ты так-то — там работаешь, дома работаешь, не к спеху бы. Жить будем, так все и поделаешь потихоньку. Не слушается, все работает. А я и сама стою около, да и засмотрюсь на ево. То одним рубанком досочку пробежит, то другим, яичко положи — не шелохнется: так гладко да ладно. А ему все мало. А уж когда сошьет вместе с шипами да клеем, то опять стружит. А опосля всего возьмет этот-то вот большой да еще и им отгладит. Фуганок аж птицей посвистывает, а стружка ну вот тонка, вот тонкусенька, чуть не светится. Я, бывало, наберу ее, обдам кипятком, запарю да потом цветы делаю. В луковый отвар да химический карандаш разведу — покрашу, ну как живые...

То ли от печки, а может быть, и от разговора она вся разрумянилась, запылала худым темным лицом, и сквозь заветренность и не в пору ранние морщины пробилось что-то далекое, девичье, какое-то стыдливо-радостное смущение.

— А птиц-то он уж опосля наметил да и вырезал. Стамесками да долотцами разными. Уж дюже забывался он за работою. Долбит, а в волосах стружки вот как понапутляются. Волос у него весь вился, тоже как наструганный. И так у него ладно все получалось. И травки и листочки всякие. А я гляжу теперь, и все вспоминается, как мы с ним первый покос косили. Когда поженилися. И птицы вот так тоже были. Сидит она на щавелиночке и ну свищет, ну свищет. Коси около нее — не боится.

Она постояла, с тихой задумчивостью глядя на огонь, и я пытался представить, какой была она в молодости.

— Все звал к себе туда. Сказывал, дома у них высокие, окна не достать, леса — конца-краю нет. Покосы вольные. Хотелось мне поехать посмотреть. Да так и не собралась: то Нюркою, старшей дочерью, затяжелела, а тут и война вот она... Загадывал хату перебрать, полы постелить. Дюже непривычно ему было без полов. В кухню выходил, дак обувался, как во двор... Да так все и осталось, как есть. Один скапчик-то этот только и успел сделать...

— Погиб, что ли?

— Да сразу-то не убило... На побывку опосля ранения приезжал... А уж потом его, под самый конец... Вот все берегу, — кивнула она на фуганок. — От самой войны. Просили продать —

не продала. Стамески да коловоротья, мелочь всякую — так Витька порастаскал, позабельшил, не углядела. Бывало, ругаюсь: Витя, сынок, да что ж ты делаешь, струмент растаскиваешь. Вырастешь — как раз и сгодится. Работать пойдешь, как батька. Где тади возьмешь такой струмент? Отец его по штучке собирал да копил... А уж и вырос Витькя, а не заинтересовался етим. Оно если бы при отце, дак видел бы, как тот работает. Может, и поимел интерес. А так, что ж, лежит мертвый струмент, сам он ничего не покажет, не расскажет... Не привилось ему отцово. Так вот и висит на стенке... И не нужен, а продать чегой-то не могу, чегой-то жалко...

Она отлучилась в сени, вернулась с полумиской картошки и, продолжая рассказывать о муже и Витьке, о старшей дочери, что теперь замужем на Урале, пристроилась было чистить картошку прямо на шестке. Я приподнялся, уступая ей место у стола.

— Сидитя, сидитя, — запротивилась она. — А то лучше в горницу ступайте. Молочка бы, дак своего нету... Да вы разденьтеся, я пальто просушу. Будет ай нет самолет, а оно тем часом и провянет.

Видно, за то, что я поговорил с ней, послушал, ей хотелось чем-нибудь уважить меня, и она просто-таки стащила с моих плеч мокрое пальто и проводила в горницу.

Горенка была об два окна и с полом. В простенке старенький комод, на середине — круглый стол под клетчатой скатертью. Ситцевые занавески в мелких синих цветочках прятали кровать у глухой стенки. Оттуда доносилось глубокое дыхание спящего, должно быть, Витьки. А она продолжала говорить мне через перегородку:

— Это ж еще тади, как коров в закуп отбирали, дак с тех пор и нету... Раз зашли: продавай да продавай, другой раз... Да и отдала, бог с ней, с коровою. Не отдашь, дак потом и горя с кормами не оберешься. За каждым пучком станут доглядывать: где взяла? А теперь и сама отвыкла, ну ее. Да и дети повыросли, сало вон есть. Станет Витька жить да внуки пойдут, дак тади, может, опять заведем.

— А вы в колхозе? — спросил я.

— В колхозя, ой и в колхозя... — сказала она, появляясь в дверях горницы с ножом и полуочищенной картофелиной. — Правда, теперь многие по конторам служат. То больнички, то базы... Много тут контор всяких. Консервный завод вроде собираются строить. Дак на контору грамоти нужно... Так что в колхозя мы... Да и куда ж теперь? Жисть прошла. Теперь уж одново надо держаться. Вот и пенсию в колхозе стали начислять. Не знаю, как Витькя порешит... Что-то молчит, ничего не говорит...

На кухне закипело, и она, убежав, загромыхала сковородной крышкой, продолжая говорить о Витьке. Видно, ее очень беспо-

коило, останется ли сын дома или уедет, как уезжают многие, вернувшиеся из армии.

Я подсел к окну, выходившему на улицу, в палисадник. За мокрыми кустами смородины, сохранившими кое-какие листья, проглядывался крутогорый выгон, под которым, в самом низу, чернел колодезный журавль, а дальше серой туманной шубой простирались камыши. К колодцу не спеша, с коромыслом и ведрами, спускалась какая-то молодуха. Несмотря на ненастье, она была раздета, в одном только полушалке, наброшенном поверх безрукавного красного платья, и, лениво сходя, играя крутыми бедрами на скользком глинистом спуске, она озиралась направо-налево, оглядывая пустынную улицу. Посматривая на окно, у которого я сидел, она не спеша привязала цепь к дужке, не спеша опустила ведро, зачерпнула, перелила в другое, зачерпнула еще раз и, все так же не торопясь, посматривая на окно, прошла косой тропкой в гору, к соседним домам.

— ...Жить будет, дак и новую крышу справим, — продолжала говорить из кухни хозяйка. — Хотела в том году картошки на крышу продать, да ящур не дал, не пускали с картошкою. А нынешним какой-то жук, говорят, напал.

— Колорадский, что ли?

— Шут его знает. Тоже не пущают. Я уж и картошку на палочку натыкала — нет, никаких делов.

— Это зачем же на палочку?

— А так теперь делают. Знак для проезжих шоферов. На палочку наткнут и перед домом тею палочку поставят. А шофера уже знают, что в этом дворе есть продажная картошка.

В горницу неожиданно залетел поросенок. Стукотя по полу копытцами, едва не упав на повороте, он обежал вокруг стола и остановился как вкопанный перед моими ногами. Глаза голубые, смышленые, хитрые, сквозь белую шерстку проглядывало чистое, младенчески-розовое тельце. Я поднял носок ботинка и пошевелил им перед настороженной мордочкой. Поросенок гукнул животом, отскочил и, мотнув скуластым рыльцем, умчался в кухню.

— Иди лопай, лядущий, — заговорила с ним хозяйка. — Вынашивается, скачет...

Послышалось торопливое чавканье и похрюкивание.

— Покопай, покопай мне. А то в закутку запру, дак тади не больно будешь привередничать, все подберешь на холоди.

В окно смотреть наскучило, и я прошелся по горнице, разглядывая картинки и фотографии. В большой раме, узорчато выпиленной из фанеры да еще и подпаленной какими-то зигзагами, висело стекло, с обратной стороны которого по синему фону цветной фольгой были выложены три женские фигуры с наивными кукольными и в то же время порочными физиономиями. Под ними золотилась надпись: «Вера, Надежда, Любовь». У «На-

дежды», восседавшей в центре, были огненные кудри и синие глаза с лучеподобными ресницами. У «Веры» и «Любови» — смоляные косы, переброшенные на грудь, и черные жгучие очи, но почему-то без ресниц. Произведение это было еще ново и, должно быть, покупалось, как и оклеивалась свежими обоями сама горница, к Витькиному возвращению. Мне представлялось, как в радостном удивлении остановилась покупательница перед базарным китайцем, выставившим на прилавке пеструю и броскую мишуру, и как не могла отойти, стояла, смотрела и все-таки взяла. А потом везла домой, в автобусе, тихо радуясь и ревностно оберегая свою покупку, чтоб не раздавили в автобусной толчее. Был в этой покупке и свой особый резон, поскольку, кроме праздничной яркости, коей всегда недостает в крестьянском доме, несла она во вдовье жилище еще и нечто символическое, долженствовавшее провозгласить извечные чаяния: чтобы в доме обрелись и Вера во что-то, и Надежда на что-то, и Любовь, без чего жить человеку немыслимо.

— У нас кто картошку в Донбасс свез — все с крышами железными, — между тем говорила она, возясь с поросенком. — А так, где ж его возьмешь, железо-то...

— Да, с железом трудновато, — отозвался я.

На комоде были разложены явно Витькины вещи. На подставке, изогнутой буквой «С», возвышалась черная пластмассовая подводная лодка, грозная своим стремительным видом даже в миниатюре. Небрежно валялись белые офицерские перчатки, которые самому Витьке в его звании и не полагались. Рядом стояла голубая «Спидола» и граненый флакон с оранжевой грушей пульверизатора. Из-за решетки «Спидолы» торчала фотокарточка, ажурно обрезанная по краям: хорошенький смеющийся чертенок-девчонка в короткой стрижке, растрепанной свежим ветром, в белом платьице и с босоножками в руке. Она стояла в накате волны, захлестнувшей пляжную гальку, а позади бурунилось и взмелькивало барашками бескрайнее море, и было оно не злобное, а только ветреное и солнечное. От этих вещей: подводной лодки, транзистора, фотографии приморской девчонки, от снежно-белых перчаток и даже от пузырька с резиновой грушей, который был пуст, но все еще источал тонкий праздничный аромат недавнего одеколона, — веяло иной, не здешней жизнью. Все это напоминало о далеких морских походах, свежих соленых ветрах, матросских вахтах, беспечных увольнительных на берег, когда перед тем в тесном и шумном кубрике старательно утюжились клеши, драились бороды и ботинки, одеколонились чубы и ленты бескозырок...

— Где служил-то парень? — спросил я через перегородку.

— А на Черном море. Сказывает, дюже красиво там. Целую сетку апельсинов привез...

— Повидал свет, стало быть.

— Да поглядел... В прошлом годи далеко плавали... Уж и

забыла, в какую страну... Одну-то помню — Болгария. Это что все помидоры оттудова продают... А ту — вот запамятовала, какая это земля. Снегу, говорит, совсем не бывает. Теперь, слава богу, дома... Да скоро сахар начнут давать. За свеклу. Малому костюм надо справить, — быстро переключилась она на свои житейские заботы — вот уж верно: пока баба с печи летит, семьдесят семь дум передумает. — Когдай-то он себе заработает, одно флотское на ем... За четыре-то года, поди, надоела казенная одежа...

— Зато девчатам нравится, — пошутил я, все еще стоя перед комодом.

— Да чтой-то не больно, гляжу я, с девчатами, — живо отозвалась она, и была заметна в ее голосе озабоченность и даже недовольство. — Третью неделю, как приехал, а — дома и дома... Все свое радиво крутит, балаболку-то эту... Правда, вчора ходил кудай-то... Аж утром пришел... Выпимши...

«Наверно, трудно было оторвать от себя такую...» — еще раз полюбовался я фотографией на «Спидоле».

— ...Он по радиву там служил. У ево это еще с мальства. Все, бывало, проволоки мотает и мотает... Теперь и не знаю, какую ему работу дадут тут... Тоже горюшко... Говорила, учись по отцову-то делу, уж на что лучше, каждому нужо́н...

— Это тоже нужная специальность.

— Да есть тут при районе радиво, дак туда бы...

— Радиоузел?

— Я не знаю... Кино объявляют да так чево... Посылала спросить, дак, говорит, нету таких местов, монтером только, по столбам лазить... А и по столбам что ж, ежели платют. Зато дома. И обстиран и обшит. Да и самой веселее. А то все одна и одна. В фэзэво учился — одна, да в армии четыре годочка... И старшая дочь пять лет как из дому. Жисть прошла — одна как палец. Я бы им и койку свою с периной отдала, — сказала она, пораздумав, имея в виду, должно быть, будущую невестку. — Живите. А мне теперь и на печке хорошо, таковская...

В сенях опять всполошилась курица, зашаркали ногами, послышались голоса.

— Ой, ктой-то еще идет, — хозяйка толкнула дверь навстречу.

— Можно к вам? — донеслось из глубины сеней.

— Заходитя, заходитя, — с готовностью отозвалась хозяйка, отступая от двери.

Мне было видно из горницы, как неуклюже протиснулась в кухню сначала женщина в васильковом плаще, державшая впереди себя одноручную корзину, а за нею и бабка, закутанная шалью, — те самые, что вместе со мной дожидались самолета. Пока они входили, до меня докатились волны холодного воздуха и запах сырой одежды.

— Здрасьте вам, — устало, расслабленным голосом поздоровалась женщина в плаще. — Да зашли на дымок. Связались с этим самолетом, сами не рады. Попутной давно бы уехали.

— Да и машины нынче небось не вот-то ходят, — тотчас сочувственно подхватила разговор хозяйка. — А у нас уже есть один человек, тоже дожидается... Да вы проходитя, проходитя, обогревайтеся, сейчас лавку ослобоню.

Звякнули ведра: хозяйка переставила их на пол.

— Гляжу я, что-то вродя знакомые будетя, — говорила она живо. — А где видела — не упомню.

— Да здешние мы. — Женщина достала из кармана плаща вчетверо заутюженный носовой платок, развернула его и принялась вытирать крупное и влажное лицо, помалиневевшее от уличного ненастья. — Цукановы мы, может, слыхали... Наливайки по-уличному, — добавила она.

— Ну-те, ну-те... — задумалась хозяйка. — Это что возле сельпа?

— Ага, ага... Домик ошалеванный.

— Теперь признаю... Старичок еще у вас хроменький.

— Да старичка-то уже нету. Год как помер.

— Ай-я-я... Скажи на милость... — вежливо сокрушалась хозяйка. — Царство ему небесное. Или болел чем?

— И не болел, в голову что-то вступило. В одну минуту прибрался.

— Ай-я-я... Да вы садитеся. Да корзину-то поставьтя, чего ж ее держать, надержались небось... Узё-ё! — прикрикнула она на поросенка. — Куда принюхиваешься, демоненок, не про тебя положено.

— Хорошенький кабанчик, — похвалила гостья. — Тьфу, тьфу — не сглазить.

— Да завела, пока того есть будем, — сразу озаботилась хозяйка. — А и морока в зиму заводить.

— И не говорите, — понимающе согласилась Наливайка-младшая. Теперь она с бабкой сидела на лавке и не была видна мне из горницы. — Ни травиночки, ни крапивочки, знай вари. Да и выпустить некуда.

— Ой и правда! А без него нельзя.

— Нельзя-я! — убежденно протянула Наливайка-младшая.

— Да все собираюсь позвать слегчить, пока маленький. Я кабанчиков чтой-то больше люблю.

Женщины, едва познакомившись, повели беседу с тем доброжелательным и чутким вниманием друг к другу, которое и теперь еще кое-где водится по укромным заповедным деревням.

— Свинка хуже, — продолжала поддерживать разговор хозяйка. — Свинка в тело идет — дай гулять, не жрет, с боков спадает.

— Дак и огулять, вот тебе и выгода, — возразила Наливайка-младшая.

— Ну ее. Натерпелась я раз, дак зареклась маток заводить, — отмахнулась хозяйка. — Вот так-то годов пять назад усходилась свинья, ревет, закуту роет... Дай, думаю, огуляю. Поросятки как раз в цене были... Ну-те... Побегла я в правление. А мне: не могем. Да как же так? А очень, говорят, просто: свинья частная, а хряк колхозный. Не могем дозволить. Да что ж, говорю, с ним сделается, с хряком-то?

Женщины рассмеялись. Рассмеялся про себя и я.

— Ой, лихо мое! — оживилась хозяйка. — Побегла я в Кудиново, там, может, думаю, договорюсь... И там от ворот поворот.

— Да пол-литра взять бы, — засмеялась Наливайка-младшая.

— Брала я. Как же теперь без поллитры. Брала. А и магарыч не помог. Нельзя, и все тут. Строгое указание, говорит, такое дадено.

— А и правда, было тогда, — смешливым голосом подтвердила Наливайка-младшая. — Скот води, да в оба гляди, чтоб не заедаться.

— Свинье не до поросят, коли заживо палят, — вставляла бабка. Говорила она редко и всякий раз со строгостью, но женщины рассмеялись ее словам, и хозяйка продолжала вовсе весело:

— И смех и грех... Да уж со свояком уложили ее в телегу, морду веревкой обвязали да тишкóм, огородами свезли ее в Малаховку да там и окрутили по знакомству. Да и то сторож за воротами хвермы стоял, караулил, как бы кто не нагрянул. А я-то сама сижу в сторожке, жду, пока свадьба-то кончится, а сама как на угольях: вот набегут, вот прихватят. Чего доброго, свинью отберут. — Хозяйка машинально ковырнула в печи ухватом. — А теперь и разрешили, пожалуйста, да не хочу. Благо ее вести на ферму-то. Далеко... Ну ее, кабанчик спокойнее.

— А зачем вести? — сказала Наливайка-младшая. — Вести и не надо. Теперь на дому можно. Аким Ваныча позвать, он все и поделает.

— Да как же это он сам? — стыдливо рассмеялась хозяйка.

— У него все для этого. В чемоданчике носит.

— Ой, да что ж это мы про такое! — спохватилась хозяйка. — Человек у меня в горнице. Вот послушает-то...

Женщины поутихли, хозяйка зачем-то сходила в сени, вернулась и уже потом, поостыв и опять взяв уважительный тон, сказала:

— А вы, стало быть, дочка с мамашею. Гляжу, дюже похожие.

— Ага, с мамашею, — томно, прочувственно вздохнула Наливайка-младшая. — Да надумали съездить к Ване. К брату моему меньшенькому. Ваня-то наш теперь в городе живет. Пусть мама побудет, пока ноги ходят. Квартира у него хорошая, детей пока нет... Дак и пусть поживет до весны, до огородов.

— А я к своей никак не соберусь. К дочке-то, к дочке... Тоже в городя, да больно далёко, аж на Урали.

— А наш тут, в области. Как отслужил действительную, побыл дома, поглядел и уехал. Не хочу и не хочу тут...

— Молчите... Не живут теперь молодые в семьях, — горестно подтвердила хозяйка. — Едут и едут, лишь бы со двора долой. Моя тоже: вербовка была на целину, заегозила: поеду и поеду. Подружки сговорилися, ну и она туды... Ни в какую. Чего, говорит, я тут сидеть буду. Молодость, говорит, моя проходит... Ну проводила. Платье ей в дорогу справила, кофточку шерстяную в городе на базаре по-дорогому взяла, туфли неодеванные положила... Из последнего собрала. Поехала. За Волгу кудай-то... А потом пишет в письме: чемоданчик украли.

— Да как же это? — ужаснулась Наливайка-младшая.

— А шут ее знает. Дура-то непужаная. Это они с матерью широкие, нос драть... Я так и охнулась: последние тряпьишки!

— Да чего там говорить...

— А тут к весне прикатила ее подружка, здрасьте вам, отец-мать, радуйтесь: пуговки на пальто не застегаются... Нацелинничалась... Ой, лихо мое! Это ж она про ихний бара́к и порассказала. Ухажеры со всего степу около того бараку.

— Да уж известное дело...

— Правда, говорит, которые самостоятельные, с понятией, дак те и замуж потом берут, погулямши. И домик им дают отдельный. Да как же, ничего не видемши, узнаешь, который с понятией, а который с безобразией на уме?

— Нету, нету у молодых строгости, — поддакивала Наливайка-младшая.

— Ой и натерпелася я с этой целиной! Да опосля, слава те господи, человек попался, забрал ее из того бараку. Работали у них приезжие, колодцы рыли, да один и присватался.

— Так, так...

— На Урал к себе забрал. Хоть и татарин, а пишет, ничего, смирный, уважительный. Двое детишек уже. Обошлося, как камень с души... А теперь вот Витькя, не знаю... Пишет ему одна, смущает малого... Глядишь, тоже завеется.

— И-и, да и пусть еде-е-ет! — нараспев высказалась Наливайка-младшая. — Малый — не девка... Вон Ваня наш... Что ж, говорит, я тут буду. И пять лет пройдет — Ванька, и десять — все Ванька. Деревня она и есть деревня. В одном звании... И верно, уехал, дак и живет теперь. До помощника

мастера дошел. Образованную взял... Одеты-обуты, этим летом вдвоих на курорт ездили, карточки прислал.

Помолчали, задумались. Потом хозяйка спросила:

— И не боитесь самолетом лететь?

— Да и лучше чем автобусом. С маминым ли здоровьем полдня по колдобинам трястись. Шестьдесят восемь годочков ведь. Самолетом спокойнее.

— А я — убей, не сяду, — с веселым испугом воскликнула хозяйка, как-то легко переключаясь от озабоченности на шутку. — Да как же это лететь — кругом пусто? Лучше пешки добегу.

И опять неожиданно, как тогда, на аэродроме, в корзине гаркнул гусь, да так оглушительно, так звонко, что эхо отозвалось в пустых ведрах. Поросенок всхрюкнул и примчался ко мне в горницу с ощетинившимся загривком.

От гусиного вскрика на кровати заворочался Витька, потянулся, высунул из-за полога ногу в полосатом носке.

— От скаженный, — обругала гуся Наливайка-младшая. — Да везем Ване, к Октябрьским. Хотела зарезать, а мама: не улежит до праздников. Говорит, давай живого свезем. У них там гараж есть, в гараже пока побудет.

Гусь забил крепкими крыльями по ивовым стенкам и еще раз кегекнул, на этот раз надломленно и безнадежно.

— Стомился, бедный, — пожалела хозяйка. — Пущай походит, промнется.

— Это ж надо корзину расшивать, — заколебалась Наливайка-младшая. — А вдруг самолет?

— Да долго ли обратно запихнуть. Я ему зернеца сыпану.

— Обойдется не гулямши, — строго определила судьбу гуся бабка, и женщины перешли судачить на другую тему.

Витька окончательно проснулся, отвернул полог, выглянул в горницу. Был он еще по-южному смугл, черные вихры неприбранными завитками клубились над крепким скуластым лицом. Заспанно сощурясь, он посмотрел на серое окно, на меня и, не поздоровавшись, потянулся полосатой тельняшечной рукой к брюкам на стуле, за папиросами. Он курил, мял зубами папироску и, глядя куда-то поверх меня, с молчаливым бесстрастием слушал разговоры на кухне.

За окном мелькнуло красное, хлопнула сенешная дверь. В кухню кто-то вошел, вытирая, зашаркал у порога ногами.

— Заходи, заходи, Вер, — заприглашала хозяйка.

— Вы еще не истопились, здравствуйте, — послышался голос с приятной напевенкой.

— Что раздетая, дош вон какой.

— Уже перестал, туман только. А я нынче хлеб пекла. Надоел покупной, кисёл, меры нет. Своего захотелось. Нажарилась возле печки, дак и тепло.

— Или выходная, хлеб затеяла?

— Кой выходная. К двум часам бежать. Лектор какой-то

приехал, дак клуб прибрать надо. Вчера танцы были, затолкли, лопатой не отскребешь.

— Теперь заненастилось, не намоешься. Да ты проходи, проходи, — опять заприглашала хозяйка. — А я дак еще не прибиралася, ералаш в хати.

— Да нет, теть Усть, я на минуточку... Я чего... Радио что-то замолкать стало. От дождя, что ли. Слово скажет — два молчит... Зашел бы Витя глянуть, чего оно...

— Да он спит еще. Вчера натанцевался.

— Я глядела, не было его в клубе.

— Да ты пройди побуди.

Витька придавил о пол папиросу, задернулся пологом.

— А я вижу, кто-то в окне, думала, Витя, дай забегу спрошу. А если спит, дак чего ж...

— Погоди, я его сама побужу, — готовно сказала хозяйка. — Хватит ему...

— Ой, не надо, теть Усть, — горячо запротивилась Вера. — Вы уж потом передайте. Да и не к спеху. Как будет время, так пусть и зайдет... Побегу я.

— Да сидела б... — не отпускала хозяйка. — Щас самовар поставлю. Вчерась бегала в сельпо, дак мед с сотами был, полкило взяла...

— Спасибо, теть Усть, бежать надо. Гладить затеяла.

Вера ушла, опять промелькнула под окнами жарким платьем. Витька полежал еще за пологом и снова высунулся.

— Соседка наша, — пояснила хозяйка. — Девушка еще... Не забыть Витьке сказать, чтоб сходил починил... А и будете, бабы, чай пить, самовар поставлю? — предложила она с лихой бесшабашностью. — Все одно сидеть...

— Да когда уж теперь, — сказала Наливайка-младшая.

Витька встал — крепкий, кряжистый, с сильными скошенными плечами, бедра плотно обтягивали синие трикотажные полуплавки с красной окантовкой, — натянул флотские брюки, обулся. Потом отвернул полог, сдернул с гвоздя бушлат, громыхнувший латунными пуговицами, набросил его внапашку. Уже одетый, закурив еще раз, он вышел.

— Вить, а тут Вера заходила...

— Слыхал, — буркнул Витька.

— Радиво у них чевой-то...

Витька не ответил, шагнул в сени. Дым от папиросы протянулся за ним из самой горницы.

— Сын? — уважительным полушепотом спросила Наливайка-младшая.

— Сыно-ок, — вздохнула хозяйка, и были в ее голосе и гордость, и растерянность перед непонятным Витькиным молчанием. — Вот демобилизовался... Дома теперь...

Потом они еще о чем-то судачили, и было слышно, как весело зашумел самовар.

В окно я увидел Витьку. Он стоял, прислонясь спиной к палисаднику, засунув руки в карманы и растопырив локтями накинутый бушлат. Время от времени над его кудлатой головой взвивался дымок папироски.

Дождик, наверно, и вправду поутих, потому что заметно посветлело, и был теперь виден не только колодец под бугром, но и бурые чащобы камышей за ним и даже тот берег с окраинными домами заречной улицы. Только пахота на бугре за избами еще размыто синела.

По той стороне, полевой дорогой, мимо намокших, резко желтевших скирдов новинной соломы, плелась подвода, и было видно, как лошадь усердно мотала головой, помогая себе тащить телегу. Витька долго следил за нею, потому, должно быть, что ничего живого не попадалось на глаза и глядеть было не на что.

Глядел на телегу и я... Вдруг Витька обернулся и закивал мне, замахал рукой. Я было не понял, в чем дело, но тут и сам за разговорами на кухне, за шумом самовара услыхал глухой и ровный гул самолета.

В доме сразу все всполошились. Хозяйка прибежала с моим пальто, просохшим, с горячей подкладкой, потом побежала помогать Наливайкам, сама же подхватила корзину и потащила в сени.

— Ой, леший! Да что ж он так-то налетел, — приговаривала она. — Чаю не попили.

— И на том спасибо, — выходя, ссутулилась в низких дверях Наливайка-младшая. — Заходите когда...

— Да вы горóдами, горóдами бегите. Тут ближче...

Самолет, развернувшись над селом, серым кургузым саранчуком промелькнул за деревьями и пал где-то в поле.

Уже за сараем я торопливо сунул руку хозяйке, она, простоволосая, с откинутым на плечи платком, тревожно озабоченная тем, как бы мы не опоздали, неловко подала мне свою маленькую, неприятно жесткую и сухую руку и, приговаривая: «Вы уж извиняйтя... Заходитя...», — растроганная не расставанием с нами, а скорее самой процедурой прощания, стыдливо и смущенно завлажнела глазами. Я взял у Наливайки-младшей корзину с гусем, и мы пошлепали торопливым скользучим бежком по раскисшей огородной тропке — я, за мной Наливайка-младшая и уже за ней, растопырив руки, толсто закутанная бабка.

— Час вам добрый! — кричала вослед нам от сарая хозяйка. — Ох, лихо мое!

3

К самолету никто не опоздал: в полутемном железном чреве кабины уже сидели и лейтенант со своей попутчицей, оживленной предстоящим полетом, и гражданин с ревизорским

портфелем, и те две девчонки в высоких копноподобных прическах. В овальную дверь было видно, как внизу, возле стремянки, покуривая и часто сплевывая, нарочито налегая на матерок, панибратничал с пилотами аэродромный диспетчер. Наливайки сели в конце на разных скамейках, и когда самолет взревел, задрожал всем телом и помчался, они, грузно припечатанные к сиденью, уставились друг на друга, окаменело переживая оторопь.

Сначала за окном струилась близкая трава, потом она незаметно отступила вниз, стала полем, самолет накренился, поворачивая, земля резко провалилась, и в этом провале, в буром разливе камышей оловянно заблестела кривулистая речонка. Мы летели над долиной Варакуши, ближе к левому ее косогору, и вскоре внизу поплыли четкие квадратики дворов. Я даже разглядел сруб колодца под кручей с нитками тропинок, веером протянувшихся от него к избам, и, мысленно пробежав по одной из них, отыскал по вялому, затухающему дымку над соломенной крышей Витькину избу. Разглядел и неубранную грядку капусты, и сарай, и ворошок хвороста во дворе...

А еще успел разглядеть черное пятно перед палисадником, и я догадался, что это все еще стоит на улице Витька. Мне показалось, что мелькнуло его запрокинутое лицо — светлое пятнышко на темном фоне бушлата: должно быть, он глядел на самолет. И то, как от соседнего дома отделилось красное и двинулось навстречу Витьке...

Самолет забирал все выше, и стало видно далеко окрест: неоглядно простирались ухоженные поля — зеленые и черные, с пятнами скирдов на взметах, с жирными полосами дорог, разумно обходивших овражки и кочковатые низины, пестрая россыпь коров мелкой галькой виднелась на яркой озими... Сама же деревня, вытянувшаяся двумя долгими улицами по обе стороны Варакуши, под конец смешалась и разбрелась домами, и это был уже сам райцентр. Я отыскал базарный майдан с белой церквушкой, заезжий дом рядом с нею, где провел четыре командировочные ночи, и розовый брусок школы по другую сторону площади в окружении серых безлистых садов. За школой широко белела вода местной Рицы в голых глинистых берегах. Своими очертаниями пруд походил на балалайку, основанием которой служила ровная грядка плотины, а грифом — втекавшая в него Варакуша. С высоты все это казалось ничтожно малым, игрушечным, каким-то воплощением суеты сует. И только сама земля с высоты становилась еще шире и беспредельней.

И опять в корзине забился и закричал гусь, и все повернули головы, обрадовались происшествию, снявшему тягостное напряжение полета, засмеялись, заговорили. Покраснев, деланно заулыбалась и Наливайка-младшая: ей было неловко, что она везла такую беспокойную ношу. На крик гуся высунулся из

служебного отсека пилот, широколицый, густобровый, в лихой аэрофлотской фуражке с эмблемами.

— Это у кого такая веселая закуска? — спросил он, оглядывая пассажиров.

Все уставились на бабку.

— А ну, давай, старая, шуранем его за борт, — сказал летчик. — Эх и полетит!

— И ее заодно, чтоб знала место, — желчно буркнул гражданин с портфелем. — Совсем обнаглели...

Наливайка-младшая побагровела от смущения, маленькие глаза ее замигали, но бабка даже не повела бровью.

— Ничего, мать, — летчик блеснул белозубой улыбкой. — Давай действуй... Гусь — это штука!

Все рассмеялись, он подмигнул и захлопнул за собой дверь.

Под крылом пластались дымные космы тумана, и вскоре самолет нырнул точно в вату — во что-то белое и глухое...

И УПЛЫВАЮТ ПАРОХОДЫ, И ОСТАЮТСЯ БЕРЕГА

1

После того как вешние шквалистые ветры разгонят остатки льда и острова оденутся зеленью, сюда начинают частить нарядные многопалубные теплоходы — одни со стороны Свири, другие от Вытегры и Повенца. В распахнутые окна кают вдруг свежо и властно дохнет большой водой, и пассажиры посыплют на палубу любоваться Онегой, смотреть, как утонувшее солнце бежит где-то совсем близко за краем воды, будоража задремавшие облака и самую воду чуткими всполохами. В разгар белых ночей далеко видать окрест: и тихие всплески рыб, и призрачные гривы отдалившихся берегов, и то, как за кормой по огнистой засмиревшей глади тянется вспаханная кораблем фиолетовая дорога. Каютные люстры погашены, оставлены только сигнальные фонари на мачтах, приглушенно урчат мощные дизели, и кажется, будто корабль не просто плывет своим обычным рей-

сом, а осторожно пробирается в самое сердце чуткой северной ночи. И все парят позади бессонные чайки, летят за теплоходом от самой Вытегры или Петрозаводска, кружат молча, без обычного дневного галдежа, словно и они не решаются нарушить ночное таинство воды и неба.

А утром Онегу уже не узнать: очнулась, зашумела, заходила широкими размашистыми валами. Под засвежевшим ветром порывисто летят тугие грудастые облака. Они рождаются где-то в одной точке горизонта и, растянувшись через весь небосклон лебедиными вереницами, опять слетаются по другую сторону в плотную синеющую стаю. Облака обгоняют теплоход, тенями накрывают встречные острова, и уже различимо, как на одном из них встают нерукотворным дивом седоглавые храмы. Остров невысок и безлесен — узкая, едва приметная полоска земли над вспененными водами, и чудится, будто храмы вырастают, поднимаются из бегущих валов, из самых глубин расходившейся Онеги. Теперь уже и простым глазом видно, как многоярусные шатры и маковки церквей чутко откликаются на переливчатую игру ветреного неба. Срубы то золотятся под брызнувшими лучами, то, когда набежит облако, снова суровеют, прячут свою минутную улыбку в строгую седину.

Теплоход, разворачиваясь, подбегает широким полукружьем, бодро трубит бархатистым кличем — приветствует остров, и ждешь, что вот-вот встречный град грянет ответно в запальные пушки и ударит в веселые звоны.

Но остров молчит, серые теремные храмы, не замечая белопалубного гостя, в раздумье глядят поверх его мачт в какие-то дальние дали, и немы их распяленные временем колокола... И, подчиняясь этому безмолвию древнего погоста, что уже вознесся стенами над кораблем и рассекает маковками наседающие на него косяки облаков, постепенно стихает суетный гомон на палубах. Пассажиры молча грудятся у правого борта, щелкают фотоаппаратами, торопливо ловят набегающий берег в окуляры биноклей и дымчатых очков.

Судно же тем временем, уняв машины, бесшумно сближается с пристанью, матросы вяжут чалки, налаживают трап, и публика нетерпеливо выплескивается на дебаркадер. Сбегают по сходням полосатые пижамы, пестрые куртки с капюшонами и без капюшонов, шумные шуршащие болоньи, молодцеватые округлоплечие свитеры... По длинным лавам, выстланным на сваях от пристани к берегу, над зеленой стоялой водой, над осоками сходят на островную твердь и с выражением чинного умиления принимаются озираться вокруг.

Рейсовый массовик-затейник велит всем ожидать тут, на берегу, сам же озабоченно и всезнающе бежит в гору в музейную конторку — договариваться насчет экскурсии. От нечего делать публика разбредается по берегу, читает всякие надписи и указатели, разглядывает причаленные туземные лодки или просто

смотрит, как плещется усталая озерная волна на дробном береговом камешнике.

Неподалеку под сенью лозняка виднеется свежая глина вперемешку с голышами. Время от времени над ворохом выброшенного грунта вскидывается лопата, и с нее срываются и летят в кусты блинчатые ломти. Бредут смотреть, что там такое, и, обступив яму, с любопытством заглядывают внутрь: в виду музейных храмов все на этом острове обретает особый смысл и значение.

В яме, уже отрытой метра на два в глубину, мелькает донышко суконного флотского картуза, обсыпанное глиной. Серая рубаха, выпростанная из штанов, мокро темнеет на спине. Грунт каменист, неподатлив, желтеющие стены до самого дна зияют вмятинами от вывороченных голышей. Когда лопата натыкается на очередной булыжник и начинает скоргыкать, публика заинтересованно нагибается над краем, стараясь уяснить, что за камень, велик ли и нельзя ли что-нибудь посоветовать.

— Подрой, подрой его сначала...

— Да не так, ну зачем же...

— Ничего... Не впервой, — доносится голос снизу. — Дело пустяшное.

— А нет ли лома? Ломом куда удобнее. Ломом поддеть можно.

— Мы его и так вызволим, дак... Не велик барин.

Человек в яме, польщенный вниманием, азартно поплевывает на ладони и всякий раз, налегая на лопату, как-то отчаянно хоркает горлом, разом выдыхая из себя воздух.

— Что здесь такое? — Это набегает новая партия любопытных.

— Что-то копают...

— А вы знаете, — замечает почтенного облика мужчина с доминошной коробкой в пижамном кармане, — прошлым летом я был в Керчи, и там тоже копали и нашли старинные сосуды. Говорили, что очень ценная находка.

— С монетами?

— Нет, монет не было. Просто посуда. Но ей две тысячи лет. Я сам видел: очень хорошо сохранилась.

— Да, но там был раньше греческий город.

— А тут тоже место историческое.

Камень наконец выворочен, человек поднимает его на грудь и, осыпая на себя глину, выталкивает на бруствер. Какой-то малец в голубой матросочке и с биноклем на шее (юный землепроходец) забрался на глиняную кучу и, присев на корточки, пробует заглянуть оттуда в яму.

— Вовик, Вовик! — пугается его бабушка, еще весьма сохранившаяся дама в темных очках и коротковатой юбке. — Слезь сейчас же!

— Я тоже хочу смотреть! — надувает губы Вовик.

— Не выдумывай. Ты же свалишься.

— Не!

— Присыплю землей, дак... — остерегает голос снизу.— Не то лопатой задену.

— Вот видишь! Я же говорю, не подходи близко!

— А зачем он копает? — допытывается малец.

— Ты же слышал, дядя ищет исторические находки.

— А какие они, эти находки?

— Всякие...

— Ну, бабушка! — упрямо канючит малец. — Какие всякие?

— Перестань, пожалуйста! И не пачкай руки.

Человек в яме выпрямляется, сдвигает картуз на затылок, открывая дробное безбровое лицо с детским вздернутым носом. Из-под замусоленного околыша мичманки, подпираемой как-то врастопырку торчащими ушами, выкатываются обильные горошины пота, путаются в давно не бритой стерне, местами сивой, сквозящей темными заветренными скулами.

— С какого теплохода? — интересуется он и живо перебирает глазами обступившую публику.

— С «Ивана Сусанина».

— Ага! — кивает он, и лицо его, похожее на лицо внезапно состарившегося ребенка, осеняется участливой радостью. — А я слушаю — по гудку вроде бы он, «Иван Сусанин». А он и взаправде... Закурить имеется?

Ему протягивают сразу несколько пачек. Человек суетливо обтирает руки о штанины и неловкими короткими пальцами, виновато напрягшись, берет у каждого по штучке. Из последней же пачки торчащую сигаретину вытаскивает деликатно вытянутыми губами...

— Из Москвы, стало быть... — говорит он в нос, подрагивая в деревянно-онемевших губах сигаретой. — Добро, добро! Идете аж из Москвы? — изумляется он и тут же одобряет: — Места у нас занятные, дитю тоже развлечение.

Он бьет себя по карманам, выслушивая спички, но кто-то уже чиркает зажигалкой и опускает огонек в яму. Человек спешит дотянуться до зажигалки, невпопад тычется сигаретой в огонек, и уши его шевелятся при каждой затяжке. Наконец прикурив, он расслабленно опускается на пятки и признательно мигает заслезившимися от дыма и неловкой позы глазами.

— Только вам надобно итить к погосту, к церквям, — говорит он, окутываясь дымом. — Потому как дело мое обнакавенное и никакого для вас интересу. Ежели по-хлотски разъяснить, дак вся и затея, что гальюн будет. А вам надо вон по той дорожке итить.

Мужчины наверху конфузливо хохочут и переводят дамам, не понимающим по-флотски. Лицо человека в яме тоже сжимается в робком ответном смешке, и оно делается похожим на кисет, сдернутый шнуром: уши отпрядывают к затылку, щеки обклады-

ваются ломкими складками, глаза тонут в лучиках сухих морщин.

— Оно конешно, и без этого никак нельзя, — спешит поправить он неловкость. — Без такой справы и глядеть ни на чего не захочешь...

— Вовик! — Дама-бабушка ловит мальчика за руку. — Идем, детка.

Публике делается неловко стоять и глядеть, как роют такую прозаическую штуку, интерес к яме сразу пропадает, и все возвращаются к дебаркадеру.

Человек в яме плюет на ладони и принимается долбить глину.

2

Савоня объявлялся на острове с первыми теплоходами и, как зяблик, исчезал внезапно с осенними холодами.

Он не имел здесь никакого твердого занятия, не числился ни в каком штате, и то, что ему выпала эта нехитрая и краткая работа — вырыть яму под лозняком, — было дело случайным. Появлялся же он здесь по потребности своей тоскующей и общительной души, как заводятся обычно на Руси такие люди подле шумных и толкучих мест.

Когда на Онеге уже все приобрели лодочные моторы, Савоня все еще ходил под ушкуйным парусом, скроенным из зеленого райпотребсоюзовского брезента, но потом и он у какого-то теплоходного механика раздобыл себе моторишко и приспособил на собственного производства вместительную посудину с высоко вздернутым носом наподобие старинных новгородских ладей. Теперь уже, садясь в лодку, он приторачивал свою мичманку ремешком под подбородком, говоря при этом с серьезной гордецой: «Не то ветром сорвет, скоростя теперь вон какие!» И даже иной раз пробовал тягаться с самим «Метеором» на подводных крыльях, набегающим в здешние шхеры с туристами из Петрозаводска.

У него есть собственный прикол на острове в камышах невдалеке от погоста. Савоня привязывал за колышек лодку, выходил из камышей на берег и усаживался в одиночестве на сосновый комель, вкопанный у раскурочного места, где в неспешном созерцании вод и дальних берегов выкуривал одну за другой несколько тоненьких, быстро сгоравших папиросок «Север». Теплоходы он различал еще издали — кто плывет и откуда, — знал их поименно, по имени же и отчеству знал многих капитанов и механиков. Когда теплоход подворачивал к пристани, Савоня плевал себе на пальцы, тушил папироску и спешил к дебаркадеру. «Прибыл, Степаныч? — кричал он по-свойски знакомому капитану на мостик. — А я тебя аж вон игде заприметил. Ну и махина теперь у тебя, Степаныч! — разливался он в счастливом смехе и похлопывал ладошкой по холодному телу новенького теплохода. — Дворец, а не пароход. Высоко теперь стоишь, как на престоле!»

А бывало и так, что Савоня запускал свою моторку и выходил встречать теплоход еще на подходе к острову. Он выстраивал свою ладью нос с носом, старался держаться вровень и, покачиваясь в теплоходных усах, кричал какому-нибудь Петровичу или Савельичу: «А я гляжу, идешь! Ну и шибко бегаешь, братка! За минуту где был, а уж вот он ты, подваливаешь! Бензинчику не отольешь ли маленько? А то свой уже начисто поизрасходовал. Жрет моя холера во все заверти. Ремонт думаю давать, а то не напасешься!.. Ты-то свою подремонтировал, подкапиталил? Ага, добро! И флаг, гляжу, новый навесил. А то прежний совсем пообтрепался. А и шутка ли — аж до самой Астрахани бегаешь. Ну заходь, заходь, передохни малость, покурим, дак...»

К старым своим знакомым Савоня и вправду захаживал на мостик и покуривал там на важной высоте среди барометров и компа́сов и даже, случалось, угощался капитанским коньяком, который отпивал маленькими глотками, и все посматривал через стопку на блеклое олонецкое солнце, удивляясь золотой игре пития. «А все ж, я тебе скажу, водка получше будет, — заключал он и выпивал остальное одним глотком. — Здоровее. Правда, не всякая. Ежели на посуде дерево пропечатано, эту не пей, эта из дерева и есть. Сучок называется, потому что из сучков, из обрези гонится. А на которой красный бык натопыренный, вроде как боднуть хочет, — та взаправда водка, та бодается добро! Под самый радикулит! — Савоня заливается дробным смешком и добавляет: — Да и то набрешут, нынче в торговле мастаки врать: этикетку наклеют правильную, а в бутылку дурнины какой нальют. Это сколь хошь! У меня раз было...» Савоня самое настроился побеседовать; но у капитана оказался какой-то спешный недосуг, он пожимал Савоне руку и неторопливо говорил: «Ну, будь здоров, будь здоров... Ага, давай... Служба, понимаешь...» — «Дак ить как не понять!» — согласно кивал Савоня и, довольный угощением, ковылял к трапу.

После такого визита на мостик Савоня, распираемый потребностью поговорить, увязывался за экскурсией и плелся за толпой по острову, улучая момент и самому что-нибудь пояснить и порассказать приезжим людям. «А это только говорится, что без гвоздей, — заводил он беседу, топчась за спиной у экскурсантов. — Когда эту церкву перекрывали, ящиков с двадцать поколотили пятидесятки. Дак, а пошто возиться, крепить лемех на старый манер, все едино снизу не видно, глянь, какая высота. Не-е, гвоздя там много побито! Оно, конечно, занятней, ежели сказать, что без гвоздя, больше удивляются. А прежняя кровля, верно, та без единой железки держалася, что правда, то не совру».

Администрация, дознавшись про Савонины «антинаучные измышления», одно время даже запретила ему появляться на музейной территории, и он после того куда-то исчез и пропадал все лето. Лишь потом прослышали, будто гостевал у своей дочери. У него действительно была дочь, и притом, как рассказывают,

красавица. Были у него еще и два сына, но те заехали куда-то еще дальше, младший оказался аж на Тихом океане, служил на китобойных кораблях.

Нередко выпадало Савоне покатать на лодке теплоходную публику. Катал он охотно, лихо, счастливо расплывшись курносым лицом, что-то выкрикивал в моторном реве, катал с головокружительными разворотами, поднимая столбы брызг и вгоняя мотор в чих и кашель, пока тот, случалось, не замолкал середь воды. «Это ничего, это мы наладим!» — кидался он к двигателю и начинал суетливо что-то отвинчивать, продувать, сушить на спичке свечи и опять отвинчивать, накидывая вокруг себя все больше железок и винтиков, в то время как лодку сносило невесть куда волнами и ветром. Под конец он отступался, рассовывал детали по карманам и смущенно, ни на кого не глядя, бросался на весла. «Незадача вышла... — оправдывался он, глядя, как молча и отчужденно выпрыгивали на ближайший берег продрогшие, синелицые туристы. — Буду капитальный ремонт давать, дак...»

За такое гондольерство Савоне перепадал рублишко, а если катание сходило гладко и клиенты попадались веселые, то кроме денег бывало и угощение в дебаркадерном ресторанчике. Подвыпивший Савоня норовил запеть. Голосом он вовсе не обладал, а только наговаривал песню торопливым словесным бежком, тут же отвлекаясь и давая пояснения к тексту, и лишь самый конец куплетов пытался тянуть жестяным дребезжащим тенорком: «Не вечерня заря да спотухалася...». Это надо тянуть одним голосом, одним, понимаешь ли. «Полуношна звезда высоко взошла...» И вдруг, весь покраснев и надувшись худой жилистой шеей, истово выкрикивал:

Высоко взошла-а-а, ах да светло... да светло-ясная-а-а...

В наступавшей затем паузе Савоня поднимал указательный палец к потолку и, оставаясь так с воздетой рукой, как бы не дозволяя никому говорить, перебивать, поочередно и вопрошающе заглядывал в лица слушателей. И, чем-то удовлетворившись, опускал руку и продолжал: «Это уж хором, хором поется: «Высоко взошл-а-а, ах да сыве-е-етла...» Но буфетчица, тучная тетя в наколке, грубо обрывала его, требовала, чтобы он не нарушал порядка в общественном месте, и Савоня, осекшись и как-то опав плечами, виновато говорил: «Нельзя, дак и ладно. Можем помолчать...» Он строжал лицом, безброво насупливался, вставал и, обходя стол, церемонно, со значением протягивал всем руку для прощанья: «Премного благодарим за компанею. Домой пора, однако...»

Но домой он не ехал, а, реализовав заработанный рубль у буфетчицы, которая долго отпихивала смятую в комок потную бумажку, все не хотела отпускать, под конец отпускала-таки с брезгливой неприязнью. «Надоел, хуже смолы...», — переливал куп-

ленные сто двадцать граммов из казенного стакана в свою карманную посудинку и шел к лодке, запрятанной в камышах. «Ты мне не указ, чтоб не петь, — распалялся он дорогой. — Я больше забыл, чем ты знаешь, дура напудренная. Петь мне никто не запретит, нету такого права». Складным ножичком он нарезал охапку сырой пахучей осоки, стелил на дно своей ладьи, допивал водку, ложился навзничь и уже здесь, на воле, скрытый от всех стеной зарослей, услаждал себя не допетыми в ресторане песнями:

Не вечерня заря ох спотуха... да спотухалася-а-а...

Пел он тихо, про себя, под конец и вовсе без слов, одними только мыслями и, хмелея, проваливаясь куда-то, бездумно глядел на четкие и строгие силуэты церквей, возвышавшиеся над ним против ясного закатного неба.

3

Обитал Савоня на одном из островов Малой Онеги. Места те, и теперь еще привольные — лесные, с укосистыми опушками, с рыбными лудами, в послевоенные годы, однако, поизредились жителями. Самый кряж, основа всему, мужики, остался в большинстве своем лежать на обширных и безвестных военных полях, старики повымирали, редко какой еще торчит трухлявым пнем, молодые же начали сбиваться от островной затворной жизни куда пошумней, поинтересней: в Мурманск, Петрозаводск, иные и того дальше. «На островах любо, да безденежно, — говаривал, смеясь, Савоня. — Я бы и то утопал куда ни есть, да поранетая нога раздогону не дала. А чé? На топор я шибко востер да ловок был. Где хошь подвинулись, место ослобонили б... А теперь и не к чему бежать, жисть прошла. И так ладно».

Теперь уж немногие помнят, как на троицу сорок четвертого об двух костылях, с тощим вещмешком за плечами, в котором погромыхивали два кирпича ячневого концентрата, кисет сэкономленного пиленого госпитального сахару да топор, выменянный у одного дедка в Ярославле, где пребывал на излечении, Савоня сошел на отчий берег.

Жена Ульяна и подросшие ребятишки ударились было в рев, но Савоня от слезы удержался, а, наоборот, что-то сбалагурил и притопнул костылями: «Али и вовсе негожий, ревете, дуры! На войне и промеж глаз попадает...» И, выкладывая скудный гостинец, прищелкнул ногтем по топору, по широкой захватистой пятке, показал звон: «Глядите-ко, с медалями».

В те времена на острове еще держался кое-какой нестандартный народишко, а за ним числилась прежняя довоенная колхозная бригада. Савоня, как недавний солдат назначенный бригадиром, а заодно и управителем острова, самолично взялся ру-

бить овчарню под шубных овец, которых на острове пока еще не имелось, но коих предписано было разводить, чтобы за деревней значилась общественная забота. Зиму валил он лес, весну и лето с двумя стариками тесал запасенные бревна на стояки и простенки, а следующую весну приступил к поставу. Но пока вязал первые венцы, один старец послепу сбрушил долотом себе руку, другой и вовсе помер — от подъема ли тяжелого, а может, и сам по себе от ветхости. Мужской замены им не нашлось, и Савоня занарядил на эту работу всех учетных баб и свою жену Ульяну. Еще с год проканителились они с овчарней, с одного боку даже дотянули до стропил, но тем временем разводить шубных овец на острове отменили, посчитали делом невыгодным, а дали задачу гнуть обозные дуги, заготавливать кровельную щепу, вязать метлы, а заодно и запасать грибы. Но и эту нетрудную подать справлять было уже некому, так как остров к этому времени и вовсе обезлюдел. Подросший было табунок девок и ребят как-то незаметно разлетелся: кого подобрали в армию, кто подался в ФЗО и леспромхозы, а кто и самовольно улепетнул в неизвестные места без справок и Савониных полномочий. Савонины сыновья тоже не засиделись: один ушел в армию, во флот, другой — по набору на фабричное обучение. Незаметно поднялась и последняя девка Анастасея, завздыхала и тоже запросилась из дому. Прикинул Савоня женихов в деревне — никого, примерялся к соседнему острову, и там тоже, выходило, ни единого. Может, в каких деревнях на материке и были, да не искать ветра в поле, и отпустил с миром девку, собрали с Ульяной ей подорожный сундучок. «Я как царь без царства, — разводил руками Савоня по поводу своего бригадирства. — Власть дадена, а судить-рядить некого. Во дела!»

Лет десять уже тому, как остыла на ряпушной путине Ульяна. Обхаживала ее по прежнему обычаю местная лекарка бабка Марья, отпаивала травами, что-то нашептывала в подпечье. Но Ульяне становилось все хуже и хуже. Следовало бы вызвать настоящего лекаря, да ведь какие на острове телефоны? Мотора об ту пору и то ни у кого не было, чтобы сесть да на моторке слетать за доктором. Одно слово — остров...

Хотел было самолично везти Ульяну в неближнюю больницу, но бабы всполошились, отсоветовали: куда, мол, по такой невзгоде, затрясет, заболтает на волнах, вконец застудится. Да вскоре и попрощалась бескровными губами, отошла...

На другой день гроб, сбитый из отодранных на повети досок, несли на островной погост все наличные жители деревни, так что позади никто не шел, не голосил, некому было. Передние углы поддерживали две Ульяновы одногодки-соприятельницы, безмужние солдатки, сзади домовину подпирала бабка Марья и он сам, благо что легка была покойница, в половину прежнего. Шел, ничего не видя, невпопад тычась скрипучим костылем в неезженую, затравеневшую дорогу. За его спиной шлепался, тянул к земле

заткнутый за пояс ярославский топор, который прихватил заколотить могильные гвозди.

Хмурым небом низко летели журавли, вскрикивали прощально. За проливом, на соседнем острове меж сизой ратью ельника проступили пожелтевшие березы. Онега, предзимне темнея, валко ходила меж островами. А здесь, на берегу, пустынно немела деревенская улица. Не гомонили на ней, как прежде, мальцы, не тюкали топоры у поленниц.

Савоня, потерянно возвращаясь с кладбища, проковылял вдоль посада, постоял в онемелом бездумье середь дороги, свернул в прогон между заколоченными избами. Костылем задел вымахавший на тропе можжевеловый кустик, чуть было не упал и, неприязненно удивившись побегу, хватил под него топором. Через несколько шагов встретил малолетнюю елку, рубанул и ее. Кинул взгляд на огороды, на сенные деляны, а там полно колючей молоди. И, уже не запихивая топор за опояску, а держа его на изготовку, запрыгал по пустырям, ударился валять направо и налево наседавший на деревню лес. Рубился со злостью, с матюками, в кровь изодрал руки, где-то потерял шапку — будто на Куликовом поле.

Шедшая к Савоне поприбрать в дому после покойницы бабка Марья остановилась, оперлась на клюку, уставилась на странное дело.

— Ушла жисть, так чего уж... Ты б, воитель, сплавал-то, коль делать неча, в Типиницы да привез бы мне карасину. А то зима заходит, вослеп насидишься.

Зимы в Заонежье долги и глухи. Трещат на морозе избы, метет проливом поземка, застит соседние заиндевелые острова. День брезжит невнятно, размыто, и уже часу в третьем ползут из запечья вкрадчивые сумерки. А в пять окно уже кромешно темно: к нему припала и пристально и одуряюще тягуче глядится немая онежская ночь. Ни пароходного вскрика, ни заезжего гостя — мертво до самой весны, пока не сломается лед. Долгой, как век, показалась Савоне та зима без Ульяны, некому слова сказать. Отлежал все бока в немом коротанье, порос бородой и, едва дотерпев до чистой воды, наладил парус и укатил к пристаням, на люди. Корабли подваливали к погосту, большие и малые, трубили на все лады, сходни муравьино кишели приезжим народом — другая земля! Была при Савоне скопленная пенсия, всю спустил до копейки. Угощал каких-то матросов, механиков, неизвестно откуда взявшихся земляков, кричал кому-то, обнимая: «Ты мне друг аль нет? Друг, говори? Тади достань мотор и лодку. Нету мне никакой жизни без нево. А иконку — это пожалуйста, это я для тебя доставлю, раз интересуешься. Это пустое». И, стукнув кулаком по ресторанной столешнице, заводил ломким дребезжащим голоском:

Какая на сердце кручина,
Скажи, тебя кто огорчил...

Зачастил Савоня к погосту, а заодно то иконку с собой прихватит, то старый рушник, то туесок обветшалый. Спрашивают люди, почему ж не уважить? За ценой не стоял, больше дорожил компанией, застольной беседой. «У нас этой истории навалом, — говорил он. — Сколь времени копилось, дак...» Сначала подбирал всякую рухлядь в собственном дому, а когда запасы поиссякли, стал заглядывать в чужие брошенные хоромины, покинутые со всем обиходным скарбом — с горшками в печах и святыми угодниками по красным углам.

Этот никчемный товаришко разбирали у него на удивление бойко.

4

Савоня подчищает дно ямы, хозяйственно оглядывает свое творение и по выдолбленным в стене печуркам выбирается наверх. Там он усаживается на бруствер, неспешно раскладывает на колене разнокалиберные дареные сигареты, выбирает самую дорогую, закуривает, а остальные складывает в помятую папиросную пачку.

Экскурсанты все еще толкутся у дебаркадера. Молодежь затеяла бросать гальку, и остальные глядят, как по воде затона скачут в многократных прыжках низко пущенные плоские камешки. Но вот с полдороги что-то кричит теплоходный затейник, машет лентами купленных билетов, и все идут к нему, вытянувшись долгой цепочкой по зеленому взгорку. Савоня прячет лопату в кустах и, припадая на ногу, плетется следом.

У новых, еще не успевших посереть рубленных под старину ворот, отделяющих музейную часть острова от остальной территории, приезжих ожидает местный экскурсовод. «Михалыч!» — еще издали узнает его Савоня по невысокой кряжистой фигуре в безрукавной синей тенниске. Савоня питает к Михалычу особое почтение за то, что Михалыч родом тоже онежанин, долго обучался своему ученому делу в Ленинграде и теперь снова возвратился сюда, в отчие места. Ему нет и тридцати, строг лицом и смышлен бойкими нетерпеливыми карими глазами, но, несмотря на свою ученость, Михалыч, однако, не позабыл исконного обонежского ремесла и при случае мог показать, на что способен топор в его крепких руках.

Пока туристы разбираются у ворот с билетами, Михалыч прохаживается взад-вперед и, глядя себе под ноги, нетерпеливо пошлепывает по штанине самодельной указкой. Савоня протискивается к нему сквозь толпу, протягивает руку.

— Здоров, Михалыч! — говорит он, немного важничая перед публикой оттого, что может вот так запросто подойти к экскурсоводу. — Ты поведешь?

Михалыч молча кивает и пожимает руку.

— А и достается тебе, гляжу! — весело сочувствует Савоня. — Сегодня еще, поди, подвалят.

— Обязательно.

— Тыщ на сорок уже перебывало, а?

— Побольше!

— Ай-яй-яй! — с радостным изумлением качает головой Савоня. — Што делается! Столботворение ерехонское! И едут, и едут...

— Ничего, зимой отоспимся.

— А ить раньше как, вспомни, Михалыч... Тишина-а! Я на этом острове...

— Погоди, потом, потом... — нетерпеливо прерывает его экскурсовод и входит в гущу народа.

— Ага, потом... Ясное дело... — соглашается Савоня, оставаясь в стороне.

Михалыч шлепает указкой по ладони, громко и строго требует тишины, и ветер треплет его непокрытые волосы.

— Товарищи, товарищи! Прошу две минуты внимания!

Михалыч называет свое имя и объявляет, что осматривать историко-архитектурный ансамбль поведет он, а потому просит на территории музея не курить, а также самовольно никуда не отлучаться.

— Осмотр будет вестись по измененному маршруту, — трубно провозглашает он, — ввиду того, что доступ в храмы Покрова и Преображения временно прекращен по случаю киносъемок. Коллекцию преображенских икон постараюсь показать на обратном пути.

За каменной оградой погоста бодро взыгрывает музыка, Михалыч морщится, словно бы у него заломило зубы, и обрывает свои разъяснения:

— Все ясно?

— А какое кино снимают?

— Эстрадное обозрение «Белые ночи». Для телевидения. Есть еще вопросы?

— Ясно! Ясно!

— Тогда пошли-и!

Как полководец шпагой, Михалыч взмахивает указкой, тычет ею куда-то в поле и, нагнув голову, решительным спорым шагом ведет толпу в обход храмов.

— Этот проведет! — одобряет Савоня. — Этот покажет! Башковитый парень.

Внизу у берега мелко тарахтит на катере движок. От него к воротам погоста тянется кабель. Вчера, когда это все устраивали и налаживали, Савоня пришел посмотреть и хотел помочь что-нибудь поднести. Он поднял какой-то черный ящичек с медными застежками и пошел было с ним от катера на взгорок, но ихний начальник в темных очках и в большой лохматой кепке не понял, погнался за Савоней и стал кричать: «Товарищ, положь!

Това-а-арищ, положь!» Савоня, конечно, положил и пошел прочь, а начальник подобрал ящик да еще погрозил вслед пальцем. Теперь артисты наглухо затворились на погосте и никого к себе не пускают.

Савоня отыскивает в створах ворот щелку, прилаживается к ней глазом. На высокой паперти Преображенской церкви, освещенной направленными на нее фонарями, поет молоденькая чернявая певица в белом голоколенном платье. Позади нее переминаются, раскачиваются из стороны в сторону человек восемь поджарых певцов в черных папахах и ярко-красных бекешах с кинжалами на поясах, и все восемь с одинаковыми усиками. Девка тянет низким мужицким голосом, и Савоня даже не сразу догадался, что поет именно она:

Лэтят уткы-ы-ы,
Лэ-тят у-у-уткы-ы...

Певица, пальцами прищелкивая себе возле серьги, после каждого запева спускается на один порожек ниже и долго топчется, перебирает ногами на одном месте, будто месит глину.

Ы два гуса-а-а... —

подхватывают певцы в бекешах, и лица их при этом страдальчески скорбны. Тянут они, наоборот, тонкими голосками, как бы по-бабьи, так что Савоня кривится и досадует от неладности пения.

Иэк, кого лу-у-ублу... —

басит девка и спускается еще на один порожек.

— Пошто она так-то по-жеребчиному? — сердится возле дырки Савоня. — Бабе надобно голосить, оказывать голос. Баба серебром должна брать, всему делу венец! Пошто над песней-то изгаляться, мучить, крылья ей выкручивать, лёту не давать...

Музыка неожиданно переходит на что-то веселое, торопливое, сквозь гармошку и дудки просыпается гороховая дробь бубнов. Один из певцов с гиком выпрыгивает из строя, проносится по паперти, окорячивает верхом перила крыльца, взвизгивая, съезжает на заду вниз, ловко, лихо соскакивает на землю и, раскинув широкие красные рукава, начинает вертеться на одной ноге, на скрюченном носке так, что мелькают то усики, то затылок. Плясуна сменяет другой, после чего по разбежавшимся по обе стороны перилам скатываются сразу двое — один направо, другой налево и принимаются наскакивать друг на друга, звякать сабля о саблю. Плясали и еще на всякий манер: один, не выпуская из рук гармошки, перевертывался через голову, другой подбрасывал бубен, и пока тот, позвякивая побрякушками, взлетал под самый конец церковного крыльца, — танцор успевал похлопать себя по сапожкам...

Но вот к танцорам подбегает тот самый начальник в лохма-

той кепке, что-то недовольно кричит, машет на плясунов руками, и те, тяжело дыша и утираясь папахами, понуро лезут на крыльцо и начинают все сначала.

— А ить тоже работка... — удивляется Савоня. — В мыло мужиков вогнал. Дак и то: коня, бывало, почнешь к хомуту приучать, весь измочалится конишко-то... А без хомута и овса не дадут... Во всем усердие требуется.

Он отстраняется от дырки, некоторое время в раздумье стоит у запертых ворот, потом ковыляет вдоль стены на луг, поглядеть, что там делается.

На дальней холмушке возле часовни святого Лазаря примечает людскую толчею, видит даже, как жестикулирует, машет указкой Михалыч, и неспешно бредет туда по тропе сквозь поясные травы. Там он приземляется позади толпы, воровато достает сигаретку и, покуривая из рукава, прислушивается к Михалычеву голосу.

— ...Сооружение это относится к древнейшему культовому зодчеству ранней Руси, — доносятся чеканные слова Михалыча. — Это так называемый клетский храм. Основу церкви составляет обыкновенная клеть, какие здешние смерды рубили и для бытовых построек. Различие только в оформлении кровли. Однако это небольшое строение превосходит своей древностью все наиболее известные храмы поонежского и беломорского Севера. Примерная дата его закладки возносится к временам Дмитрия Донского, то есть стоит эта церковь без малого шесть веков!

По напевному и торжественному звучанию голоса и по тому, как белой молнией мелькала самодельная можжевеловая указка, Савоня сразу угадывает, что Михалыч уже распалился и будет теперь молотить, позабыв про время и самого себя. Который год слушает его Савоня и каждый раз внимает с детским восхищением, наслаждаясь музыкой высоких и подчас не совсем понятных слов.

— Я прошу вдуматься в эту цифру — шесть веков! — призывает Михалыч и палочкой отбрасывает со лба растрепавшиеся волосы. — Можно прикоснуться к этим седым стенам руками, и вы ощутите естество тех сосен, которые шумели кронами над Русской землей еще во времена татарского нашествия, а может, и того раньше, в славную пору Юрия Долгорукого, заложившего самую Москву. И тем не менее как свежи еще следы топора, как отчетливо прослеживается его искусная и вдохновенная работа, снимал ли он вот этот сучок, — Михалыч тычет в стену указкой, — еще и теперь пропитанный янтарной смолой, или рубил этот порог, этот алтарь, эту дивную луковку... Перед вами гениальное творение безвестных русских умельцев, и вам бы следовало снять шапки. Это не церковь, — если хотите, это стихи, это песня, товарищи! Потом были Иван Грозный и посрамление Орды под Казанью, был царь Борис и нашествие шляхты, великий бунт протопопа Аввакума и боярыни Морозовой, был бурный Петр,

были Пугачев, Наполеон и прочее и прочее. Сколько потом еще было всего на нашей многострадальной Руси и тоже прошло... А порог этот и по сей день остался. Вот он! Должно быть, так же, как и теперь, у этого порога цвела белая кашка, курчавился бурьянок, гудел, сердился шмель, когда запутывался в травяных тенетах...

Савоня закрывает глаза и, слушая так, одобрительно кивает головой. Он любил, когда рассказывали про дерево, про топоры и постройки, а потому не удерживается и подсказывает:

— Ты, Михалыч, про крышу им порасскажь, про крышу. Ить не хитро на первый взгляд, а поди сработай так-то!

— Прошу не перебивать! — строго кашляет в кулак Михалыч, однако сделал паузу, широко взмахивает к небу указкой: — Хочу обратить ваше внимание на завершение кровли. Здесь мы видим так называемый конек. Правда, внешне он нам не напоминает никакого изображения, он предельно прост. Но в том-то и дело, что...

И опять запел Михалыч, и, довольный, зажмуривается Савоня, нежит себя рассказом о коньке. А рассказ-то всего о сосновом комле, положенном по самому гребешку кровельки, про то, как он, оказывается, воздушно-легок и невесом и так как-то хитроумно срезан на самом окончании, что кажется, будто хочет вспорхнуть и остроклювой птицей улететь в онежские дали.

«Верно, верно говорит», — сладко млеет Савоня и сам любуется и видит в нем диво-птицу.

От толпы отделяется светлоголовый паренек в голубой куртке, простеганной крупными клетками, опускается на траву рядом с Савоней.

— В ногах правды нету, верно, б-батя? — говорит он с запинкой.

— Дак и посиди, — притишая голос, дружелюбно соглашается Савоня. — Отсудова тоже слыхать. Тут ежели все рассказывать — делов много! — Савоня, радуясь возможности поговорить, подвигается к парню. — Вот, к примеру, откудова она есть, часовня эта... Она ведь допрежь здеся не стояла, не-е! Она стояла на Муромском острове. Вот где ее законное место. Это ежели тебе пояснить, дак верст на шестьдесят отсюдова по воде. Конешно, разобрали ее всю, а то как же. Пометили бревна и раскидали. Целиком ее нежели довезешь? Не шутейное дело... Дак и опять же: кто таков Лазарь? Он-то в поспешности не сказал, Михалыч, а я тебе скажу...

— У нас в Калуге тоже всяких ц-церквей дополна, — перебивает парень, отмахивая со лба косой чуб, похожий на птичье крылышко. — Не бывал в К-Калуге? Циолковский, между прочим, жил.

Кто таков этот самый Ци.., Савоня слыхом не слыхивал, не знал и про то, где находится Калуга, велик ли, мал ли городок, а потому виновато промешкивается, но вскоре опять возвраща-

ется к прерванной беседе и принимается рассказывать про Лазаря, какой это был непреклонный, с характером старец, как пришел он на Онегу-озеро из грецких земель и как соорудил себе среди ненастных болот одинокую хижу и крест возле нее и как хотели сжечь его, Лазаря, некрещеные лопяне, дикие сыроядцы, но не смогли одолеть!

— Сто пять годов прожил! — восхищенно поверяет Савоня, слыхавший эту историю то ли от своей бабки, то ли от деда, а может, и еще от кого из старожилов, хранивших старые книги. — Во какой смоляной был, Лазарь-то!

— Не знаешь, пиво есть в р-ресторане? — спрашивает парень.

— В нашем-то? Должно быть, а то как же.

— Башка, понимаешь, т-трещит... — морщится парень и сплевывает себе на ременные сандалии. — Вчера немножко д-долбанули.

— Усадку голова дает, — понимающе сочувствует Савоня. — Дак пиво должно быть. Подовчера завозили. Только бочковое.

— Теперь об окнах, — долетает голос Михалыча. — Мы имеем здесь дело с так называемыми волоковыми окнами...

— Понимаешь, только Вытегру проехали, — опять сплевывает парень, — смотрю, ребята зовут. Пойдем, говорят, б-белые ночи встречать. Ну и пошли... А тут б-бабы подвернулись. Вон они стоят... Вон та, в белом свитере. И та вон, высокая, в коротких штанах которая...

— Дак ясное дело! — кивает Савоня. — Ежели бабы... оно конешно...

— Ну и з-завелись...

— Стекол в то время в простых сельских храмах еще не было, — поет Михалыч. — И окна задвигались, как видите, или, по-тогдашнему, заволакивались, изнутри дощечкой. Отсюда — волоковые...

— Крепко ж-жахнули, понял?

— ...Существует другой тип окон, характерный для более поздних построек...

— Владлена Андреевна, — переговаривается кто-то в толпе. — Не помните, я замкнула каюту?

— Не обратила внимания.

— А то у меня там плащ остался на вешалке.

— Кажется, замкнули.

— Ужасно стала рассеянная. Я уже имела счастье в Суздале вот так оставить номер... Вовик, Вовик, не становись на порог, детка! Он может провалиться, и ты сломаешь себе ногу.

Михалыч замолкает, нетерпеливо шлепает указкой по ладони.

— Товарищи, товарищи! Имейте в виду: чем больше будете говорить вы, тем меньше расскажу я. Выбирайте.

— Пойду пива попью, — шепчет Савоне парень.

Он встает, делает вид, будто осматривает церковь, заходит за угол постройки. Через некоторое время парень осторожно высовывается из-за угла, подает кому-то знаки, дует себе на кулак, изображая пивную кружку. В толпе прыскают какие-то девчата, и Михалыч снова прерывает свои пояснения.

— В чем там дело, товарищи? — строго оборачивается он.

Парень в голубой куртке мгновенно прячется за срубом.

Но вот со святым Лазарем покончено. Михалыч, нагнув растрепанную голову, суворовским жестом простирает вперед указку и быстрым своим шажком ведет осматривать соседнюю Великозерскую часовню. Савоня со своей ногой не успевает за экскурсией, постепенно отстает, останавливается среди острова и, приметив невдалеке от стен погоста белую панаму туриста-художника, одиноко маячившего над травами, поворачивает к нему. Там он в почтительном отдалении, но так, чтобы видеть картину, опускается на землю. Художник, невидяще глянув на пришельца, на миг показав обложенное русой молодой бородкой узкое, отрешенное, апостольское лицо, снова отворачивается к рисунку и продолжает торопко шуршать по картону цветными палочками. Савоня достает из кармана недоеденную баранку и, отламывая по кусочку, вяло жуя, наблюдает за работой, сличает картину с живой Преображенской церковью.

Художник отходит на несколько шагов от своей треноги, в раздумье теребит, пачкает цветными пальцами бородку; и видно, что недоволен своей работой. «Вот и готовое, а не дается, — думает про него Савоня. — Да и сколь уже подступались: и оттуда зайдут и отсудова...»

— Иди, покурим, дак, — сочувственно зазывает к себе Савоня.

Художник молча садится рядом, платочком обтирает долгие пальцы, а сам с потаенной тоской и жадностью все глядит на путаницу преображенских куполов, а Савоня видит, как под его бородкой ходит сухой нервный кадык.

Отсюда, с земли, сквозь колышемые на ветру былинки, храм походит на кем-то забытый в мураве туесок, доверху наполненный грибами-куполами. Будто кто набрал их полон короб и все клал и клал друг на друга, грибок на грибок, все выше и выше, сам удивляясь, как дивно это у него выходило, а на вершине грибного ворошка водрузил самый крепкий чешуйчато-серебристый подберезовик, и даже крест, темнеющий над ним, Савоне кажется прилипшим сучком, лесной соринкой.

— Вот спрашиваешь, — затевает беседу Савоня, косясь на художника, хотя тот и ни о чем не спрашивал, а все глядел на церковные маковки. — Можно теперь состроить такую? Скажу сразу — можно! Обгляди, обмеряй и — делай. У нас один малец из спичек в точности собрал.

— Это интересно, — вежливо выговаривает художник.

— Все как есть! Дак и теперь мастера найдутся. Покличь стариков, какие еще осталися, — состроят! Это я верно говорю. Оно, конешно, и старики теперь отвыкли от топора, нечего стало делать. А которые, окромя дров, ничего дак и не рубят. Но не в том вопрос. Ты меня слухаешь?

— Конечно, конечно... — отсутствующе кивает художник.

— А как она ставилась, церква эта, с самого изначалу, вот ты мне что скажи. Ну привезли лесу, ну натесали... Дальше чего? С чего начинать будешь — кругом голый берег, не на чего поглядеть. Какой и докуда высить угол? Где к месту остановиться и начинать класть карнизы? Какой и куда спускать водоток? От какой метки ставить барабаны? А их вон сколько, двадцать две штуки! Во где закавыка!

— Да...

Художник неожиданно подхватывается, бежит к треноге и принимается что-то подтирать и подрисовывать.

— А-а! — торжествует Савоня и заливается азартным и благоговейным смехом. — Во была голова! Из ничего! А так, глядючи, дак и я состроюю.

Ему охота еще поговорить про плотницкое ремесло, но собеседник прилип к картинке, не возвращается, и Савоня, так и не дождавшись его, ложится на живот, с облегчением вытягивает намученную ногу. Теперь ему видны одни только купола и небо да еще чайки, мелькающие над крестами. Он опускает голову на поджатые руки и погружается в чуткую травяную тишину. Откуда-то выпрыгивает кузнечик, повисает перед самым Савониным лицом на прогнувшейся былинке. Сам весь зеленый и глаза тоже зеленые, и Савоне видно, как в них, больших и удивленных, отражаются колышемые травы. От всего облика этой шустрой, проворной, жизнерадостной таракашки веет вольницей, напомнившей далекое Савонино детство. «Ну чего, парень, как жисть? — спрашивает Савоня, проникаясь участливым чувством к этому загадочному созданию, о существовании которого даже позабыл в житейской сутолоке. — Ноги еще целы? И то ладно! Скачи давай, бегай, остров-от вон какой для тебя великий, целая губерня». Кузнечик протягивает сквозь передние лапки сначала один ус, потом другой и, вовсе не боясь Савоню, а может быть, просто не замечая его, начинает счастливо сипеть прозрачными крыльями. «Давай, давай, а то скоро придут косари, состригут твою палестину. Што тади будешь делать? А и нечего делать». Кузнечик прислушивается, потом перебирается повыше и пускается стрекотать еще жарче. Справа, слева ему отвечает веселая братия, трава вокруг Савони закипает знойным баюкающим стрекотом. Нехитрая музыка сигунков сливается звоном в ушах, и чудится Савоне, будто дед посылает его, семилетнего мальчонку, топтать на стогу сено. Савоня прыгает по мягко оседающему, покачивающемуся стогу, радостно страшась этой зыбкости, боясь края и в то же время весь ликуя от беспредельного

простора, открывшегося отсюда, с сенной высоты. «Ух ты как! — кричит он деду. — Всю Онегу видать!»

Что-то хлестко шлепает по спине, Савоня поднимает голову и догадывается, что задремал. Редкие крупные капли дождя косо вонзаются вокруг Савони, в пыль разбиваются о мохнатые головки тимофеевки. Савоня поспешно встает, озирается по сторонам. Художника уже нет на прежнем месте, после него осталась лишь истоптанная луговина. Низкая глухая туча волочится над островом. Под налетевшим ветром заметались травы, прибойно заплескались у подножия каменной стены погоста. Их зеленые волны, взмелькивая светлой подкладкой, летуче и мятежно перебегают через весь остров и где-то за ветряной мельницей падают в седую зашумевшую Онегу, и видно, как мельница, борясь с ветром, вздрагивает привязанными крыльями.

Внезапно обрушивается шумный шквалистый ливень.

Мимо Савони по тропе со стадным топотом проносится экскурсия, и лишь какое-то время спустя проходит своим частым шажком Михалыч.

— Отчитал? — кричит ему Савоня, но тот, должно быть, не слышит за ветром и шумом дождя.

Савоня поднимает оброненный во сне картуз, выбирается на утонувшую в мутной пузырящейся воде тропинку, ковыляет к ограде и мокрой спиной притискивается к еще тепловатым камням стены. Над ним с тесового навеса взахлеб плещутся водяные струи. С сухим треском обрушивается совсем близкий гром, пустой бочкой прокатывается по острову. Дождь припускает пуще, все тонет в его обвальном шуме, и только слышно, как с размаху расшибаются о береговые карги невидимые онежские валы.

5

После дождя остров словно бы вымер.

Савоня, подставив спину проглянувшему солнцу, давая просохнуть рубахе, в одиночестве сидит у раскурочного места, излюбленного им потому, что отсюда далеко видать, а главное, можно курить сколько хочешь. Мокрые, потемневшие срубы церквей тоже курятся парком, а над их верхами снова как ни в чем не бывало кружат и гомонят невесть откуда налетевшие чайки.

Из раскрытых окон дебаркадерного ресторана доносится обеденный гомон, слышно, как буфетная радиола выкрикивает на чужом картавом языке. Из-за дождя за столики сегодня засели рано, не дождавшись, пока объявят обед на самом теплоходе.

Савоня, не любивший безлюдья, безо всякой нужды выкуривает еще одну «северинку» и наконец решает сходить к яме посмотреть, много ли натекло туда воды. Идет мимо дебаркадера, стараясь не глядеть на ресторанные окна, откуда ветер накатывает волны кухонных ароматов.

— Эй, батя! — окликает его кто-то.

Савоня оборачивается и видит в окне парня в голубой куртке.

— З-зайди на минутку.

Савоня кивает, но сперва все же идет к яме. Выдерживает характер. И лишь после того сворачивает на лавы, обтирает пучком травы спецовочные фэзэушные ботинки и поднимается на второй этаж. Там он останавливается в коридоре и глядит в обеденный зал, выискивая парня.

Ресторан битком набит сбежавшимся по случаю дождя народом. Распаренная официантка Зойка, разгоняя слоистый табачный дым, курсирует с подносом между камбузом и обедающими туристами. Посреди зала, сдвинув сразу несколько столиков, шумно, с тостами и взрывами белозубого хохота, обедают те самые усатые певцы и танцоры, что плясали на погосте.

Ай дала, ай дала, дала да... —

напевает перед бегущей по проходу Зойкой один из артистов и, вращая желтыми глазными яблоками, прихлопывает в ладони.

— Да нуте вас! — увертывается с подносом Зойка. — Щи опрокинете.

За соседним столиком дама-бабушка и Вовик-землепроходец в компании мужчины с доминошной коробкой в нагрудном пижамном кармане лакомились кефиром. Вовик дует в свой стакан, выбрызгивая оттуда белые пузыри, бабушка шлепает его по руке и вытирает нос бумажной салфеткой.

Савоня обшаривает глазами дальние углы, но парень в голубой куртке оказывается совсем рядом, за столиком у распахнутого окна. Он что-то рассказывает своим приятелям, мешая самому себе поминутным смехом, во время которого оцепенело замирает и прикладывает руку к сердцу. Сидящая рядом с ним круглолицая, раскрасневшаяся туристочка с высоким начесом огненно-рыжих волос смущенно смигивает черными кукольными ресницами и прячет подбородок в толстый ворот белого свитера.

— Дима, не ври, не ври! — запальчиво выкрикивает она. — Не так все было!

Дима еще что-то выдает, туристочка накидывается на него, розовыми кулачками колотит по голубой спине.

— Все, все, Шурочка! — со смехом уклоняется Дима. — Ну сказал, не б-буду!

— Болтун!

— Все! М-мир — дружба! Мир — дружба!

Дима выстреливает из окна окурком, отмахивает чуб-крылышко и подтягивает к себе пивную кружку.

По другому боку рыжей туристочки пристроился густобровый паренек с набегающей на толстые очки всклокоченной мокрой челкой, — тоже в свитере, но только в малиновом, с желтой росшивью по груди. Паренек двумя пальцами с золотым колечком подносит ко рту тонкую сигаретину, тянется к ней сложенными

в трубочку пухлыми губами, как-то так старательно обжимает желтый бумажный мундштук, вдумчиво тянет и, подержав в себе дым, тоже вдумчиво выпускает, целясь струей в подвешенную над головой люстру.

Остальные двое сидят к Савоне спиной, и он видит только их затылки. Один с аккуратным пробором до самой макушки, на которой угнездился неприглаженный петушок, и все называют этого, с петушком, по фамилии — Несветский. Затылок его соседа оброс цыганистыми завитками, набегающими на белый кантик синей футболки. Этот кучерявый, которого в разговоре тоже величали Димой, время от времени шарит смуглой ухватистой рукой по гитарному грифу и, клонясь к нему и прислушиваясь, что-то тихо и неразборчиво подрынькивает.

Савоня долго стоит в коридорчике перед ресторанной дверью, ждет, когда его заметят, и Дима в голубой куртке наконец натыкается на него глазами и нетерпеливо и обрадованно машет ему рукой.

— Давай, бать, с-сюда!

Савоня еще у порога стаскивает картуз, приглаживает волосы и, стараясь не топать, с опаской поглядывая на грудастую, опутанную по шее тремя рядами мониста буфетчицу, пробирается меж столиков тесными проходами.

— Ты куда, бать, з-запропал? — удивляется Дима-маленький.

— Куда ж мне пропадать? Пропадать некуда. В сенях и стоял.

— Понимаешь, р-разговор один есть.

— Дак и вот он я! — приободряется Савоня.

— Тут такое д-дело. — Выжимая из себя застрявшее слово, Дима-маленький трудно мигает веками. — Теплоход до утра никуда не пойдет, что-то там поломалось, п-понял?

— Отчего ж не понять, — смеется Савоня, переминаясь. — Ежели поломался, куда плыть, ясное дело.

Дима-маленький ловит Савоню за пуговицу на рубахе, притягивает к себе.

— Сколько дней плывем — то нельзя, это нельзя... Охота костерчик попалить. На воде, п-понял?

— Известное дело!

— А у тебя, говорят, лодка есть...

— На воде живем, как не быть! — еще больше оживляется Савоня.

— Значит, с-сорганизуешь?

— Это завсегда можем предоставить, — переминается Савоня, удерживаемый за пуговицу.

— А уху заделаем, как думаешь? — спрашивает другой Дима — Дима-большой.

Он поворачивает к Савоне крупное скуластое лицо в редких оспинах.

— Дак и уху... — соглашается Савоня. — Третьего дня я тут в одном месте сетки покидал, может, чего и зацепилось...

— Давай, бать, уважь, — удовлетворяется ответом Дима-большой и снова свешивает смоляной чуб над гитарным грифом.

— Ой, поехали, поехали, мальчики! — Рыжая Шурочка нетерпеливо топочет под столом каблучками. — Рит, едем, да?

Очкастый паренек выпускает дым, неопределенно пожимает плечами, и Савоня только теперь догадывается, что это вовсе и не парень, а так чудно обстриженная девица.

— Это же чудо как здорово! — ликует Шурочка. — Несветский!

Кругленький, розовощекий, расположенный к ранней полноте Несветский, одетый в хороший серый пиджак с галстуком, устремляет взгляд за окно, изучает низко бегущие облака. На его аккуратной макушке настороженно вздрагивает петушок.

Телепатия, ух, телепатия,
У меня к тебе антипатия... —

насмешливо напевает Дима-большой и, оборвав пение, хлопает Несветского по округло-женственной спине.

— Брось, кибернетик, умно задумываться! Дамы же просят!

— Поехали, поехали! — снова стучит каблучками Шурочка.

— Да, но я договорился с капитаном насчет радиограммы.

У меня к тебе чувство скверное
Неспроста вызревало, наверное, —

морщится Дима-большой. — По маме соскучился?

— Не в том дело...

— Все, бать, з-заррубили! — объявляет Дима-маленький и отпускает Савонину пуговицу. — П-пива хочешь?

— Это можно... — расплывается Савоня.

— Тяни! И давай волоки сюда лодку.

Савоня стоя выпивает кружку, в поклоне благодарит и, зажав картуз под мышкой, спешит к выходу.

— Опять ты тут? — фыркнула ему вслед буфетчица, и от ее окрика Савоня втягивает голову.

6

Разлатую, заляпанную смолой Савонину посудину покачивает на вялой обессиленной волне в заводине позади дебаркадера. От нее тянет рогожным духом слежалой осоки, устилающей днище. Савоня, уперев весло по внешнему борту, удерживает лодку у скользких зеленых свай настила. На нем просторный, с чужого плеча, флотский бушлат с отвернутыми обшлагами и неполным комплектом латунных пуговиц, недостаток которых восполнен разнокалиберными пуговицами из гражданского обихода. Бушлат этот вместе с прочими пожитками — гаечными ключами, по-

добранными на берегу бутылками, мережами и большим закопченным ведром — хранился в носовом отсеке, запиравшемся на щеколду.

Оба Димы спрыгивают в лодку, принимают рюкзак с провизией, закупленной в буфете, гитару, плащи, ловят взвизгивающую Шурочку, переносят голенастую Риту в коротких, выше колен, наутюженных брючках.

— А она выдержит? — опасливо спрашивает Рита, опускаясь на скамейку.

— Не боись, подруга! — ободряет ее Дима-большой. — Морские медленные воды не то что рельсы в два ряда, верно, бать?

— Не-е! — подтверждает Савоня. — Лодка сухая, не течет. Я на ней по пятнадцать человек катал!

Последним с теплохода приходит Несветский в куцем плащике и темных очках, и Савоня, оттолкнув лодку, дергает пусковой шнур. Мотор бесстрастно отмалчивается, наконец, будто огрызнувшись на донимавшего его хозяина, сердито взгыркивает.

— Ой, обождите, обождите, — спохватывается Шурочка. — Вон Гойя Надцатый идет. — И, приставив ладошки ко рту, кричит: — Го-ша! Го-ша!

От погоста к дебаркадеру спускается по тропинке уже знакомый Савоне бородатый художник в белой панаме с желтым плоским сундучком через плечо. Он то и дело останавливается и, прикладывая ладошку к глазам, подолгу глядит на отдалившиеся силуэты погоста.

— А каракатица да задом пятится, — усмехается Дима-большой.

— Гоша! — кричит Шурочка. — Ну скорей же!

Гойя Надцатый наконец улавливает окрики, и Савоня снова подправляет лодку к мосткам.

— Ты где делся? — кричит Дима-маленький.

— Да так, ходил все... — Промокшая панама свисает на глаза Гойи Надцатого увядшим безвольным лопухом. — Пописа́л немного...

— Ты что, еще не обедал?

— Да вот собираюсь...

— Брось, не ходи. Там одни щи. Имеется шанец ухи похлебать, п-понял?

— Ой, Гошенька, поедем!

— А как же теплоход?

— А ты чего, не знаешь? Ночевать будем.

— А в чем дело?

— Вызывают аварийный катер из Петрозаводска. У тебя есть г-гроши?

— Да найдутся... — Гойя Надцатый готовно копается в тесных карманах узких и мокрых техасских штанов.

— Давай дуй в буфет, бери бутылку и поехали.

— А не помешаю?

— Брось в-выпендриваться. Давай рви за б-бутылкой. Мы ж на тебя не рассчитывали.

— Да, конечно... хорошо... — бормочет Гойя Надцатый, отдает этюдник и, по-верблюжьи отбрасывая в стороны широченные растопыренные кеды, шлепает по дощатому настилу к дебаркадеру. Возвращается он с пузатой бутылкой и полной панамой «Мишек на Севере», прыгает в лодку и, запыхавшись и радостно светясь, приседает на корточки против Савони.

— Ш-шампанское! — разочарованно изумляется Дима-маленький. — Пижон!

— Гоша, вы умница! — заступается Шурочка. — И идите ко мне, вам там неудобно.

Дима-большой отбирает у Гойи бутылку, которую тот все еще прижимает к груди, встряхивает и разглядывает против солнца.

— Вода, вода, кругом вода-а... — насмешливо тянет он. — Ладно, на похмелку сойдет.

После нескольких рывков шнура мотор резво взвывает, и за кормой закипает коричневая от донного ила вода. Лодка, прошивая камыши, рвется от берега, лихо огибает причаленный к дебаркадеру теплоход, выбегает на вольную Онегу. Под высоко вскинутым носом хлестко плещет в днище встречная волна.

— Нынче ветерок! — Глаза Савони счастливо слезятся в сощуренных красноватых веках. Он надвигает поплотнее мичманку, пристегивает ее околышным ремешком и прибавляет газу. Лодка послушно рвется вперед, налетает на волны всем брюхом, разваливая их на обе стороны. Ветер тонким сверлом принимается сверлить уши, и все отворачивают воротники и натягивают капюшоны.

— Мухой будем! — смеется Савоня и, заметив, как Рита обхватывает руку Несветского, кричит: — Ты, милая, не бойся! То ли это волна? По такой волне у нас бабы сено с лугов возят. Копну нашвыряют и поше-ел!

За рулем он по-детски возбужден и непоседлив, высматривая и выверяя дорогу, склоняется то к правому, то к левому борту. Корма под ним осела вровень с волнами, и кажется, будто сидит он вовсе не в лодке, а на гребне кипящего буруна, взбитого винтом.

— Всю жизнь на воде, дак! Это теперь все с моторами. А допрежь того не знавали-и! Под парусом бегали, а то больше на весельках, на весельках! — Савоня, пересиливая рев двигателя и всхлипы волн, выкрикивает слова с азартным оживлением, и в его неухоженной щетине взблескивают водяные брызги. — Я еще в мальцах бегал, дак, бывало, в праздники... Как вдарят в колокола, как почнут дилибомкать! На Спас-острове себе, в Усть-Яндоме себе колоколят! Да в Типиницах, да на Волкострове! Звону на всю Онегу! Ветер не ветер — и оттуда на звон плывут, и отсюдова! Целыми деревнями. Из гостей да в гости!

Савоня наклоняется над бортом, глядит куда-то поверх волн

и, поправив лодку чуть левее, пропускает мимо легкий белый катерок.

— А то ежели свадьба, — продолжает выкрикивать он. — Этим и вовсе волна нипочем! В одной лодке жених с невестою да с дружками, во второй сваты, а уж опосля еще лодок восемь — десять, сколь увяжутся. Гармошки ревут, а лодки все изукрашены, весла лентами повиты! Другой раз вот как волна взыграет, а бабы-девки знай себя олялешкают да еще и поплясать норовят на волне-то! Я и сам так-от женился. Из Типиниц бабу свою привез.

От лодочного носа вдоль обоих бортов, будто крылья, взметываются пенистые хлопья, радугой вспыхивает пронизанная внезапным солнцем водяная пыль. Берег с дебаркадером и белым теплоходом быстро отдаляется, вот и совсем истаивает, и только шпили церквей все еще бегут по волнам.

Прямо по курсу неожиданно встает белая громада теплохода. Судно, погуркивая дизелями, источая из камбуза запах жареного лука, величаво проходит совсем близко от лодки, и становится слышно, как облепившие борта туристы поют дружным многопалубным хором «Долго будет Карелия сниться». Савоня кладет руль круто налево, облетает теплоход с кормы и, поравнявшись с носовыми иллюминаторами, ведет лодку метрах в десяти от борта. С теплоходного мостика раздается рупорный окрик:

— Эй, в лодке! Не балуй! Отваливай, отваливай!

— Это ты, Яковлевич? — радостно узнает голос Савоня.

— А-а! Привет! — отвечает рупор. — Кто там у причала?

— «Сусанин!» «Сусанин» стоит! — кричит в ладони Савоня. — Поломался, ночевать остается!

— Что там у них?

— Не знаю! За аварийным катером в Петрозаводск послали!

— Что они, сами не могут, что ли?

Туристы тоже что-то кричат лодке, машут руками, целятся фотоаппаратами.

Дима-большой, набрав из Гойиной панамы горсть конфет, бросает на палубу теплохода. Конфеты осыпают толпу, шлепают о борт, недолетевшие падают в воду. На палубе поднимается визг, смех, суматоха.

— Кинь еще! — просят на теплоходе.

Дима-большой начинает метать поштучно, выцеливая девчат.

— Давай сюда!

— Кинь нам!

— А пиво б-будет? — кричит Дима-маленький.

— Чего? Громче!

— Пиво, говорю!

— Не-ту!

— Не зажимай! Бросьте пару бутылок!

— Правда, нету! Все попили!

— Эй, рыжая! Давай ныряй к нам!

— У вас своя есть рыжая!

— Еще одну надо! У нас н-недочет!
— Перебьешься! — хохочут теплоходные девчата.
— Ладно, п-попадись только!
— Чего-чего?!
— Попадись, говорю, м-мокрохвостая!
— Полегче на поворотах!

В Диму-маленького летит огрызок яблока, потом на палубе кто-то выкрикивает «три-четыре», и множество голосов сразу подхватывает:

Не хочу я каши манной,
Мама, я хочу домой!

Теплоход нетерпеливо дудит и прибавляет ходу, и на палубе снова, на этот раз с протяжкой, взлетает:

Ма-ма, я хочу домо-о-ой!

Дима-маленький вскакивает на носовую деку, корчит ответно рожицу и, заложив в рот пальцы, разбойно свистит. Лодку подбрасывает на разбежавшихся от корабельного носа ухабистых усах, Дима-маленький кубарем летит на Диму-большого, и Савоня отворачивает моторку и возвращается к прежнему курсу.

— Иван Яковлевич пошел! — говорит он уважительно, оглядываясь на теплоход. — Хо-роший капитан!

Налетает чайка, первозданно-чистая, стремительная каждым обдутым, плотно пригнанным пером. Птица борется с ветром и, держась почти над самой кромкой, деловито заглядывает в лодку. Под ее брюшком видны кулачками сжатые лапки.

— Какая хорошенькая! — умиляется Шурочка, разглядывая дикую и доверчивую птицу. — Никогда не видела так близко!

— Смотрите, у нее на лапке кольцо! — замечает Гойя Надцатый.

— Ой, правда! Она ручная, да? Мальчики, дайте ей что-нибудь!

— Сейчас д-дадим... — отзывается сидящий в лодочном мысу Дима-маленький.

Неожиданно, так что все вздрагивают, раздается громкий хлопок, мимо чайки пролетает что-то белое и, описав дугу, падает в волны. Чайка опрокидывается на крыло и летит прочь в красивом планирующем вираже. Все оборачиваются на звук и видят Диму-маленького с дымящейся бутылкой шампанского.

— Промазал, п-падла! — хохочет он, сверкая вставным золотым зубом.

— Зачем же ты спугнул? — обижается Шурочка. — Она так хорошо за нами летела.

— Еще прилетит. Тут их д-дополна. — Дима-маленький достает из-за пазухи «уведенный» из ресторана стакан и отливает в него пенно побежавшее вино. — На-ка лучше, старуха, хватани.

— Да ну тебя.

— Чё ты? Чё тыришься? Я ж ее не убивал?

— Давайте, правда, выпьем! — соглашается Рита. — Я вся закоченела.

— Вот это разговор! — одобряет Дима-маленький и передает Рите стакан. — Дайте ей конфетку.

— Давайте знаете что? — говорит Рита. — Давайте за Ладожское озеро!

— Онежское, — вежливо поправляет Гойя Надцатый.

— Разве? — Рита конфузливо прикрывает рот ладошкой. — Я их всегда путаю. Еще в школе никак не могла запомнить — Ладожское, Онежское...

— Дак что ж тут запоминать! — смеется Савоня. — Это вот и есть Онежское! А Ладога эвон где! — Он машет рукой за корму. — Ладога к Ленинграду. Мы там в блокаду с батареей под Осинцовцем стояли! Ой и дела были!

Бутылка пошла по рукам, досталось немного и Савоне.

— За рулем много н-нельзя! — кричит ему Дима-маленький.— А то на пароход налетишь!

— А и веселый парень! — смеется в ответ Савоня и закусывает непривычное питье папироской.

— Мальчики, мальчики! — оживляется Шурочка. — У меня есть идея!

— То есть?

— Давайте напишем записку и бросим в этой бутылке в воду!

— К-какую записку?

— Как — какую? Кто-нибудь найдет и узнает, что мы здесь были.

— Фи! Кому нужна твоя записка!

— Ничего вы не понимаете! Это же интересно!

— Лучше сдать в б-буфет, — хохочет Дима-маленький.

— Что ты, Димка, все со своим буфетом? Буфет, буфет! Несчастный, помрешь, и ничего от тебя не останется.

— Брехня! — регочет Дима-маленький. — У меня зуб золотой. З-зуб останется. Найдут и скажут, во́ парень был! С фиксой!

Все смеются.

— В прошлом году я была в Теберде, — говорит Рита. — Там берут с собой в горы кисти и тюбы с красками. На одном перевале вся скала исписана. Есть надписи даже тысяча восемьсот девяносто второго года. Какие-то Константин и Соня. Их ведь, наверно, давно уже и нет...

— Это что! — говорит Несветский. — Хотите хохму?

— Валяй!

— Это по Военно-Грузинской. Какой-то шутник в нише над самой дорогой пристроил человеческий череп, а под ним написал: «Я был таким, как вы, вы будете такими, как я. Счастливого пути!» Ничего, правда?

— Фу, какая мерзость! — зябко передергивает плечами Шурочка.

Слева начинает тянуться лесистый берег с белой кромкой

прибоя. Сосны то подступают к самой воде, то, отдаляясь, сменяются полянами, кипящими нехоженой цветью. Дима-большой берет гитару и напевает расслабленным баском, как всегда с насмешливым оттенком:

Ангара и Кама, Енисей и тундра.
Не волнуйся, мама, мы туда, где трудно...

Лодка огибает острый каменистый мыс, отделяющий большую воду от какого-то залива, и все вдруг видят на берегу под вольно разметавшейся сосной островерхую избушку, похожую на здешние часовенки.

— Дак и приехали! — объявляет Савоня.

— Ой, какая славненькая избушечка, — хлопает в ладоши Шурочка. — Вы здесь живете?

— Не-е! Я там... — Савоня неопределенно машет в открытую Онегу. — Вы, робята, давайте вылазьте, теплинку распаляйте, обогрейтеся пока. А я сплаваю, погляжу сетки. Три дня стоят, может, и набежало чего-нито...

Все сходят на берег, а Савоня, проворно оттолкнув полегчавшую ладью, «мухой» уносится в глубину залива.

7

Избушка почти по самую крышу заросла кипреем.

Дима-маленький, первым добежавший до ее порога, распахивает дверь, подпертую колышком, и гости заглядывают в полусумрачную ее глубину. Виднеются составленные в углу весла, серый ворох сетей с берестяными поплавками. Перед единственным тусклым запаутиненным оконцем — грубо сколоченный стол и лавка. Дима-маленький срывает со стены пучок сухой земляники с темными запекшимися ягодами, пробует жевать.

— А ничо́! — одобряет он. — Жить можно!

— Все, мальчики! — Шурочка со вздохом опускается на скамейку и расслабленно роняет руки себе на колени. — Остаюсь здесь и больше никуда-никуда не еду. Вымою полы, повешу на окно занавеску — сказка!

— И я! — подсаживается к ней Дима-маленький. — Ты, старуха, будешь прясть пряжу, а я буду закидывать вон тот н-невод, договорились?

— Нет, Димчик, я одна.

— Б-брезгуешь, да?

— Отвяжись!

— Ага! Все понятно: ты хочешь с Несветским!

— Ничего я не хочу.

— Но учти: Несветский не умеет закидывать невод. Он при галстуке. Через неделю он уморит тебя голодом и сам даст д-дубу, верно, кибернетик?

— Не говори, идя на рать... — парирует Несветский.

— Не ссорьтесь, мальчики. Я не останусь: я совсем забыла, что скоро кончаются каникулы. Идемте лучше собирать дрова.

Гости выходят наружу.

Гойя Надцатый, перекинув через плечо лямку своего сундучка и нахлобучив панаму, отправляется на мыс. У его ног бежит низкое солнце. Оно уже пало на воду и омочило ободок. Далекий пароходик, волоча дым, отважно врезается в правый бок светила и расплавляется в нем, будто в жарком печном устье. И только дым от него все еще волочится по горизонту. Все разбредаются по берегу.

Шурочка об руку с Димой-большим идет собирать плавун, выброшенный волнами, а Рита, грациозно, по-лосиному перешагивая через валуны, в паре с Несветским у края леса лакомятся земляникой.

— У нее очень красивые ноги, — замечает Шурочка. — Обрати внимание.

— Уже обратил.

— Нет, правда.

— Поэтому она не надевает юбок?

— А что, шорты ей очень к лицу.

— Не к лицу, а к заду.

— Болтун! Не будь я такая толстая, я бы тоже носила.

— А почему ее не едят комары?

— Кого, Риту? Ты о ней говоришь так, будто она тебе не нравится.

— Не люблю задумчивых дур.

— Почему же дура? Она учится на инъязке и знает французский.

— Подумаешь!

— Ну хорошо, а я? Тоже дура?

— Нет, Шурок, ты баба компанейская. Мы сегодня с тобой столкуемся, ага?

— Не болтай и подними вот это колесо. Как по-твоему, что это такое?

— Это от прялки. У моей бабки в Тюмени тоже была такая.

— А я думала, корабельный штурвал. И вот эту дощечку тоже возьми.

Присмиревшие в завалине волны с легким стеклянным звоном накатываются на зализанные валуны — восемь ровных, один в один валов, каждый увенчанный солнечной чешуйкой. И лишь девятый набегает покруче, пошумней, с белым барашком на хребтине. Этот девятый дальше других взлетает на камни и, уходя, оставляет среди них пенные живые озерки. Волны несут с собой крепкий смолистый запах неведомых островов, рассыпанных где-то за окоемом, по ту сторону солнца, пахнет от них рыбьими косяками, пресным духом большой воды, а еще древесным тленом, умершими деревьями, останки коих, выброшен-

ные непогодой, белесые, омытые, тут и там виднеются среди прибрежных камней. Встречаются и следы крушений — смоляные доски карбасных днищ, обломки весел и матч с истлевшими канатами, и следы разрушенных безвестных очагов — невесомые кружевные плахи наличников, бревна раскатанных срубов и прочие печальные останки человеческого бренного бытия.

Вскоре под сосной на месте старого очага уже пылал большой и жаркий костер.

В заливе слышится частый стукоток мотора, потом становится видно, как из-за горбатых островков, поросших березняком, выныривает Савонина пирога, черной жужелицей скачет по волнам, а вскоре и сам Савоня, по-утиному раскачиваясь, припадая на правую ногу, появляется на тропе с закопченным ведерком.

— Привез, привез, — еще с полдороги обнадеживает он праздничным голосом. — Как не уважить!

У костра он опрокидывает ведро, и несколько лещей, чавкая жабрами и пуская кровяные пузыри, вместе с мокрой осокой вываливаются на траву.

— Бедняжечки! — Шурочка приседает перед ними, сострадательно трогает пальчиком золотые выпученные глаза. Лещи топорщат плавники, бьют хвостами, и Шурочка боязливо убирает руку.

— Хотел вам сижка уважить, — смеется Савоня. — Ан нет, не попался, однако. Усигал сижок! То ли пароходá бойчее стали ходить, керосин пущать... А уж и было его, разлюбезного!

Он идет с ведром за водой, потом выбирает из вороха дров дощечку, отходит в сторону и, попыхивая «северинкой», морщась и роняя слезу от папиросного дыма, складничком принимается чистить еще живую рыбу. Делает он это с вдохновенной сноровкой, приговаривая и пошучивая, должно быть и сам получая удовольствие от этих приготовлений.

Прогоревший было костер раскочегаривают снова. Кидают на угли найденный на берегу выброшенный волнами могильный крест-восьмерик, связанный из сосновых комлей. Крест сразу же занимается дымным смолистым огнем. Его обкладывают корягами, обломками досок, оконными ставнями, сверху бросают какое-то корытце с поржавевшими колечками по четырем углам, на боковых стенках которого еще виднеется обветшалая, трухлявистая резьба, изображающая рыбок.

— Хе, какой корабель попался! — щурится Савоня, глядя, как резные рыбки, объятые огнем, шевелятся и корчатся, как живые. — Когда-нито малец в е́м качался, начинал свое плавание. Дак и вырос, поди, давно! Сколь годов зыбку-то по Онеге носило. А может, и крест тоже его...

Савоня уходит к заливу, споласкивает там нарезанные куски

рыбы, достает запрятанные в лодке соль, луковицу, и вскоре ведерко, пристроенное у края костра, уже побулькивает и дымит дразнящим рыбным парком.

Корытце налилось бегучим малиновым жаром, резные рыбы коробятся в судорогах, отстают от стенок, кучеряво закручиваются и осыпаются тонко звенящими углями. Пламя вскидывается с жадным гудом и треском под нижние ветви сосны, и опаленная хвоя осыпается серыми хлопьями пепла.

— А и весело горит! — одобряет Савоня. — Кидайте, кидайте, ребята, грейтесь. Тут этого хламу куда с добром! Сколь по островам да по суземью хоромин трухлявится, совы живут... Раньше оно как? Раньше мужики кажинный год что-нито ладили. Дома ставили, гумна да баньки рубили. Не себе, так еще кому. Дело завсегда топору находилося. — Савоня черной щербатой ложкой зачерпывает жижицу, пробует, сварилась ли уха. — А теперь что ж... Теперь этого ничего не надобно. Не для кого ладить, дак... Наше, стариковское, теперь дело такое: запасай себе последнюю домовину и дожидайся своего часу. Одно лето попрыгал, ан другое, глядишь, и не доведется...

— П-помирать, б-батя, не надо, — говорит Дима-маленький, поигрывая хворостинкой, на конце которой пламенеет уголек.

— Это вам не надо. А нам не схошь, а придется. Онега теперь не наша. Теперь вам ею владеть. Какие дела вы тут на ей будете делать, с вас спрос. А мы свое уже все поделали на этом свете. И топором помахали, и государство сынами снабдили. Вон разъехались мои сыны, не схотели оставаться дома. Как скворухи из скворешни. Они сами по себе, а я сам по себе...

Савоня, глядя в булькающее ведерко, скорбно задумывается, хмурит надбровье, прихватывает верхней губой нижнюю, но тут же оживленно вскидывает голову:

— Дак и чего там! Теперь отцовским домом никто не живет! Это допрежь люди друг дружку держались, по лесам да по островам от миру прятались, куда поглуше. Жить старалися, штоб ничего не надобно было от прочего миру, ни синь-пороха... Дак и пошто порох, ежели без ружья, по три дюжины косачей на повети висело. Силками лавливали. Сами ткали, сами сапоги тачали. Одна соль не своя... Ну а теперь, ясное дело, не в лес бегут, а поближе к магазину. Дак я и сам, — смеется над собой Савоня, — старый да хромый, а вон куда из дому забежал! Ни к чему теперь островная жисть. И государству один нечет. Ни сосчитать нас, ни собрание какое устроить или кино... Глухари, мошники!

Савоня еще раз прихлебывает из ложки и отодвигает ведро от огня чуть в сторону.

— Так... Где вечерять желаете? Здеся или в избе?

— Мальчики, давайте здесь, на воздухе.

— Оно, конешно, вам на воздухе интереснее. Дак тади стол надобно выставить. Там у меня и миска гдей-то была. Только беда, ложек нету, одна-разъединая.

— У нас есть картонные стаканчики.

— Ну тади можно и кушать.

Кличут Гойю Надцатого. Тот молча протягивает руки к огню, потирает выпачканные мелками легкие долгопалые ладони. Взгляд у него далекий, отсутствующий, как у пророка, и видно, что весь он еще там, на берегу, где осталась его тренога.

Из избы выволакивают стол и лавку, ставят между костром и стеной сторожки, из камней и досок сооружают еще сиденья. Шурочка достает из рюкзака хлеб, полкраюхи сыру, стопку бумажных стаканчиков. Савоня щепкой поддевает ведерную дужку, на ходу обдувает днище и водружает ведро с ухой на середину столешницы. Все рассаживаются с тем нетерпеливым оживлением, которое всегда сопутствует еде под открытым небом.

— А вы что же? — спрашивает Савоню Шурочка, разливающая уху по стаканчикам, которых хватило и под водку.

— Кушайте, кушайте, — мнется в стороне Савоня, — я тут за теплинкой послежу.

— Давай, б-батя! — Дима-маленький выставляет три бутылки «Столичной». — Пропусти лампаду.

Савоня, поупорствовав для приличия, присаживается на краю скамьи рядом с Гойей Надцатым, вешает мичманку себе на колено, приглаживает волосы, сквозь остатки которых проглядывает младенчески розовый череп, и, пока Дима-маленький откручивает пробку и разливает всем по бумажным стаканчикам, сдержанно покашливает, делая вид, что осматривает кровлю сторожки. Тем временем Шурочка разливает уху и на обрывках газеты кладет перед каждым по куску рыбы.

— Ой, давайте, давайте! — торопит она. — Есть хочу — умираю!

Стукаются мягкими, гнущимися под пальцами стаканами, Савоня привстает, тоже тянется чокнуться: «Побудем живы, дак...» — выпивает свое степенно, с праздничной торжественностью.

Уха получилась хороша — крепка, навариста, с душистой янтарной пленочкой, и все набрасываются на нее с азартным упоением.

— А вы знаете, — неожиданно разговорилась Рита, платочком вытирая запотевшие очки, — я ведь чуть было не уехала рейсом «Москва — Астрахань».

— Перепутала теплоходы? — усмехается Дима-большой, обирающий мякоть с лещевой хребтины.

— И ничего я не перепутала. Просто не достала путевки. За два дня до меня последнюю продали.

— Суду все ясно.

— Предлагали на сентябрь. Но куда же я в сентябре? В сентябре занятия.

— А что в Астрахани?

— Как — что? Туда и обратно. Есть такой рейс. Пришлось, как видите, плыть совсем в другую сторону.

— А какая разница?

— Не загоришь, зиму будешь бегать бледной дурочкой.

— Бегать черной дурочкой лучше?

— Но в общем-то я ничего не потеряла. Здесь, оказывается, тоже неплохо. И потом, все на юг и на юг, ужас!

— К-кому добавки? — Дима-маленький, взявший на себя роль виночерпия, отшвыривает через плечо пустую бутылку и распечатывает новую. Шурочка тоже не забывает подливать юшки и оделять рыбьими ломтями, набитыми желтой икрой, похожей на пшеничную кашу.

— Ой, мальчики, не могу! — наконец переводит она дух и двумя пальцами трясет на груди свитер. — Ах, жарко стало!

— Накижалась? — хохочет Дима-большой.

— Ужасно как наелась!

— Давай отстегну юбку.

— Димка, ты невыносимый тип! — обижается Шурочка. — При тебе нельзя ничего сказать. Отчего ты на себя напускаешь?

— На меня дурно влияла улица.

— Болтун! Ты лучше скажи, за что тебя отчислили из института?

— Не отчислили, а ушел по собственному желанию. Как в Одессе говорят, это две большие разницы, мадам.

— Нет, правда. Ты прошлый раз что-то такое говорил... Что-нибудь натворил, да?

— Бывает, Шурок, бывает...

— И что ты будешь делать, несчастный?

— Поеду к бабке в Тюмень, у нее там корова. Или к Димке в Калугу. Буду помогать ему отливать зубы для пенсионеров.

— А разве наш маленький Дима протезист? — изумляется Шурочка. — Димчик, правда? Ты зубной техник? Ни за что не подумаешь!

Дима-маленький, сияя золотым зубом, прикладывает бутылку к сердцу.

— Какой-то там отливщик в платной стоматоложке, — хохочет Дима-большой.

— Так точно, в б-блатной! — выпаливает Дима-маленький.

— Но калым имеет. Так что можно выходить за него замуж. Правда, зашибает маленько. Все брови стер.

— При чем тут брови? — не понимает Шурочка, и оттого все взрываются дружным смехом.

— На бровях ходит!
— Ладно трепаться! — смущается Дима-маленький.
— А хотите номер? — регочет Дима-большой. — Это как я первый раз с ним встретился.
— Брось, ну, с-сказал... — еще больше краснеет Дима-маленький.
— Захожу, значит, в туалет... Где-то под Кимрами. Смотрю, стоит, чуб на глаза, в зеркало глядится. А самого ведет из стороны в сторону, мордой не может попасть в зеркало.
За столом прыскают.
— Ты чего, спрашиваю, дверь ищешь? А он мне: с-слушай, друг, ув-важь... Познакомь с какой-нибудь... А я, приедешь ко мне в Калугу, з-зубы тебе з-зделаю...
— Ой, не могу! — виснет на руке Димы-маленького Шурочка. — Бедный мой Димульчик! И что же?
— Сам, говорю, не можешь познакомиться, что ли? А он: всех уже расхватали, падлы! Есть, говорит, одна, в семнадцатой каюте, да у нее ангина, горло перевязанное, не хочет со мной р-разговаривать.
И опять дружный взрыв хохота, смеется и сам Дима-маленький.
— И ты пообещался? — топочет в изнеможении Шурочка.
— А как же! А иначе не уходит. Там же, в гальюне, заключили трудовое соглашение.
— Ну хохмач!
— Предложил познакомиться с одной. Вы все ее знаете, толстая такая, чулки все на палубе вяжет.
— Тетю Феню? Ой, обхохочешься!
— А ему какая разница? Ему было уже не до Фени... Ага, говорит, уважь... Отвел я его в его же каюту, он сразу и захрапел, отбросил копыта... А на другой день заходит, головой крутит: я, говорит, вчера б-бузил... Это я так... А зубы, говорит, я тебе и за так з-зделаю... Приезжай только в Калугу.
Рита пересаживается к Диме-большому, запускает руки в его брючный карман, достает сигареты.
— Что, подруга, перекур? — трясет он смоляным чубом и, облапив Риту за плечи, поет ей шутливым баском:

Пусть удобства мало, пусть погоды вьюжны,
Не волнуйся, мама, мы туда, где трудно...

Савоня, храня в себе праздничное настроение, радуясь веселому застолью, участливо слушает, о чем говорят гости, потом и сам пытается завести разговор со своим тихим молчаливым соседом.
— Время и нам покурить, дак... — наклоняется он к Гойе Надцатому, протягивая ему обшарпанную пачку «Севера». — Накось моих, простецких.

— Спасибо, не курю, — отстраняет папиросы Гойя Надцатый. — Как-то не научился.

— Это ты правильно. Наука никудышная... Из какой местности будешь?

— Из Куйбышева.

— Так, так... — кивает Савоня. — В Москве бывал, а там не приходилось. В Москве у меня дочка, Анастасья.

— Дочь? Вот как!

— Ага. Меньшенькая. Поначалу просто так поехала, разнорабочей. А потом как-то изловчилася, школу закончила, а заодно и институт. Да там же, в Москве, и замуж вышла. За своего учителя. Правда, мужик уже в годах, но из себя видный, справный такой.

— Это хорошо, — кивает Гойя Надцатый.

— Живут куда с добром! — вдохновляется Гойиной похвалой Савоня. — Кобелек у них лохматенький, дак и тот на диване спит. Это как побанят, побанят его, рушником оботрут и — на диван, на подушку. А ежели прогуляют по улице, до ветру или так чего, дак после того непременно лапы ему споласкивают. Это чтоб паркеть не пачкал.

— Значит, погостили в столице?

— Погостил! Дак я хотел и на зиму там остаться, чего мне тут зимой делать? Ан нельзя! Без пачпорта не дозволяют. Насчет этова в Москве бо-о-ольшие строгости. Анастасья мне говорит: так, мол, и так, был милиционер, справлялся, кто таков, почему без пачпорта проживает... Жалко, говорит Анастасья, жалко отпускать тебя, папаня, пожил бы ты у меня в свое удовольствие, да, вишь, нельзя. Давай, говорит, поезжай к себе, а то мужу могут быть неприятности по службе. Лучше мы когда к тебе приедем. А я и верно, совесть потерял, две недели без никакой бумажки живу, на лифте катаюсь. Они это на службу, а я шасть на лифть да и к зверям. У них через дорогу звери всякие, двугривенный билетик. И сижу-посиживаю, уток на пруду хлебушком кормлю. Да так-то и всякие без пачпортов понаедут, колбасу московскую есть! Непорядок получится! Ты сиди там, где тебе положено, верно я говорю ай нет?.. Дак из какой, забыл я, местности-то?

— Из Куйбышева.

Савоня наморщивает лоб, но не находит в своей памяти такого города.

— Не-е, не слыхал! — добродушно сознается он и тут же оправдывает себя: — Теперь к нам со всяких мест едут, каких-никаких! А то дак и иностранцы.

— Иностранцы тоже бывают? — вежливо справляется Гойя Надцатый.

— А то как же! Целая пропасть! Шляпа так, шляпа этак...

— Наши ведь теперь тоже в шляпах, — замечает Гойя Надцатый.

— Не-е, — смеется Савоня. — Нашего сразу видно, какой он шляпой ни прикрывайся... А эти ходят, разглядывают, аппаратов по две — по три штуки на шее нацеплено. И на меня иной раз нацеливаются: «Карош, карош!» — Савоня пальцами изображает, как его ловят в объектив иностранцы. — Только я не даюсь. Он только на меня наметится, а я картузом да и заслонюсь. А то и задом к нему поворочусь.

— Это почему же? — включается в разговор Несветский.

— Э-э, парень! — торжествующе грозит ему пальцем Савоня. — Я их хвокусы знаю! Пусть кого надо снимают.

— А вот скажи мне, — Савоня обращается уже через стол к Несветскому. — Как это понять? Вот стоит она, церква, и все на нее глядят и удивляются. И большие деньги плотют, дай только доехать до наших мест, посмотреть. Так?

— Так... — согласно кивает пробором Несветский.

— А пошто раньше на нее никто не глядел? Парохода плывут, и все до единого мимо. Не замечают теих церквей, как ежели б их и вовсе нету. Вот скажи?

Савоня сощуривается, пытается поймать и удержать на себе взгляд Несветского, но тот выжидательно молчит, барабанит пальцами по столешнице, и Савоня продолжает:

— У меня на Спас-острове дружок есть давний, Мышев. Теперь по плотницкому при музее. Летом в сорок девятом годе заехал я к нему покурить да попроведывать. Глядь, и начальство вон оно из району. Справился тот начальник про колхозные дела, все свое спроворил и уезжать собрался. А церкви середь острова стоят, никак их не минешь. Повернул он на их поглядеть. Походил это он по погосту, подприщуривался. Мы с Машевым тоже недалече топчемся, што, мол, скажешь. Дак и што сказать, это теперь постройки обихожены да прибраны, ученые к ним приставлены, каждую досочку на учете содержут. А тади ограда была порушена, дурная травина из-под порога прет, скотина шастает. И говорит тот заезжий человек: разобрали бы вы, мужики, этот хлам. Завалится, дак и ушибет кого. Сколь под ним пашни занято, под погостом. Не то, говорит, хоть одни купола посбросайте.

Савоня отрывает от рыбьей головы плавничок, тянет ко рту, но тут же откладывает:

— А теперь вон оно как повернулось! Не успеет один пароход с гостями отчалить, вот тебе сразу оба-два, успевай только принимать да показывать. Што за причина? Должно, указание какое дадено — на церкви глядеть.

Дима-большой откидывает голову в раскатистом хохоте.

— Дак а чего? — растерянно мигает и тоже смеется Савоня. — А иконку теперь и не показывай на пристани. Это как набегут, как почнут отнимать друг у дружки! Каждый норовит себе ухватить. А то дак одно лето детишек привезли да с учителем. Посадили их на камушках, и давай они церквя каждый

себе срисовывать. А учитель меж ними ходит и поглядывает. И так это все усердствуют. Уж, думаю, не из семинарии? Не к духовному ли званию обучают?

— Это, папаша, хорошо, — учтиво поясняет Гойя Надцатый. — Народу надо знать себя, свое прошлое.

— Не-е! — мотает головой заметно охмелевший Савоня. — Я тебе так скажу, начистоту: народу никак не с руки на церквя глядеть. Ему, к примеру, лес надо сплавлять, лен дергать... Когда ему на пароходах кататься? Сто целковых платить за это — не-е! Не поедет, верно говорю! И иконки ему не надобны.

Несветский неожиданно заспорил о чем-то с Гойей Надцатым, и Савоня, видя, что его уже не слушают, договаривает сам себе:

— Оно ведь как: у кого рот, тот и народ... Вон в Вытегре так-то глядели, глядели, да и сгорела церква в одночасье. Семнадцать куполов матушка. С самого Петра простояла. Не-е, ты мне не говори!

Спорили об иконах. Гойя Надцатый, нервно комкая бородку, пытается что-то возражать, но Несветский, на макушке которого задиристо топорщится петушок, запальчиво перебивает:

— Брось, брось, все это мода! Я в Третьяковке специально наблюдал. Вваливается этакая мадам с авоськой — и: где тут Рублев? Ах, как прекрасно! Перед рублевскими досками всегда толпы, и каждый старается изобразить на своей физиономии глубокомыслие.

— Ну почему же изобразить...

— Потому что никак не реагировать на эти доски считается неприличным.

— Но при чем тут дама с авоськой? Надо говорить о сути явления.

— А вот тебе и суть! — перехватывает Несветский. — Нам ужасно хочется, чтобы и у нас была своя эпоха Возрождения. Но этот твой Рублев — мальчик в коротких штанишках по сравнению с тем же Леонардо да Винчи. У того пластика, анатомия, формы, вполне доступные пониманию человеческие образы из плоти и крови. А что у Рублева? Плоско, примитивно!

— Вы это серьезно? — изумленно выговаривает Гойя Надцатый, и его серые, широко распахнутые глаза смотрят на Несветского с горьким недоумением и болью.

— Мальчики, мальчики! — пытается вмешаться Шурочка. — Давайте лучше о чем-нибудь другом. Ну что вы все: Рублев, Рублев, честное слово!

— Давайте, ребята, споем. — Савоня теребит Надцатого за рукав, но Гойя не слышит.

— Нет, позвольте... — Гойя, бледный от выпитого вина и волнения, даже привстает с лавки.

Савоня отмахивается от спорщиков и, обхватив голову ладонями, в одиночестве сам себе наговаривает песню, уже давно шевелившуюся в нем:

Гляну я далёко — там озеро широко,
Озеро широко, да белой рыбы много...

И, почувствовав от этих слов счастливый и щемящий озноб, тихо, под шум спора, отпускает свой слабый и неверный голос на волю:

Ах да озеро широко, ай да белой рыбы много-о.
Дайте, подайте, ой да мне шел-ковый нево-о-д...

Но Савоню никто не слушает. Несветский с насмешливым торжеством в голосе выкрикивает:

— На леонардовских мадонн не только молиться, но и жениться на них хочется!

— Но если хотите знать, образы Рублева превосходят да Винчи своим внутренним драматизмом...

— Ерунда! — обрывает Гойю Несветский.

— Ну дайте же мне сказать, — еще больше бледнеет Гойя Надцатый. —Вы постойте повнимательнее перед его досками, вглядитесь. Рублевские глаза будут потом преследовать вас годами. Итальянцам этого было не дано при всей их живописности.

— Дак давайте споем, — снова просит Савоня и не получает ответа.

Рита и Дима-большой, окутанные папиросным дымом, уже давно отключились от общего разговора. Дима, притянув к себе Риту за талию, что-то бубнит ей на ухо, мотает растрепавшимся тяжелым куделистым чубом перед ее очками. Та косит на него из-под очков близорукие хмельные глаза и, меланхолически усмехаясь Диминым нашептываниям, выпускает в сосновую хвою над головой колечки сигаретного дыма. Потом молча встает и, нетвердо переступая своими сохатиными ногами через валежины, удаляется к ельнику, что темнеет на задах сторожки. Через некоторое время, хватив залпом водки из чьего-то стакана и забрав с лавки Ритину болонью, Дима-большой уходит тоже, грузно хрустя сушняком.

— Пойду дровец пособираю... — оборачивается он с усмешкой.

— Давай ломай сухостой! — подмигивает Дима-маленький, разливая из бутылки. — Кончайте вы орать, о-охламоны! Шурок, давай дерябнем с тобой. Ну их всех к ч-черту!

— Ну хорошо, — наседает Несветский. — Давай возьмем эту самую церквуху, которую нам сегодня показывали... Святого Лазаря, что ли? Называют ее уникальной древностью, то-сё... Но что в ней особенного? Ну скажи честно, что ты нашел в этом Лазаре? Да ничего! Какая-то баня с крестом... И потом, когда рубили этот убогий курник, уже давно стояли действительные

шедевры. Возьми хотя бы храм святого Марка в Венеции. Или Петра и Павла в Риме, Софию в Константинополе... Да куда там!

— Ну зачем же... Зачем же такие произвольные сопоставления? Дело ведь не в том, кто раньше!

— Давайте я вам свеженького налью, — предлагает Савоне Шурочка, видя, как тот пытается подцепить непослушными пальцами все ту же рыбью голову, что лежала перед ним на мокрой газете с самого начала. — Вы совсем ничего не съели. А то опьянеете...

— Не-е! — мотает головой Савоня. — Я не пьяный!

Он неловко, засидело встает, роняет с колена картуз и долго ищет его под столом в чьих-то ногах. Найдя картуз, опускается на плоский камень перед меркнущим костром, подбрасывает на угли обгорелые концы и замирает, вытянув вперед правую ногу. Где-то рядом, за желтым пятном огнища дробит о карги свои неусыпные валы Онега: восемь и девятый, восемь и девятый... Зыбкий свет костра высвечивает корни старого дерева, обнаженные, ястребино-скрюченные, цепко обхватившие валуны. Глухой шум прибоя сливается с вершинным шумом сосны, в корне которой что-то скрипит и постанывает. Савоня слушает этот шум и, допраздновывая в себе свой праздник, возвращается к песне:

Ай дайте, подайте ой да мне шелковый нево-о-д,
Ах да шелков невод кинуть, ой да белу рыбу выну-у-уть...

Песню эту любил петь еще Савонин дед, а деду, должно, досталась она от его дедов — стародавняя запредельная песня. Помнит Савоня, как однажды — и больше потом не доводилось — ездили они с дедом на ярмарку в далекую и сказочную Шуньгу, ошеломившую тогда Савоню-мальчика непреломным скопищем народа, лошадей, лавок, веселой пестротой свезенных туда обонежских поморских и питерских товаров: топоров, пил, прялок, разрисованных дуг, щепной рухляди, тканого узорочья, куньих и горностаевых связок, дегтярных бочек и семужьих балыков... Ехали в Шуньгу не день, а уж и запамятовал сколько, помнит только, как скрипели на раскатах обозные сани, фыркали заиндевелые, с белыми ресницами кони, как хлопали рукавицами озябшие ездовые. Савоня лежал в уютной темени тулупа, задремывал и просыпался то в Подъельниках, то в Губе Великой, то в Космозере... А Шуньги все не было, и дорога бежала и бежала обочь молчаливых боров и усопших подо льдом проток и речек. И все маячила в санном передке дедовская заснеженная баранья шапка, и слышалось неторопливое, отлетавшее с дыханием, с морозным парком:

Ах да шелков невод кинуть, да белу рыбу вынуть.
Ах да бела рыба щука, ой да белая белу-уга-а-а...

Савоня неспешно и бережно, как тонкую мережу, разматывает свою с детства любимую песню, пряча напев за шумным и непонятным спором, все еще продолжавшимся за его спиной, и жалеет, что праздник как-то поломался, не попели хороших песен. Зачем было и ехать.

Между тем Гойя Надцатый, окончательно обидевшись на Несветского, уходит на мыс к брошенной треноге, Шурочка пытается его удержать, а потом напускается на Несветского.

— Ну скажи, за что ты на него навалился? Вечно ты со своими дурацкими спорами!

— Почему же дурацкими? — Несветский засовывает руки в брючные карманы и возбужденно, с победным чувством петуха, только что расклевавшего голову своему хилому противнику, прохаживается вдоль стола. — Все эти иконки, лапти, Иваны Калиты, протопопы Аввакумы...

— У тебя в волосах паук! — вдруг вскрикивает Шурочка.

— Где? Разве?.. — Несветский, смешавшись, отряхивает волосы, ломая свой аккуратно расчесанный пробор.

— Ой, вон он побежал по рукаву! Ужасно боюсь пауков!

Несветский оглядывает пиджак и щелчком сшибает что-то с обшлага.

— Так вот... Надо смотреть не назад, а вперед. Если хочешь знать, атомный реактор — вот мой Рублев! Это штука! Тут мы действительно можем кое-кому утереть нос и оставить после себя настоящие памятники! Я вас как-нибудь приглашу в наш институт, убедитесь. Между прочим, я там возглавляю наше студенческое КБ.

— Что такое — Ка Бе?

— Ну как же ты не знаешь таких элементарных вещей?! Конструкторское бюро. Между прочим, меня оставляют в нем после окончания института.

— Ладно тебе б-бузить... кыбырнетик... — Дима-маленький колотит деревянной Савониной ложкой по недопитой бутылке. — Д-давай лучше х-хлобыснем... Вот он где, р-реактор, понял? А х-хочешь, м-морду набью...

— Ой, мальчики! — спохватилась Шурочка. — Наш дядечка совсем задремал, бедненький!

Савоне хочется сказать Шурочке, что он вовсе и не задремал, но ему становится жаль обрывать песню, и он в ответ качает головой.

Ах да бела рыба щука, ой да белая белуга-а.
Ах да куда девкам сести, ой да белу рыбу чи-и-исти-ить...

— Давай, Ш-ш-ш-урка, — уже с трудом ворочает языком Дима-маленький. — П-по-ехали ко мне в... Калугу. Я тебе з-з-убы з-зделаю... Безо всякой очереди, п-поняла?

— Ой, уморил!

— З-зделаю! Гад б-буду... Девяносто шестую пробу. Люкс!

— Димка, какой ты пьяненький, ужас!

— Чего? Девяносто шестые зубы... з-знаешь кому только д-делают? Не знаешь! А ты, дура, лыбишься! Б-брезгуешь мною, да? Нет, ты скажи...

Ах да белу рыбу вынуть... —

сбивается на старое Савоня и затихает, роняет голову на грудь...

Чудится ему, будто он и в самом деле выбирает невод по темной осенней воде и невод этот тяжел и бесконечен. Савоня все перехватывает и перехватывает тетиву и видит, как в черной глубине огненно мечутся запутавшиеся сиги, высвечивают вокруг себя ночную воду. Савоня спешит-поспешает вытащить сигов, но глядеть на них жарко, невмоготу, и он отворачивается и, обжигая руки, торопко рвет их вместе с ячеями. Рвет и бросает, рвет и бросает... В лодке появляется Дима-большой, он громоподобно хохочет, и эхо шарахается по ночным шхерам и островам: «О-хо-хо!» А рыбы пляшут в огненных хвостах, бьются о дно лодки и со звоном рассыпаются на красные каленые угли...

Савоня приходит в себя от жара, бьющего в лицо. Он невольно отстраняется, трет накалившиеся штанины и только теперь различает по ту сторону высокого языкастого костра, сложенного из сухих валежин и лапника, возвратившегося из лесу Диму-большого. Озаренный отсветом, багроволицый, с набившейся в цыганистые кудри сухой хвоей, Дима-большой наотмашь лупит по гитарным струнам и, раскачиваясь и передергивая плечами, выкрикивает хриплым голосом:

Катари-и-ина! Ох-хо-хо! ох-хо-хо!

Перед ним, приседая и вертя из стороны в сторону коленями, двигая локтями и прищелкивая пальцами, топчутся в каком-то непонятном плясе Несветский и голенастая Рита. Лица у обоих бледны и сосредоточенны, долгие тени танцоров ребристо извиваются на освещенных бревнах сторожки.

Как ты странно идешь!
Ты вот-вот упадешь!
Катари-и-на! ох-хо-хо!

— Ох-хо-хо! — окрикивает издалека Дима-маленький, в одиночестве оставшийся досиживать за столом. — Д-давай, Ритка... накручивай б-бормашинку!

Савоня застится рукой от жаркого света и не замечает, как хрумкает в костре перегоревшая валежина, как осыпается и подкатывается дымным концом под вытянутую бесчувственную ногу. Накаленная у огня и пропитанная лодочным мазутом штанина тотчас вспыхивает вместе с ботинком. Савоня сдергивает с головы мичманку, колотит ею по ноге, стараясь сбить пламя. Штани-

на дымит под ударами картуза, но, раздуваемая взмахами, тут же занимается снова, и пламя переметывается к самому колену. Савоня откидывается назад и, повалившись навзничь, отталкиваясь здоровой ногой, пытается на спине отползти подальше.

Рита первая замечает барахтанье на земле и дико вскрикивает. Дима-большой, отшвырнув гитару, хватает Савоню под мышки и, будто куль, оттаскивает от костра. Потом бежит за ведром и выплескивает на тлеющую ногу остатки ухи. На переполох у сторожки прибегают перепуганные Шурочка и Гойя Надцатый. Под обгорелым и мокрым тряпьем темнеет коричневая голень, и Шурочка, взглянув на обезображенную ногу, болезненно закрывается руками.

— Ой, мальчики, как же это?!

— П-перевязать... н-надо... ерунда. — Дима-маленький, пошатываясь, выходит из-за стола, сбрасывает куртку и пытается порвать на себе рубаху. — П-перевяжи батю, Шурка... Он мужик... м-мировой...

— Ой, да ну тебя! — пугается Шурочка. — Ни в коем случае! При ожогах нельзя.

— Ничего... Пустое... — бормочет Савоня, поднимаясь.

— Соды бы надо, — переживает Шурочка.

— Не-е! — трясет головой Савоня и виновато глядит на ребят. — Вы не беспокойтесь. Ничего не надо. Она у меня такая... Не горит.

— Это у вас... протез? — почему-то еще больше пугается Шурочка, и все в молчаливом оцепенении глядят на Савонину ногу.

Такие ноги встречаются все реже. Многие их владельцы уже отходили свое. Оставшиеся после них фабричные и нефабричные подпорки спрятаны родственниками на чердаки и в кладовки, чтоб не напоминали, не бередили душу. А те, кто еще вживе, за долгие годы наловчились прятать свои фальшивые ноги от посторонних глаз: стараются ходить без палок и костылей, не лезть в трамваи и троллейбусы с передних площадок, не ломиться к гастрономной кассе без очереди, чтобы казаться равными со всеми и не вызывать излишней жалости, а то и молодой и жестокой неприязни. Уходящая в прошлое жизнь сама сглаживает рубцы и острые углы своей истории, и потому, наверно, как на страшную диковину, гораздо более страшную, чем обожженная живая нога, все молча и напряженно глядят на Савонин протез, невосприимчивый к ожогам.

— Это у вас с войны? — нарушает молчание Шурочка.

— Да вот... маленько зацепило, — кивает Савоня. — На Ладоге.

Ногу он потерял в сорок втором лихом году под тем самым Осиновцем, у причалов которого швартовались изрешеченные пулями и осколками суденышки, добиравшиеся по Ладоге с груза-

ми для блокадного Ленинграда. Правда, служил он в частях ПВО, но в тех местах это было ничуть не лучше передовой, поскольку немецкие пикировщики специально охотились за зенитными батареями, прикрывавшими причалы. Наглые одномоторные «юнкерсы» изматывали батарейцев, засыпали их бомбами, хлестали пулеметными очередями, и все же Савонина вторая батарея продержалась несколько месяцев. Лишь осенью сорок второго уцелил-таки злодей: тяжелая фугаска вырыла на месте Савониной пушки глубокую, до воды, воронку. Самого же Савоню нашли в сосняке: он сидел в луже крови и судорожно дергал за обмотку, один конец которой еще был подвязан под коленкой, тогда как на другом болтался повисший на суку ботинок, оторванный вместе со ступней. Той же ночью потерявшего сознание Савоню переправили с попутным катером на Большую землю, где-то в Ярославле ногу еще раза два укорачивали и укоротили выше колена.

— Ну-ка, батя, пройдись, как оно... — просит Дима-большой. — Ботинок вроде цел, одни только шнурки обгорели.

— А и ладно! — Савоня топает ногой, стряхивая с протеза прилипшие рыбьи кости и хлопья вареного лука. — Сойдет! Автольчиком смажу суставы, опять как новая будет. У меня раньше самодельная была. Как с госпиталю пришел, так сразу и состругал. А эту уже опосля дочка подарила. — И, оживившись, рассказывает, как подарили ему ногу: — У них, в Москве, на самодельных теперь не ходят. Приехал я к Анастасеи, а она мне и говорит: ты, папаня, ногу-то эту смени-и. А то весь паркеть мне поистыкаешь, и от соседей неловко. А я, верно, как в Москву ехать, новый рашпиль заколотил...

Все смеются, добродушно двигает морщинами и Савоня.

— Дорога-то не близкая. Дай, думаю, ходулю себе подвострю.

— Перестарался, значит?

— Дак из-за этова и купили мне новую опору, московскую. Обувай, говорит Анастасея, а старую давай снимай. Да сразу и шуганула кудой-то, аж гул по всему дому пошел...

— Это она в мусоропровод, труба такая.

— Может, и в трубу... Пришлось мне в новую обряжаться, куда денешься... Нога, и правда, занятная, в коробку уложена, загорелая, одни заклепки выдают, што не живая. И книжечка при ней, как употреблять. Во куда техника пошла! Да еще две ботинки купили. Ходи, говорит, папаня, не береги, а то будешь беречь, а здоровье дороже. А я поначалу дак раза три, а то и четыре ковырнулся, пока приучался. А то уже, как домой ехал, в Петрозаводску сверзился, с поезда слазил. Вагон-то дали в хвосте, а пристани ему не хватило. Я-то ногу окаянную спустил, а земли все нет и нет, да и сиганул... вот как бок отбил! Ан доскандыбал до дому, ничего... Теперь дак и привык, бегаю...

Савоня, подобрав полу бушлата, подравнивает обгорелые лохмотья, складным ножичком чекрыжит прямо по ноге.

— А и крепкая холера! Сколь годов ношу, другой раз ею заместо весла правлюсь — и не трескается! Што за матерьял такой? Вот и в огне побывала...

— Ты давай и другую порточину подрежь, — добродушно похохатывает Дима-большой. — Как у Ритки, шортики сделай. По моде!

— А и дела! — Савоня в конфузливом смешке оглядывает кургузую штанину. — Чистый турист!

— Иди, бать, в-выпьем... — икает Дима-маленький. Он оборвал все пуговицы на рубахе, выпустил одну полу из штанов и теперь, свесив голову, полусонно сидит на лавке, синея какой-то расплывчатой татуировкой на больнично-белой груди. — У меня дядька т-тоже... на заду к-качается... Все ч-четыре колеса, п-понял? Пижжоны! Да про историю все... т-тырятся... Покажи им, б-бать, как она д-делается... Падлы... Глядите и з-запоминайте... Ленарда Недовинченный. М-махали вы ево, понял? Морды щас буду б-бить...

— Слушай, не заводись, — просит Дима-большой.

— Зачем вы его брали? — морщится Рита и по-свойски запускает руку в карман Димы-большого, достает сигареты. — Он совсем невменяем...

— Набью! — икает Дима-маленький. — Кыбырнетику и н-набью...

— Поехали-ка лучше к тете Фене, а, друг?

— Ой, поедемте, поедемте, мальчики! Спать хочется — ужасно!

Было только три часа с небольшим, а уже над темной гривой леса по ту сторону залива всходило раннее онежское солнце. Оно вставало неяркое, стылое, и на него можно было смотреть не застясь. Низкие слежалые облака тотчас урезали его наполовину, а потом и скрыли совсем.

8

Возвращались по тихой воде.

Онега, наплескавшись за ночь и наволочив на себя пухлое одеяло облаков, умиротворенно дремлет в утреннем забытьи. Вскидывается зоревая рыбешка, хороводясь, дробит сонную воду, оставляя после себя медленно разбегающиеся колечки, похожие на шлепки дождевых капель.

— Сорога играет, к дождю, однако! — щурится из-под картуза Савоня и, обернувшись, глядит, как лодка пашет на два отвала мягко сияющее раздолье. — Скоро паровой окунь пойдет, на мелкое, на луды. — И поясняет, выкрикивая: — Это который табунится по теплой воде, по пару! Еще не время ему. Черема по островам не отцвела! Рано быть паровому!

— Со скольких там... б-буфет? — Дима-маленький переве-

шивается через борт, плещет в лицо с ладони, пьет и шумно отфыркивается.

— Что, друг, перебор? — усмехается Дима-большой. — Два туза?

Дима-маленький молча валится на осочную подстилку и натягивает на себя куртку. Скоро из-под нее раздается засосный храп.

— Все! Этому уже Карелия снится... — кивает Дима-большой и, насмешливо разглядывая обшарпанные сандалии, торчащие из-под голубой куртки, напевает:

Тещи, матери и жены,
Не горюйте, не грустите,
К вам вернутся робинзоны
С чемоданами открытий...

— Ой, мальчики! Мы забыли занести стол... — вспоминает Шурочка. — Там же все раскидано...

— Не беспокойтеся! — отзывается Савоня. — Вернусь когда — приберу. А то дак и сороки подчистят.

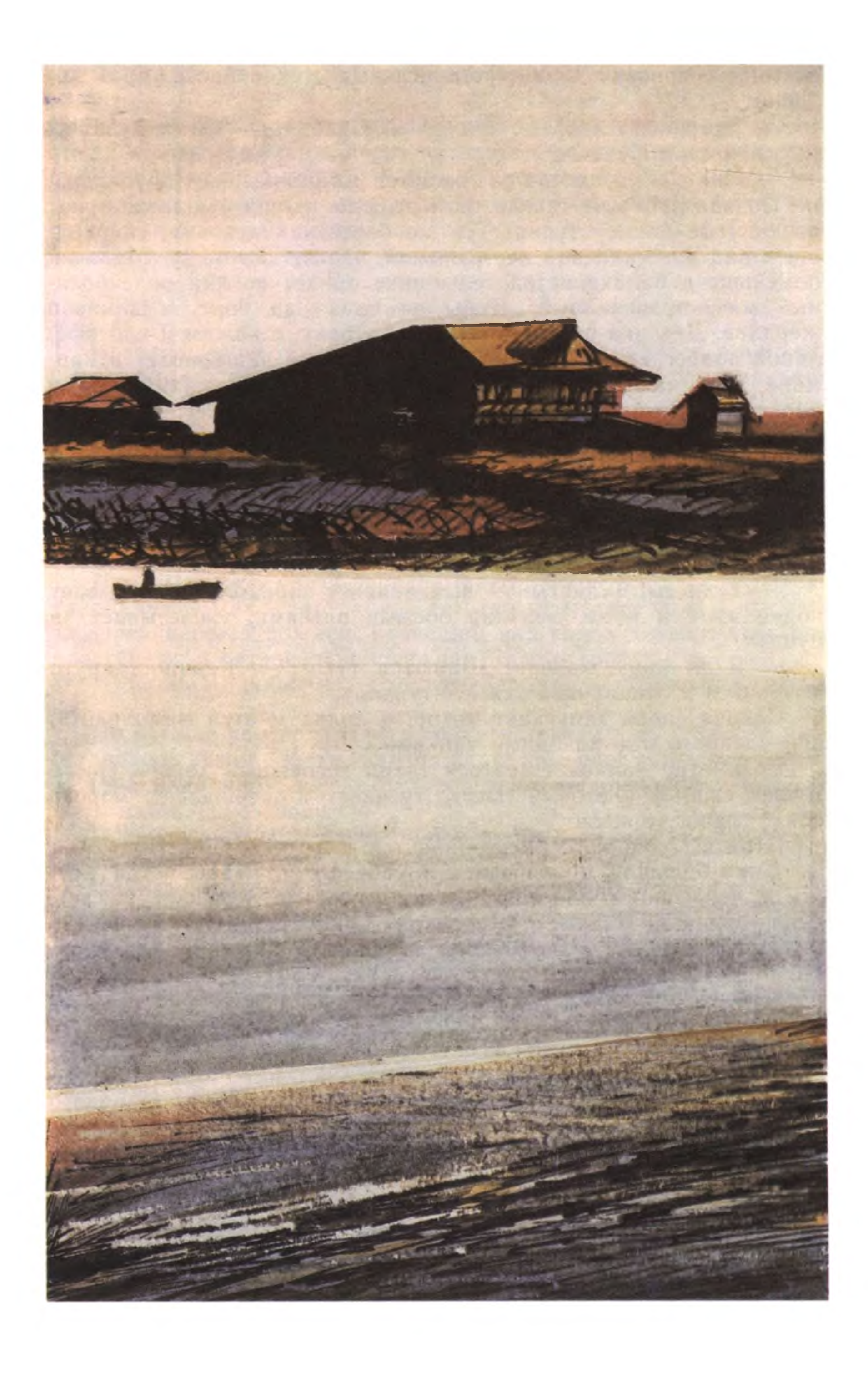
— Это ваша избушечка?

— А — ничья! Так, порожняя... Рыбаки себе срубили. — И, оживившись, рассказывает: — Об прошлом годе так-то двое из Москвы облюбовали, недели три жили, дак... То ли муж с женой, а может, и так просто... На сетях спали заместо постели. Он дак и не брился, пока жил, — бородой оброс. Хочу, говорит, опроститься, ни о чем не думать. Тут, говорит, как в раю. И все, бывало, милуются, рука об руку ходят, грибки-ягоды собирают. А я их рыбкой еще подкармливал. Как раз окунь паровой валом валил. И в магазин плавал, за вином да за куревом... А потом что-то занеладили. Он себе на берегу сидит, она себе... То ли деньги поизрасходовались, то ли наскучило... Рай-то рай, да ежели только ненадолго.

— Бывает, бать, бывает... — Дима-большой шарит по карманам у похрапывающего Димы-маленького, достает колоду карт, предлагает: — Ну как, ацтеки, врежем дурака?

Между скамейками ставят перевернутое ведро, Дима-большой садится в паре с Шурочкой, Несветский с Ритой, Гойя Надцатый играть отказался. Он достает альбомчик и, уединившись на носу, что-то черкает, поглядывая на пробегающий справа берег.

Где-то на полпути встречается черный скуластый буксир с километровым хвостом из связанных бревен. Буксир тяжко, утробно сопит и еще издали окатывает моторку едким солярным дымом, который вычихивает из низкой жерластой трубы. Сиплый гудок требует дорогу, но Савоня не сворачивает, а только глушит мотор, и плотогон с крупной белой надписью на носу «Семен Дежнев» медленно проходит левой стороной. Из рулевой рубки высовывается женщина, по самые глаза повязанная красной



косынкой, пристально и строго вглядывается в пассажиров моторки.

— Здорово, Анна! — кричит ей Савоня. — Одна рулишь? А где ж твой Иваныч?

— Спит, — неохотно откликается женщина. — Нарулился...

Позади рубки на такелажном рундуке из-под бушлата торчат раскинутые босые ступни. Тут же беленькая девочка, склонившись над алюминиевой кастрюлькой, чистит картошку. Мальчик поменьше в балахонистой тельняшке пинает ногами волейбольный мяч, подвязанный, чтобы не падал за борт, к длинной жердине. Девочка первой замечает моторку, с ножом и картофелиной подбегает к поручням. Дима-большой нашаривает в кармане завалявшуюся со вчерашнего конфету, замахивается и бросает на палубу буксира. Девочка испуганно убегает за рундук.

— Но-но! — остерегает женщина.— Я тя швырну! — и грозит кулаком из рубки.

— Ты чего? — удивляется Дима-большой. — Дура ненормальная!

— Это Анна, — коротко поясняет Савоня.

— Тулисты! Тулисты! — выкрикивает парнишка, показывает лодке язык и тоже, мелькая босыми пятками, улепетывает за рундук.

— Я тя кину, холера! Шляются тут... — Женщина круто матерится и отворачивается к штурвалу.

Савоня снова запускает мотор, и лодка мчится мимо плота, облепленного отдыхающими чайками.

Незаметно начинает сеяться тихий неспешный дождь. Онега теряет свой фиолетовый блеск, тускнеет и шершавеет, морось обкладывает горизонт.

Игра в подкидного расстраивается.

Дима-большой притягивает к себе Риту, накрывается вместе с ней общим плащом. То же самое проделывает Несветский, сидящий рядом с Шурочкой. Гойя Надцатый прячет за пазуху альбомчик и натягивает на панаму капюшон штормовки.

Савоня, оставшись наедине с самим собой, поудобнее гнездит голову в поднятом вороте бушлата, недвижно затаивается на кормовой лавке, и только глаза его живо и зорко бегают под навесом козырька, увешанного дождевыми каплями.

Две гагарки заполошно взлетают из-под самого лодочного носа, описывают круги в сером и низком поднебесье. С фарватерной вехи снимается орлан, неохотно тянет в сторону. Гагарки, заметив его, с лету пикоподобно вонзаются в Онегу. Тяжело ухает крупная рыбина, и Савоня догадывается, что сыграла она на луде, которую не мешало бы как-нибудь обметать мережками. Время от времени внезапно набегают скипидарными волнами завешенные моросью близкие берега, и тогда Саво-

ня чуть трогает руль, уходит от незримых скал на открытую воду.

Как всякий туземец, он не умеет отделять себя от бытия земли и воды, дождей и лесов, туманов и солнца, не ставил себя около и не возвышал над, а жил в простом, естественном и нераздельном слиянии с этим миром, и потому, должно быть, как душевный отклик на занимавшийся день, в нем само собой забраживает вчерашнее, давнее, вечное...

Ах да бела рыба щука, да белая белуга...

Потерявшимся телком где-то в шхерах взмыкивает теплоход. Отголоски его гудка мягко толкаются в сыром ватном воздухе о невидимые берега и, отразившись эхом, блудят в проливах. Савоня слушает гудки и пытается разобрать, что за теплоход, откуда и куда идет, и вдруг догадывается, что это дудит «Иван Сусанин», не иначе как успел уже починиться.

— Где плывем? — не сбрасывая плаща, спрашивает Дима-большой.

— Дак и вот уже! — бодро выкрикивает Савоня.

И в самом деле слева проглядывают знакомые разливы лозняка, обрамляющие берег, буйные камыши по мелководью, и вот уже за изредившимся дождем, повисшим над водой парным куревом, проступают и островерхие строения Спас-острова.

— Подъем, робяты! — шутит Савоня. — Приехали, однако...

Но прежде чем подправить лодку к причалу, до которого уже оставалось рукой подать, Савоня вдруг замечает туманную глыбу «Ивана Сусанина», уже отвалившего от дебаркадера и вышедшего на большую воду.

В лодке закричали, засвистели, Савоня поддает газу и пускается догонять теплоход.

Капитан долго не хотел останавливать судно, кричал в микрофон, что ничего не знает, пусть опоздавшие плывут на чем угодно, и даже грозился выбросить за борт оставшиеся в каютах чемоданы, но под конец все-таки смягчился и разрешил опустить трап. Савоня подгоняет моторку к борту, придерживает брошенную чалку, матросы, подтрунивая и перемигиваясь, подхватывают под руки Шурочку и Риту, затем втаскивают сонного, обмякшего Диму-маленького в распахнутой настежь рубахе. Трап убирают, и теплоход сразу же вспенивает за собой воду.

Савоня тоже запускает мотор, плывет рядом и, запрокинув голову, старается разглядеть среди столпившихся пассажиров своих недавних знакомых.

— До свидания! — кричит ему сверху Шурочка, и он растерянно выглядывает и с трудом находит ее в пестрой толпе.

— Прощевай, милая!

К поручням проталкивается Дима-большой, бросает Савоне какой-то синий сверток, который разворачивается на лету и падает в лодку распластанными тренировочными штанами.

— Это тебе! — кричит Дима-большой. — Сам знаешь, за что...

— Ой, парень! И не надо бы...

— Там в кармане троя-як! — трубит в ладоши Дима. — Ну, будь здоров, бать! Салют! Дыши глубже! Ну, будь!

Теплоход гудит так, что на палубе все зажимают уши, лодка, отброшенная бортовой волной, сбивается с хода, постепенно отстает. Савоня поднимается, роняет с колен мешковину, которой прикрывал обнаженный протез, и, стоя, долго машет теплоходу картузом.

Позади него, окутанные мглистой наволочью, брезжут верхами островные храмы. Они будто парят над тусклым серебром Онеги, кисейно-призрачные, неправдоподобные, как сновидение.

ШОПЕН, СОНАТА НОМЕР ДВА

После первых осенних дождей серый пыльный большак почернел, умягчился упруго и был до глянца накатан автомобильными колесами. Сахарозаводской грузовик бежал по нему ходко, почти не гремя бортами, будто по асфальту. В шоферскую кабину никто не стал подсаживаться, всем оркестром в двенадцать человек ехали в кузове на клубных откидных стульях. Здесь, на вольном ветерке, можно было курить, слушать, как Ромка, валторнист, травит свои бесконечные анекдоты, и перешучиваться со студентками, присланными убирать сахарную свеклу. Машина, сверкавшая никелем труб, привлекала девчат, что работали по всей дороге, они отрывались от бурачных куч и с любопытством глядели из-под ладоней, выпачканных землей, на разнаряженных музыкантов.

— Эй, завлекалки! — задевали их ребята. — Сыграть вам па-де-де? Чтоб веселее работалось?

Ромка хватал с колен валторну и, пузырясь на ветру плащом-«болоньей», рвал студеный осенний воздух рублеными пронзительными звуками «Лебединого озера»: «Ла-та-та-та-та-а-тара-та-а-а...»

В ответ летели бураки, грохали по машине, парни, с хохотом пригибаясь, прятали головы за высокие планчатые борта, а Пашка, схватив тарелки, ловко, по-теннисному, со звоном отбивал ими свеклу.

— Полегче, полегче там! — кричал он с азартом, поправляя сбитую кепку. — Чего урожай расходуете!

— Взяли б да помогли! — кричали девчата. — Ишь, вырядились! Тунеядцы!

Машина проносилась мимо, а по сторонам, зажигаясь шутливой перебранкой, уже бежали к дороге, к грузовику, новые стайки девчат и дружно бомбили кузов бураками.

— Эх, соскочу! — хохотал Пашка. — Ой, поймаю курносую! — Под градом бураков он уже не отбивался, а лишь закрывал лицо тарелками, тогда как Ромка, высунув за борт один только раструб, продолжал неистово дудеть, подзадоривать студенток: «Ти-та-та-та-та-а-а...»

Шофер неожиданно тормознул, в решетке заднего окна показалось его злое лицо.

— Вы что, чокнутые? Стекла побьют!

Дядя Саша, старший в оркестре, от самого завода ехавший стоя, облокотясь о кабину, и тоже во время налета девчат вынужденный пригибать голову, обернулся и осадил парней:

— Хватит вам! Павел, ты как с инструментом обращаешься!

— А что им сделается? — Пашка с недоумением повертел никелированными дисками.

Дядя Саша нахмурился.

— Положи тарелки. Нашел игрушки! И вы тоже — угомонитесь.

— Все, старшой, все!

Ребята нехотя рассаживались по стульям.

А дядя Саша ворчал:

— Разбаловались, понимаешь... Не на свадьбу едем. Понимать надо.

— Ну все, отбой. Мир — дружба!

Серенькая, в мелком крапе кепка старшого была надвинута до самых бровей. От встречного ветра фиолетово синели впалые щеки, чисто выбритые перед самым отъездом. Из кармана жесткого шевиотового плаща воронкой кверху торчала его сольная труба в черном сатиновом чехольчике. По давней привычке он всегда держал ее при себе.

Ромка снова принялся за свои байки, ребята обступили его, висли на плечах друг у друга, гоготали вовсю. А дядя Саша, расстегнув плащ, из-под которого сверкнула на пиджаке красная

орденская звездочка, достал из бокового кармана сигарету и, раскурив ее в затишке, за кабиной, продолжал отрешенно глядеть на бегущую встречь дорогу.

Мимо с глухим ревом и чадными выхлопами прошел «КрАЗ». В кузове, наращенном грубыми, неоструганными досками, и в двух его прицепах дядя Саша успел разглядеть серые вороха еще не просохшей свеклы. Следом промчались два голубых близнеца-самосвала — тоже со свеклой, и у обоих на дверцах по белому знаку автотранса. Колхозы спешили, пока позволяла погода, управиться с самой докучливой культурой.

Великая Русская равнина в этих местах постепенно начинала холмиться, подпирать небо косогорами, отметки высот уже уходили, пожалуй, за двести метров и выше. В глубокой древности эту гряду холмов так и не смог одолеть ледник, надвинувшийся из Скандинавии. Он разделился на два языка и пополз дальше, на юг, обтекая гряду слева и справа.

И, может быть, не случайно на этих высотах, не одоленных ледником, без малого тридцать лет назад разгорелась небывалая битва, от которой, как думалось дяде Саше, спасенные народы могли бы начать новое летосчисление. Враг, грозивший России новым оледенением, был остановлен сначала в междуречье Днепра и Дона, а потом разбит и сброшен с водораздельных высот. В августе сорок третьего, будучи молодым лейтенантом, тогда еще просто Сашей, он заскочил на несколько дней домой и успел захватить следы этого побоища на южном фасе. К маленькой станции Прохоровке, куда был нацелен один из клещевых вражеских ударов, саперы свозили с окрестных полей изувеченные танки — свои и чужие. Мертво набычась, смердя перегоревшей соляркой, зияя рваными пробоинами, стояли рядом «фердинанды», «тигры», «пантеры», наши самоходки и «тридцатьчетверки», союзные «черчилли», «шерманы», громоздкие многобашенные «виктории». Они образовали гигантское кладбище из многих сотен машин. Среди него можно было и заблудиться.

Дядя Саша курил на ветру, оглядывал высоты, ныне дремлющие под мирными нивами, а сзади него ребята шумно обсуждали какую-то поселковую новость.

— Зойка приехала? — слышался возбужденный Пашкин голос. — Заливаешь?

— Сам видел, — рассказывал Роман. — Юбка — во! До пяток. С каким-то флотским.

— Хахаль небось.

— Да похоже — муж. В универмаге ковер смотрели. Я подхожу: привет, Зоя. А она черными очками зырк-зырк: «Это вы, Рома? Я вас и не узнала. Богатым будете».

— Про меня не спросила? — с неловкостью хохотнул Пашка.

— Нужен ты ей больно!..

Тогда, в Прохоровке, дожидаясь попутной машины домой, на сахарный завод, дядя Саша долго ходил среди танковых

завалов. Знойный августовский ветер подвывал в поникших пушечных стволах, органно и скорбно гудел в стальных раскаленных солнцем утробах. Но и мертвые, с пустыми глазницами триплексов танки, казалось, по-прежнему ненавидели друг друга. Дядя Саша разглядывал пробоины, старался распознать, кто и как обрел свой конец, пока не натолкнулся в одном месте на тошнотворно-сладкую вонь, исходившую от «тигра» с оторванной пушкой. Видно, наши саперы, перед тем как оттащить танк с поля боя, по небрежности не обнаружили внутри, проглядели труп немецкого танкиста. А может, в тот момент он еще и не был трупом...

— Спорим, уведу! — все кричал, горячился Пашка за спиной дяди Саши. — Нет, спорим?!

— Кого, Зойку? От этого морячка? Сядь, не рыпайся.

— Давай на бутылку коньяку. Жорик, будь свидетелем!

— Брось, дело дохлое, — успокаивал Ромка. — Морячок — что надо. Бумажник достал за ковер платить — одни красненькие.

— Плевал я на красненькие. Только пальцем поманю. Я ж с ней первый гулял.

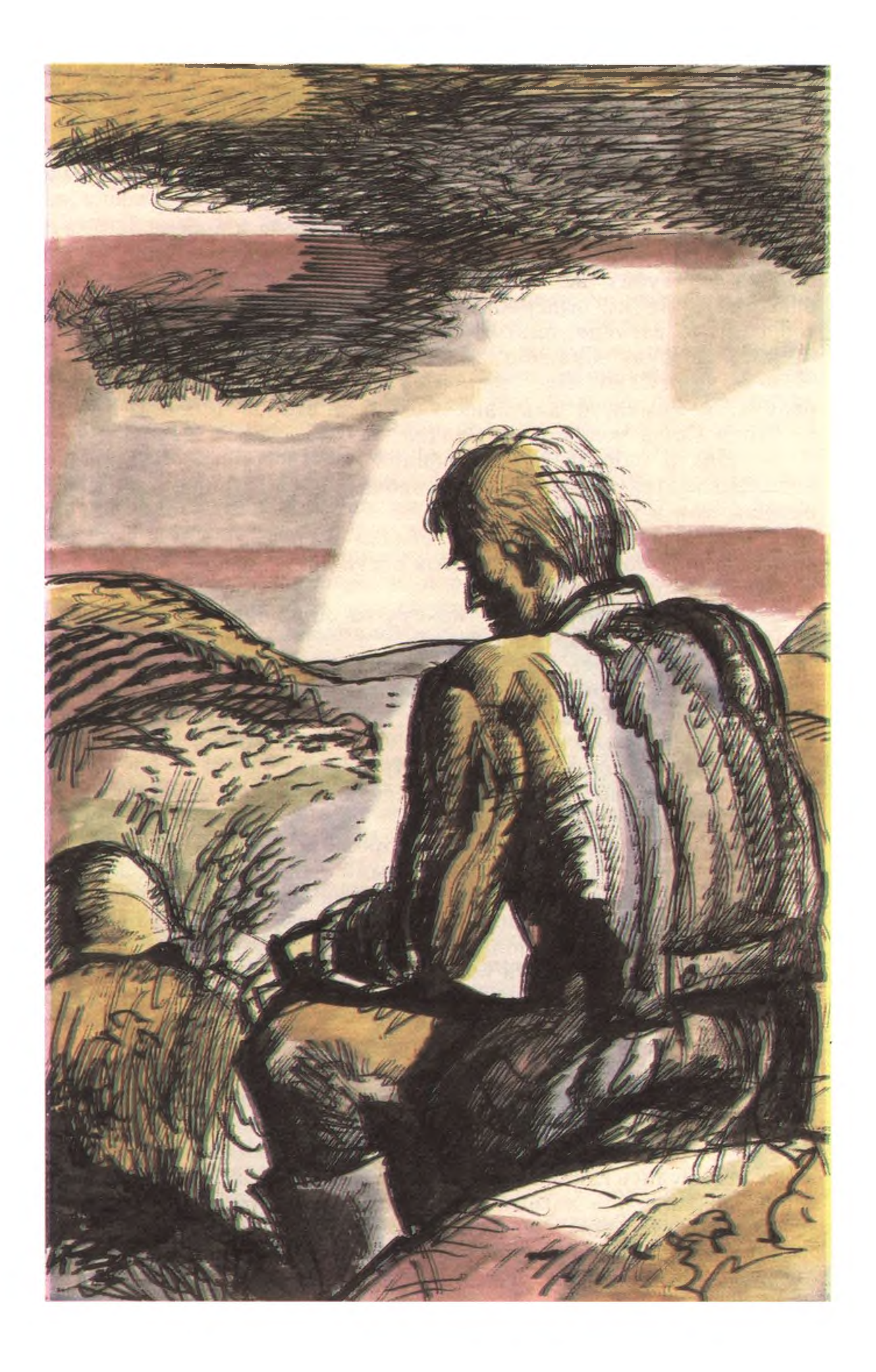
— Ты первый? Ну, трепач!..

Теперь этого танкового кладбища нет. Оно распахано и засеяно, а железный лом войны давно поглотили мартены. Заровняли и сгладили оспяные рытвины от мин и фугасов, и только по холмам остались братские могилы.

Дядя Саша, иногда наведываясь в поля с ружьецом, замечал, как трактористы стороной обводят плуги, оставляют нетронутыми рыжие плешины среди пашни. И как пастухи, выгоняя гурты на жнивье, не дают скотине топтать куртинки могильной травы. Лишь иногда просеменит меж хлебов к такому месту старушка из окрестной деревни, постоит склоненно в немом раздумье и, одолев скорбь, примется выпалывать с едва приметного взгорка жесткое чернобылье, оставляя травку поласковей, понежнее: белый вьюнок, ромашку, синие цветы цикория, а уходя — перекрестит эту траву иссохшей щепотью. Случалось, дядя Саша и сам нечаянно набредал на такой островок, где в жухлой осенней траве среди пашни охотно ютились перепелки, и подолгу задерживался перед ржавой каской, венчавшей могильное изголовье. Иногда сидел здесь, усталый, до самой вечерней зари, наедине со своими мыслями, смотрел, как печалью сочатся закаты над этими холмами, и казалось ему, будто зарытые в землю кости все прорастают то тут, то там белыми обелисками и будто сам он, лишь чудом не полегший тогда во рву, прорастает одним из них...

— Дядь Саш! — не сразу услыхал старшой. — А дядь Саш!

Он обернулся и увидел граненый буфетный стакан, протянутый Севой-барабанщиком. Круглое лицо Севы с выступающей из-под берета ровной челочкой было деловито-озабоченно. От



хода грузовика водка всплескивалась, помачивая половинку соленого огурца, которую он придерживал большим пальцем поверх стакана.

— С нами за компанию, — поддержал Иван, по прозвищу Бейный, высокий нескладный парень с белесым козьим пушком на скулах, игравший в оркестре на бейном басе.

Дядя Саша чуть было не сорвался, чуть не крикнул на Севу: «Ах ты, паршивец! Ты же еще в девятый класс ходишь, еще молоко на губах не обсохло! Выгоню к чертовой матери из оркестра!» Но не выдержал его мальчишески ясного, доброго, терпеливого взгляда, смягчился и только сказал:

— Я не буду. Спасибо.

— Дядь Саш! Ну, дядь Саш! — наперебой загомонили ребята: и Ромка, и альтовик Сохин, и второй тенор Белибин.

Дядя Саша недовольно молчал.

— Ладно тебе, шеф! — с обидой сказал Пашка. — Холодно ведь. До костей продуло. — Он зябко потер ладони. — А ты не будешь, так и мы не будем.

— Нет, ребята, — твердо сказал дядя Саша. — Вы как хотите, а я не могу дышать водкой в мундштук. Мне Гимн сегодня играть, — и отвернулся.

— Так и нам играть! — почему-то обрадовались ребята. — Что ж теперь, выливать за борт?

— Да заткнитесь вы! — оборвал Ромка.

— Севка! — обиженно крикнул барабанщику Пашка. — Дай сюда стакан! Дай, говорю, — и, досадливо кривясь, целясь из стакана в горло бутылки, зажатой меж колен, обрызгивая брюки, стал переливать водку. — Ну и черт с вами! — ворчал он громко неизвестно на кого. — Все такие идейные стали. Еще попросите, а я не дам.

Въехали в знакомую Тихую Ворожбу. Наново отстроенное село больше не угрюмилось соломенными кровлями. Перед домами за весело раскрашенными штакетниками багряно кучерявилась вишенная молодь. На еще зеленой уличной траве мальчишки, отметив кирпичами футбольные ворота, азартно гоняли красно-синий мяч с западающими боками. Увидев грузовик с оркестром, они всей ватагой помчались следом, свистя и горланя. И долго еще гналась вслед рыжая собачонка, с хриплым лаем подкатываясь под заднее колесо. Сева, перевесившись через борт, поддразнивал ее, замахиваясь барабанной колотушкой.

— Ну, честное слово, как маленькие, — досадливо обернулся дядя Саша.

Ему почти не верилось, что на этой тихой улочке, по ее мураве, некогда тянулись глинистые, гнойно-желтые рубцы окопных брустверов, звякали под ногами стреляные гильзы и сухой ветер рассевал золу с горячих еще пепелищ.

Громыхнул под колесами расшатанный мостик, внизу холодно блеснула осенняя вода, усыпанная палым листом, и сразу же на

той стороне, на взгорке, завиднелись избы, но уже другого села, Заполья, тоже восставшего из праха.

Свернув с большака, проехали еще какие-то деревни и раза два пересекли похожие друг на друга речушки. Они во множестве начинались здесь, среди этих водораздельных высот, и разбегались на все стороны света: одни — на запад, к Днепру, другие — к Дону, иные же, сливаясь с притоками, несли свою ключевую свежесть далекой Волге.

За последней деревней, за сырым кочковатым лугом, выпер очередной увал. Сквозь редкие ольхи чернел он осенней пахотой, был крут и наг, как все здешние высоты, на которых из-за ветров и безводья не принято было устраивать жилья, а лишь ставились в прежние времена ветряные мельницы, сгинувшие бесследно в огне последней войны. Мельниц там больше не возводили, а только под осень выметывали соломенные стога, у которых потом, уже по снегу, мышковали голодные лисы. Отсюда, снизу, казалось, что нахолодавшие облака сизым брюхом задевали неприютную хребтину, и там, на ветряном юру, вдруг стала видна на черной перепаханной земле большая пестрая толпа. Люди вдали безмолвно по-мурашиному копошились, перемешивались на одном и том же пятачке, и порой пронзительно вспыхивало под низким солнцем стекло стоявшей там автомашины. Глядя на этих людей, на их молчаливое топтание в пустынном поле, уже прибранном под зиму, на котором не могло быть никакой работы, никакой причины собираться гуртом, парни в кузове невольно присмирели, поняв, что это и есть то самое место, куда их вез старшой.

Молча въехали проселком на крутую гору, по свежим колеям свернули на тряскую пахоту. Чуть поодаль от толпы, за соломенной скирдой, стояли мотоциклы, грузовые машины, прямо на земле лежали велосипеды. У брошенной сеялки белела «Волга». Люди толклись на лоскуте нетронутой желтой стерни, вокруг покрытого брезентом невысокого конуса. Тут же, у подножия, валялись оставшиеся от кладки битые кирпичи, доски опалубки, заляпанные цементом. Школьники в ярких галстуках и белых одинаковых пилоточках старательно собирали весь этот мусор.

К машине с оркестром тотчас подошло несколько человек, и дядя Саша сразу узнал бывших фронтовиков из здешних деревень, с которыми не раз встречался в райбольнице, на втэковских комиссиях. Прямо через борт он обрадованно пожал руку Степану Холодову из Долгушей, Тихону Аляпину с железнодорожного разъезда, однополчанину Федору Бабкину, еще двум-трем незнакомым мужикам и деду Василию, который, не глядя на хромоту, шустро суетился вокруг грузовика.

— Давай, ребята, струмент сюда, — хлопотливо распоряжался дед Василий, ладонью отбивая крючья заднего борта. На нем была артиллерийская фуражка тех лет, еще свежая, незаношенная, должно быть, он берег и надевал ее только по

торжественным случаям, а на груди совсем не по уставу, прямо на новенькой синей телогрейке, покачивались белые и желтые медали. — На травку струмент несите, на травку.

Он принял через борт самую большую, слепящую никелем трубу и бережно понес ее перед собой, как горячий самовар. Тихон и однорукий Степан потащили за растяжки барабан. Вслед понесли, ближе к обелиску, все остальные дудки и трубы. Тут же, на стерне, уже были разложены рядком еловые венки с яркими бумажными цветами.

— На траве оно мягче, — уважительно приговаривал дед Василий. — Струмент все-таки. Вещь ценная...

По всему было видно, что, кроме оркестра, ждали еще кого-то. Под скирдой в затишке сидели женщины. Возле них гомонили дети, затеяли беготню в салочки вокруг соломы. Тут и там прохаживались принаряженные парни с девчатами. Пашка, а за ним и остальные заводские, словно бы невзначай, подошли к местным. После церемонных рукопожатий парни сразу закурили, и вот уже Роман под одобрительные смешки принялся травить свои байки.

Несколько мужчин, должно быть председатели колхозов, все в коротких плащах и шляпах, обособленно держались возле светлой «Волги». На загорелых шеях белели негнущиеся воротнички нейлоновых сорочек. Они тоже покуривали без нужды и были несколько скованы непривычной торжественностью своей одежды и ожиданием предстоящего.

Фронтовики постояли возле сложенных труб, разглядывая хитросплетения блестящих колен и клапанов, потом, как всегда при встречах, принялись вспоминать, кто и где воевал, докуда дошел, где застала победа.

— У тебя, Федор, помнится, вроде бы «Слава» была? — спросил дядя Саша.

Федор махнул рукой сокрушенно:

— Да не нашел. Кинулся в сундук — вот эти лежат, а «Славы» нету. Небось, внук, демоненок, баловался и задевал куда-то. Приставал, помню: дай поносить, дай поносить. Ну, нá, говорю, померяй, побудь в героях. А он, вишь, и забельшил невесть куда.

— А то, глядишь, променял дружкам на какую свистульку.— Дед Василий смеялся беззубым ртом. — Понятия никакого нету, чем за это плачено.

— Дак они, медали-то, вроде как уж и без надобности были, — сказал незнакомый дяде Саше мужик в литых резиновых сапогах. — Победу и ту однова забыли спраздновать. Самый для орденов подходящий день. Многие поотвыкли, вроде и совестно выряжаться. Это вот теперь опять надевать начали.

Старые солдаты, смущаясь, исподволь разглядывали друг на друге боевые награды — у кого сколько и какие.

— Медали пришпилить — куда ни шло, — сказал Степан

Холодов, взглянув на новую телогрейку деда Василия. — От них на одежде никаких следов не остается. А ежели, к примеру, Красную Звезду, дак эвон какая дырка! К маю купил новый костюм, и сразу задача: надевать орден ай нет? И надеть охота, и костюм дырявить жалко.

— Оно ежели б как раньше: навинтил да и носи без съему, — поддакнул фронтовик в резиновых сапогах.

— Ну да, ну да, — кивнул Холодов. — Не станешь же потом всякому пояснять, что дырка-то не простая, а почетная.

Солдаты посмеялись незатейливой шутке, и Холодов спросил:

— Ты, Федор, за свою «Славу» сколько получал?

— Уж и не помню... Рублей тридцать, кажись. Еще старыми.

— Выходит, трешку по-нонешнему?

— Дак нынче и вовсе ничего, — заметил Тихон Аляпин.

— Знаю, что ничего. Это я так, прикинуть. А вообще-то надо бы опять платить наградные. Раз уж ордена начали носить.

— Всем платить — ого сколь надо!

— Да уж сколь? Всего-то рублишко за «Отвагу».

— Тебе рубль да другому рубль — мильон и набежит. Одной «Отваги» и то знаешь сколько?

— Ну, не скажи. Теперь не больно-то густо осталось, — возразил Холодов. — Много ее, «Отваги»-то, на красных подушечках отнесли. Одних маршалов сколь проводили. По газетам гляжу: то один, то другой в черной рамке. А уж нашего брата и подавно большой укос. Да вот считай: тогдашним новобранцам и то уже под пятьдесят...

— Так-то оно так. Костлявая чинов не разбирает...

— Выходит, казне полегче теперь стало. Можно бы какую мзду и начислить солдату, который еще уцелел.

— Ну и крохобор ты, Степк! — сплюнул Федор. — Дай награду тебе да еще мзду в карман. Да нешто мы наемники, что ли? Не чужое обороняли, свое, кровное. К тебе, допустим, в хату воры полезли, а ты их взял да и поколотил. А потом матери своей говоришь: «Я воров прогнал, проявил геройство, давай, мать, за это трояк!» Ведь не станешь у своей же матери требовать? Не станешь! Так и это надо понимать.

— Ну, уел, уел он тебя, Степка! — засмеялись фронтовики. — Ничего не скажешь!

— Да я про что? — тоже рассмеялся Холодов. — Мне разве деньги нужны, чудак человек. Трешка — какая пожива? А когда прежде их платили, вроде бы пустяк, табашные деньги, а — приятно! Вот я про что. Идешь, книжечку предъявляешь — тебе очередь уступают, глядят с уважением.

— Тебе и сейчас уступают, вон рукав пустой.

— Да не дюже-то раздвигаются.

— Э-э, мужички! — воскликнул дед Василий. — Какой

разговор завели! Скажи спасибо, живы остались. Сам бы от себя платил!

К фронтовикам подошел председатель здешнего колхоза Иван Кузьмич Селиванов. Грузный, страдающий одышкой, он был тоже увешан орденами, тесно лепившимися вдоль обоих пиджачных бортов. И даже покачивался на голубой ленте какой-то инодержавный «лев», который за неимением места расположился почти на самом животе. Казалось, Селиванов потому так тяжко дышал и отдувался, что непривычно нагрузил себя сразу такой уймой регалий.

— Привет, гвардия! — сипло пробасил он, расплываясь в улыбке своим добрым простоватым лицом, и сам тоже, как и все прежде, вскользь, ревниво пробежал живыми серенькими глазами по наградам собравшихся.

Дед Василий плутовато сощурился:

— Упрел, однако, Кузьмич! Шутка ли, такой иконостас притащил. Никаких грудей не хватит — наедай не наедай.

В другом месте так лихо и не посмел бы созоровать дедко, но тут, в кругу бывалых окопников, действовал свой закон братства, отстранявший всякие чины, и прежний ездовой безо всякого подкузьмил прежнего командира полка, а ныне — своего председателя. Да и все знали: Кузьмич — мужик свой, не чиновный, с ним можно. Если к месту, конечно.

Иван Кузьмич тоже не остался в долгу перед дедом Василием:

— Свои-то ты, поди, гущей начистил? Сверкают — с того конца поля видать.

— Не-е, Кузьмич, не угадал! — зареготал дед Василий. — Это не я. Это мне баба надраила.

Фронтовики засмеялись.

— Ей-бо, не брешу. Я хотел было так иттить, а она: нехорошо, говорит, с такими нечищеными на народ.

— Ай да молодец баба! — весело похвалил Иван Кузьмич. — Вот кому ордена носить — женщинам нашим!

— Это точно! Ежели по совести, то в самый раз пополам поделить. Одну половину нам, а другую им. Нам за то, что воевали, а им за то, что тыловали. А то ничуть не слаще войны.

— Значит, это старуха тебе так наблистила?

— Она, она! Да и как не наблистить? — развел руками дед Василий. — Ну, которые там медные, ладно. А то ить из серебра, а вот, скажи ж ты, тоже портятся, тускнеют. Я их и в сухое место прятал, на комель, — все едино гаснут. Нету того блеску, как было.

— Время, отец, время работает, — сказал Иван Кузьмич.

— Что там медали! Мы и сами, гляди, как потускнели, поистратились, — заметил Федор. — У всех вон седина из-под шапок.

— А у меня дак и вовсе волос упал. — Дед Василий сдернул фуражку и засмеялся: — Во, как коленка! А в Будапешт этаким молодцом вступал.

— Ну, ты, Василий Михайлович, и теперь еще герой. — Иван Кузьмич потрепал старика по плечу.

— А я и не ропщу! — готовно кивнул дед Василий. — Кукарекаю помаленьку. А то вон которых и совсем уже нет.

— Ох, и верно, мужики, бежит время! — Тихон Аляпин досадливо пересунул на седой голове путейскую фуражку с молотками. — Соберемся когда вот так, солдаты, глядь — того нет, этот не пришел... Совсем мало нас остается...

— А что ж ты хотел, — сказал Федор. — Ты думал, уцелел, дак война тебя минула. Не-е! Сидит она у всех у нас. Грызет, подтачивает. Кого раны доканывают, кого простудные болезни, а кто животом мается. Даром не прошли эти четыре года...

Дядя Саша достал дюралевый портсигар и протянул его в круг на ладони. Все молча потянулись за сигаретами.

Наконец подкатил райисполкомовский «газик», остановился возле белой «Волги». Придерживая шляпу, из машины вышел сам Засекин. Он тоже был в свежей сорочке с галстуком, но в яловых сапогах, изрядно забрызганных грязью. Видно, по пути заезжал куда-то еще, а потому немного припозднился. Вслед за ним выбрался райвоенком, пожилой сухощавый капитан с плащ-палаткой, притороченной на ремешках. Третьим был инструктор ДОСААФ Бадейко. Засекин торопливо пожал руки стоявшим у белой «Волги» и, озабоченно взглянув на часы, сразу же направился к обелиску, собирая за собой, будто невидимым бреднем, быстро густеющую толпу. Молодцеватый инструктор в ухоженных троекуровских баках, с фотоаппаратом через плечо, забегая вперед, громко оповещал:

— Товарищи, товарищи! Давайте подходите ближе! Давайте, давайте! Женщины у скирды, вас тоже касается!

Пока вокруг обелиска собирались люди, теснясь плотным кольцом, дядя Саша подошел к ребятам, уже разобравшим инструменты. Он и сам вынул из кармана свою маленькую трубочку, похожую на пионерский рожок, снял с нее чехол и по привычке несильно, беззвучно подул в мундштук и попробовал клапаны. Музыканты, поглядывая на небо, переминались, пританцовывали в своих легких модных плащах. И действительно, было холодновато. Откуда-то набегали низкие серые тучи. Они накрыли солнце, и стало ветрено, неуютно на открытом и голом угоре.

— Значит, так... — Дядя Саша оглядел строй оркестрантов. — Как только снимут брезент — сразу Гимн. Прошу никуда не отлучаться.

— Да не волнуйся, шеф. — Пашка разглядывал себя в сверкающую тарелку, как в зеркало. — Слабаем, что надо.

— Вы мне бросьте это «слабаем»! — Дядя Саша нахмурился. — Ты, Павел, тарелками не очень-то звякай. Только тебя и слышишь.

— А что? Я все по уму. И в нотах указано: форте.

— «Форте, форте»... Слушать надо. Чувствовать надо мелодию. И весь оркестр. А ты лупишь, как сторож в рельсу.

Пашка обиделся:

— Зря придираешься, старшой.

Тем временем народ вокруг ожидающе притих, и военком, выйдя к подножию памятника, открыл митинг. В районном военкомате он служил уже давно, и знали его многие, особенно фронтовики. С разрубленной осколком нижней челюстью, которая срослась не совсем ладно, искривив ему рот, он выглядел угрюмовато, но был тихим, непритязательным человеком. Еще в самом начале войны, во время эвакуации Шепетовского укрепрайона, он потерял семью — жену и двух девочек — и с тех пор жил бобылем со старенькой матерью, и на его окнах всегда можно было видеть клетки с чижами и серенькими чечетками.

— Друзья мои! — заговорил он, наклонив голову и по привычке поглаживая, застя уродливый шрам ладонью. — Матери и отцы... братья и сестры... дети и внуки! Мы все собрались тут, чтобы почтить память... кто отдал свои жизни...

Быть может, под гулкими сводами зала голос оратора, усиленный микрофонами, и звучал бы как подобает. Но здесь, среди пустынного поля, под необозримым осенним небом, слова показались далекими и бессильными. Толпа задвигалась, еще больше уплотняясь, и детишки, прошмыгивая меж ногами у взрослых, начали пробираться в передние ряды, где послышнее. А Пашка все гудел обиженно:

— Вечно на меня бочку катит. Вон Курочкин ноты прочитать до дела не может, так ему ничего...

— Помолчи, пожалуйста! — досадливо обернулся дядя Саша, пытаясь сосредоточиться, уловить речь военкома.

Налетавший ветер принимался трепать угол брезента на обелиске, порой заглушая речь хлопками, и тогда лишь обрывки фраз долетали до дяди Саши:

— ...дожди смыли кровь павших с этих высот, вы собственными руками заровняли воронки и окопы, засеяли поля хлебом, и мирное солнце светит теперь над вами... Но ничем нельзя смыть нашу скорбь, заровнять наши душевные раны, притупить нашу память...

Военком, забывшись, убрал руку от подбородка, взмахнул ею, рассекая воздух, и стало видно, как нервно напряглась какая-то жила под его щекой, как потянула она всю правую сторону лица книзу.

— Вот возьму и уйду! — Пашка в самом деле отошел в сторону.

— Павел, — прошептал дядя Саша гневно, — встань в строй.

Пашка молчал, упрямо глядя на свои новые штиблеты. Кто-то обернулся в их сторону.

— Встань, говорю! — так же шепотом повторил старшой.

Парень, кисло глядя в поле, нехотя подчинился. И тут, перебивая военкома, раздался возмущенный голос инструктора Бадейко:

— В задних рядах! Прекратите базар, честное слово. Людей надо уважать, в конце-то концов.

Военком вскоре закончил свое выступление и отошел в сторону. Бадейко, пошептавшись с Засекиным, принялся разматывать веревку, витками охватывающую покрывало. Освободившийся брезент еще громче заколотился, потом взметнулся пузырем. Бадейко держал его неловко, беспомощно. Несколько человек подбежало помочь. И когда брезент был усмирен и стащен, перед всеми предстал серый цементный конус, местами еще не просохший, со столбцом фамилий на металлической желтой табличке:

Агапов Д. М., рядовой
Аникин С. К., рядовой
Борвенков В. В., мл. сержант
Вяткин К. Д., рядовой
Гаркуша И. С., рядовой
Захорьян А. Ш., сержант
Иванов И. П., сержант
Махов А. Я., старшина

Это были имена людей, никому здесь не известных и уже давно не существующих, заглянувших в сегодняшний мир спустя много лет в виде знаков алфавита.

Мокряков Т. С., рядовой
Мурзабеков Б., рядовой
Нечитайло Х. И., рядовой
Ноготков С. С., мл. лейтенант
Нуриев А., рядовой
Обрезков П. С., рядовой
Парфенов А. М., мл. сержант

Дядя Саша подумал, что в этом списке его место было бы сразу за Парфеновым, потому что фамилия его тоже на «П» — Полосухин. Лежал бы он, конечно, не рядом с этим самым Парфеновым А. М., а может, сверху него, может, под ним. Это уж как положат. Там ведь клали не по алфавиту...

Ему уже махали рукой, делая знаки, чтоб оркестр начинал, и дядя Саша, спохватившись, поспешно положил пальцы на клапаны трубы.

— Три-четыре! И-и... — Вобрав в себя воздух, он кивнул ребятам уже с трубой, прислоненной к губам.

Медь дружно рванула: «Союз нерушимый республик свободных...» Он не услышал своего корнета, а только почувствовал пальцами напряженную дрожь инструмента. Сотни раз на своем веку играл он Гимн с тех самых пор, как впервые разучил его на фронте. Но когда снова и снова брался он за трубу, какой-то озноб охватывал его. Он поднял взгляд на парней, уже отрешенно-сдержанных, враз посерьезневших, и одобрительно прикрыл глаза.

Засекин первым снял шляпу и склонил голову. Вслед за ним то здесь, то там замелькали руки, стаскивающие шапки. Женщины с прилипшими к ногам ребятишками тоже сняли с них кепчонки и, скорбно понурившись, теребили непокрытые мальчишечьи головы. И только военком не снял своей фуражки, а, приложив руку к малиновому околышу, стоял навытяжку, напряженно мигая, и пальцы подрагивали у его седого виска.

«...Мы в битвах решали судьбу поколений...» — мысленно выговаривал слова текста дядя Саша, следя, как ладно и вовремя отсекают ритм звонкие всплески Пашкиных тарелок. «Молодец! Вот может же, когда захочет».

Перебирая клапаны, дядя Саша слушал оркестр и вспоминал, как летом сорок четвертого под Быховом он в первый раз разучивал Гимн. Молодых офицеров вызвали специально в штаб дивизии, где под баян знакомили с напевом, чтобы потом они научили своих солдат. Музыка показалась тогда очень трудной, и, возвращаясь со спевки, командиры, чтобы не забыть, донести мелодию до окопов, всю дорогу напевали ее вполголоса. Наверно, странно было в прифронтовой полосе видеть разноголосо, нестройно бормочущих офицеров. Многие, пока шли, незаметно для себя все-таки перепутали нить напева, переиначили на свой лад, и потому в окопах солдаты сперва исполняли Гимн вразнобой — один взвод так, другой этак. Но зато слова знали все назубок.

Дядя Саша дал отмашку, и музыка смолкла. В общем, мелодию проиграли сносно, и даже новичок Курочкин пробасил уверенно, без сбоев.

— Спасибо, ребята, — поблагодарил старшой, вытирая мундштук сатиновым чехлом. — Молодцы!

— Ну вот, а ты все ворчал, — бросил Пашка.

К памятнику сквозь толпу, пара за парой, уже шагали пионеры в белых пилоточках, несли венки в черно-красных лентах. Шествие возглавляла молоденькая вожатая с высоким начесом каштановых, должно быть, подкрашенных, волос и тоже в красном галстуке.

Девушка ступала торжественно, ни на кого не глядя, молодое лицо ее пылало и было тоже торжественно, даже строго.

Подножие со всех сторон обложили венками. Двое школьников — мальчик и девочка — замерли справа и слева, подняв руку в салюте. Остальные, отойдя, выстроились рядами, четко обозначенными белыми шапочками.

Митинг начался.

Сначала речь держал председатель здешнего колхоза Осинкин, на чьей земле был сооружен этот памятник. Невысокий энергичный крепыш, на котором, как на молодом кочане с мороза, все поскрипывало и похрустывало — и новенький синтетический плащик с опояской, и крепкие каблукастые полуботинки, — он быстрыми шажками сменил военкома у подножия, снял узкую тирольскую шляпу и обвел всех живыми цыганскими глазами. Колхоз его славился вокально-танцевальным ансамблем, гвоздем которого считался знаменитый «Тимоня», инструментованный старинными рожками, сопелками и кугиклами, каждый год бравший первые премии на областных смотрах. Этот ансамбль был, так сказать, увлечением Осинкина, да он и сам не прочь и спеть, и станцевать при случае. Осинкин же почитался душой различных слетов и районных мероприятий на воздухе, вроде Дня тракториста или праздника Урожая, и непременно избирался во всевозможные жюри. Но при всем при том вел хозяйство расчетливо, даже прижимисто, не любил рисковать, тратить копейку на «ветер» и, прежде чем завести какую-нибудь новую машину, скажем, дождевальную установку или суперзерносушилку, сначала посмотрит у соседа, стоит она того или не стоит. Говорил он всегда безо всяких бумажек, на память называл многозначные цифры распаханных под зябь гектаров, надоенных центнеров молока, сданных яиц, заготовленного силоса, внесенных удобрений, называл суммы доходов и расходов, капиталовложений, неделимых фондов. Словом, любил цифру и умел ее подать, а потому слушали его всегда с оживленным вниманием.

Здесь, на открытии памятника, Осинкина тоже слушали с интересом. Он рассказывал, как было развернуто соревнование на уборке урожая за личное право положить первый кирпич в основе обелиска и что в результате их колхоз сдал уже больше половины сахарной свеклы и, несмотря на отдаленность от приемного пункта, занял на вывозке третье почетное место в районной сводке.

А дядя Саша все смотрел на цементный конус, отыскивая на табличке место, на котором его прервали.

Праведников Г. А., рядовой
Проскурин С. М., рядовой
Пыжов А. С., лейтенант
Рогачев М. В., мл. сержант
Родионов Н. И., рядовой

Как и все остальные здесь, дядя Саша тоже не знал никого из этого списка, но имена неотвратимо притягивали к себе.

— ...Итоги подводить нам еще рано, — продолжал Осинкин, — но то, что мы сделали, это уже весомо. Это, товарищи, ни много ни мало, а тридцать шесть тысяч центнеров сырья для нашей сахарной промышленности, или, если учесть, что из одного центнера бурака можно получить пуд сахара, то — миллион двести пачек рафинада, можно сказать, уже положили на прилавки наших магазинов. А чтобы вам это представить более зримо, то получится по пачке сахару на каждого жителя таких городов-гигантов, как Харьков или Новосибирск.

Романов Ф. С., мл. сержант, —

про себя читал дядя Саша.

Салямов М., рядовой
Санько А. Д., рядовой

— ...Вот сейчас закончим свои дела в поле, — воодушевленно говорил Осинкин, — подчистим там кое-что и вернемся доделывать новый клуб. Денег мы на это не пожалеем: надо миллион — отпустим миллион, надо полтора — дадим полтора. А как же? Хорошо поработали — будем культурно отдыхать, верно, девчата? А отдыхать у нас тоже умеют. Вот был наш ансамбль на ВДНХ,— пожалуйста, еще один диплом привезли.

Говоря, Осинкин время от времени косил карие глаза в сторону Засекина, как привык на активах и совещаниях бросать взгляды в президиум.

Сыромятников В. С., рядовой
Тихомиров П. К., рядовой
Тугаринов М. З., рядовой

Вчитываясь в эти фамилии, дядя Саша как-то и не заметил, когда Осинкина сменила пионервожатая. Придерживая концы отутюженного галстука, которые ветер то и дело забрасывал ей на плечо, она начала звонко и четко рапортовать об успехах школьных следопытов. Старшой слушал эту чистенькую расторопную девочку, а перед ним встала вдруг в памяти картина, виденная все там же, под Быховом.

...Зимой они сменили пехотную часть на плацдарме по ту сторону Днепра. Поредевшую, измотанную шквальным огнем, ее незаметно отвели обратно за реку. И дядя Саша, командовавший тогда ротой, увидел в бинокль перед занятыми позициями убитого бойца. Он ничком висел на немецкой колючей проволоке, сникнув посиневшей стриженой головой. Из рукавов шинели торчали почти до локтей голые, иссохшие руки. Казалось, этими вытянутыми руками он просил землю принять его, неприютного, скрыть от пуль и осколков, которые все продолжали вонзаться и кромсать его тело. Но проволока, видно, крепко вцепилась в солдата и не пускала к земле. За зиму на нем

нарос горб снега, нелепый, уродливый. Это был, по всему, наш сапер или, может, разведчик. Он, лейтенант Саша Полосухин, дважды посылал по ночам своих людей снять убитого. Но труп был пристрелян немцами, и только зря потеряли еще двух человек. Больше за убитым он уже не посылал. Так солдат провисел до самой весны, и всем было больно и совестно смотреть в ту сторону. А в апреле труп оттаял, позвоночник не выдержал, переломился, и убитый обвис на проволоке, сложившись вдвое... Только в июне была прорвана оборона врага. Он, Полосухин, провел роту через проделанные проходы в проволочном заграждении и вдруг с содроганием увидел, что у висевшей шинели ворот был пуст и ветер раскачивал пустые рукава...

Узляков С. Н., рядовой
Умеренков К. Г., рядовой
Федунец М. С., старшина

Кто же был тот, на проволоке? У него ведь тоже были фамилия, имя, отчество...

И дядя Саша подумал: как по-разному может сложиться судьба солдата. Даже если он пал смертью храбрых. Это благо, если его вовремя подобрали с поля боя, если опознали при этом и если ротный, составляя списки потерь, второпях не перепутал, не пропустил его фамилии. Это благо, если донесение попало в вышестоящий штаб и если тот штаб не окружили потом, не сожгли, не разбомбили с воздуха вместе с писарскими сундуками и сейфами. Если... Да мало ли этих «если» на пути солдатского имени к такой вот табличке на братском обелиске! А еще на этом пути и болота, и черные топи, реки и речки, заливы и проливы, обрушенные блиндажи, обвалы домов, сгоревшие танки и эшелоны и многое что другое... А еще — прямое попадание, когда на том месте, где солдат только что бежал с автоматом, через мгновение уже черно и смрадно дымится воронка и комья выброшенной земли, падая, мешаются с кусками одежды, даже не успевшей окровениться...

Фомичев В. А., младший сержант
Ходов С. М., сержант
Цуканов А. Ф., мл. сержант

В это время пионервожатая выкрикнула:

— Никто не забыт, ничто не забыто!

Она произнесла последнюю фразу особенно звонко и, довольная, что нигде ни разу не запнулась, пылая счастливым лицом, на носочках перебежала от обелиска к стоявшим в строю ребятишкам.

Выступило и еще несколько человек: заведующая здешним клубом — женщина уже в годах, но еще проворная, в искус-

ственной дошке под леопарда и крепко отдающая духами; недавно демобилизованный паренек, надевший по этому случаю свой совсем еще новенький мундир с яркой нашивкой на рукаве и, по недавней армейской привычке вытянув руки по швам, отчеканивший о преемственности боевых традиций; после него в круг вышел, опираясь на самодельный костылик, согбенный учитель истории из ближней деревни. Начал он с Александра Невского, с Ледового побоища, перешел к Куликову полю и тут хотел к случаю продекламировать стихи и уже прочел было первые три строчки:

Воткнув копье, он бросил шлем и лег.
Курган был жесткий, выбитый. Кольчуга
Колола грудь, а спину полдень жег... —

но неожиданно запнулся и умолк. Старичок мучительно потирал пальцами восковой висок, напрягал память, твердя последние слова: «...а спину полдень жег...», «...а спину полдень жег...», однако, так и не вспомнив продолжения, сокрушенно махнул рукой и, растерянно улыбаясь, бормоча: «Извините, извините», отступил в толпу.

Вышла и еще женщина, видно, из колхозниц — в зимней суконной шали, с заветренным лицом. За ней побежал было мальчик лет шести, но на него зацыкали, потянулось сразу несколько рук: «Нельзя туда! Ты что ж это?» Однако мальчонка увернулся, прошмыгнул-таки к памятнику и стал рядом с женщиной, упрямо набычась.

— Ничего, пусть постоит, — сдержанно улыбнулся Засекин. — Ишь ты какой герой!

А женщина, не замечая парнишку и еще не произнеся ни слова, сразу побледнела лицом, как только оказалась у памятника, и лишь потом выкрикнула высоким запальчивым голосом:

— Я вам так скажу, товарищи: моих полегло двое. А я хоть и живая, и тоже поранетая на всю жисть...

И вдруг закрылась руками, грубыми, негнущимися пальцами, какие бывают от бурака и стылой осенней земли.

Постояв так в сдавленной немоте перед притихшим народом, она наконец отняла руки, ожесточенно оглядела толпу, ища внутри себя те слова, которыми хотела выразить свою старую боль, и, не сумев найти таких слов, вдруг подхватила мальчика, подняла под мышки и, повернув его к обелиску, выкрикнула в полуплаче:

— Смотри, Витька! И запомни! Вот она какая, война.

Мальчонка, ничего не понимая, замерев, испуганно глядел на граненое острие обелиска.

От имени фронтовиков взялся сказать несколько слов Иван Кузьмич Селиванов.

— Ну что тут можно добавить? — трудно, задышливо

начал он, вздымая грудью всю тяжесть своих орденов. — Ну вот поставлен еще один памятник товарищам по оружию. Это хорошо, это нужно. Теперь будем все сообща беречь его, следить, чтобы время не стерло их имена. Ну конечно, памятник не ахти какой видный. Делали его наши местные мастера. Слов нет, Осинкин мог бы пригласить и поименитей специалистов, поставить и повыше, и пооснователькней, скажем, из мрамора или из гранита: денег у него на это хватило бы — в миллионерах ходит...

Стоявший неподалеку Осинкин нетерпеливо переступил, похрумкал скрипучими штиблетами.

— ...Он ведь как рассудил? Могила, мол, не в людном месте, в стороне от туристских дорог, паломничества не будет, можно и поскромнее.

— Брось, брось, Кузьмич! — не сдержался Осинкин. — Памятник типовой, не хуже, чем у других. Мы в Тарасовке смотрели: там тоже такой, наш даже повыше.

— Дело, в конце концов, не в мраморе и высоте памятника, — продолжал Селиванов, — а в нашей памяти. В нашем понимании того, какой ценой заплачено за победу над самым лютым из врагов, когда-либо нападавших на русскую землю. — Селиванов перевел дыхание. — Мой полк прошел от Воронежа до Белграда. Были моменты, когда в полку оставалось только триста с небольшим человек, и то вместе с ранеными. А когда мы в конце войны вместе с начальником штаба подсчитали, сколько прошло через наш полк людей, то сами себе не поверили. Двадцать две тысячи! Двадцать две! Вы спросите, куда они девались? А вот они! — Иван Кузьмич указал на обелиск. — Тут! Правда, многие остались позади полка по госпиталям и лазаретам. Но многие вот так — в чистом поле. Полк шел на запад, а за нами — от села к селу, от города к городу цепочкой тянулись могилы — путь к нашей победе. За это время я сам вот этими руками подписал и отправил многие тысячи похоронных извещений. И где-то, во всех уголках нашей земли, получали их и неслышно для нас захлебывались горем тысячи овдовевших женщин и осиротевших детей... Полк мой не проходил по этим местам, но здесь шел чей-то другой полк, другая дивизия. И путь ее был такой же!

В толпе кто-то всхлипнул, а Иван Кузьмич, постояв в раздумье, снова поднял голову:

— Заканчиваю, товарищи... Я не стану вас призывать достойно трудиться на этой земле. Вы об этом и сами знаете. Я только хочу, чтобы вы, мужчины и женщины, бывшие солдаты и солдатские жены, участники и очевидцы, пока еще живы, пока это не стало достоянием исторических книг и архивариусов, передали бы своим детям и внукам священную память о павших из рук в руки, от сердца к сердцу. Вот это я хотел сказать.

Ему дружно похлопали.

Больше желающих выступать не оказалось, хотя бывшие фронтовики и подбадривали друг друга: дед Василий — Федора Бабкина, а тот подталкивал в спину Тихона Аляпина, который застенчиво упирался и посылал Федора:

— Какой из меня говорильщик. Ты пограмотней мово. Да и что говорить? Вон Кузьмич все сказал.

Так они препирались тихонько, а слово тем временем было предоставлено самому Засекину.

Засекин вышел в круг и взглянул на часы...

Сегодня дядя Саша слышал в завкоме, что на завод должны были прибыть чешские специалисты. Ожидали их к вечеру, но уже с утра девчата драили столовую, и было слышно, как в заводской гостинице гудели пылесосы. Летом, во время подготовительного ремонта, чехи устанавливали в цеху свои новые диффузионные аппараты повышенной мощности и теперь, когда завод начал сезон, должны были приехать снова, чтобы проверить оборудование под полной нагрузкой. Засекину надо было их встречать, однако митинг затягивался, к тому же его открыли позже, чем намечалось, и предрик, похоже, беспокоился.

Но насчет чехов дядя Саша только предполагал, а возможно, у Засекина могли быть и другие неотложные дела: все же на его плечах целый район, да еще в такую напряженную пору, когда то здесь, то там ломался график уборки сахарной свеклы.

Говорил он, однако, без заметной торопливости, обстоятельно и толково, обрисовал международное положение, рассказал о достижениях района и его текущих задачах, назвал передовиков. Слушали и смотрели на него с особенным интересом, потому что многие видели Засекина вот так близко впервые.

Но тут, в самый разгар его выступления, вышла непредвиденная заминка. Подвыпивший мужичишка, растрепанный ветром, в расстегнутой до пупа рубахе, убегая позади толпы от кого-то, запнулся о лежавшую на стерне басовую трубу и, загремев наземь, плаксиво зашумел, забуянил:

— Ты домой меня не гони! Нечево меня гнать. Я тоже воевал. Я, может, тверезей тебя!..

Засекин прервал речь, на мужика зашикали. Ребята-оркестранты подхватили его под руки и без церемоний, волоком, потащили по пахоте к грузовику. А тот, загребая ногами землю, все вскрикивал визгливо:

— По какому такову праву? Я тоже воевал!

— Но, но! Раскудахтался! — весело покрикивал на мужика Пашка, пользуясь случаем поразмяться, заняться каким ни есть действом. — Будешь выёгиваться — мухой на пятнадцать суток постригу. Жора, давай ножницы!

— А чево она, зануда... Указчица! Нынче наш день. Хочу — гуляю!

Женщина в упавшем на плечи платке понуро шла следом к грузовику, подобрав на пахоте оброненный башмак.

Засекин молчал, сдержанно покашливал — пережидал.

— Это твой артист? — спросил он наконец Осинкина.

— Да тут один... В примаках живет.

— Зачем привезли такого?

— Да ведь кто ж знал? Пока везли, вроде ничего был, незаметно. Это он уж тут, наверно, с кем-нибудь... Приеду — мы с ним разберемся. Вот шельмец!

— Нехорошо получается, товарищ Осинкин.

Парни дружно подняли и кулем перевалили шумливого мужика через борт в кузов, и женщина зашвырнула туда ботинок. Происшествие оживило публику, толпа задвигалась, загудела, мужики стали закуривать. А из кузова неслось разудало:

И все отдал бы за ласки взора-а,
Лишь ты владела б мной одна-а...

— Перебрал Никитич, перебрал! — снисходительно журили в толпе мужика. — Вот ведь и печник хороший, а — с изъяном.

Засекин после этого говорил недолго, и вскоре митинг объявили закрытым. Оркестр снова проиграл Гимн. Но и когда смолкли трубы, толпа все еще стояла вокруг обелиска, и мужчины не надевали шапок.

— Все, товарищи! Все! — вскинул руки Бадейко. — Спасибо за внимание!

Люди, словно не понимая, что все уже кончилось, расходились нехотя, озираясь, оглядываясь, будто ожидали чего-то еще.

Засекин, бегло попрощавшись и уже на ходу напомнив: «Так завтра сессия, товарищи! И — никаких опозданий!» — направился со своими спутниками к урчавшему мотором «газику» и сразу же уехал. Вскоре разошлись по машинам и председатели.

— Василий Михайлович! — окликнул из своей «Волги» Селиванов. — Садись, подброшу.

— Да вот не знаю... — растерялся дед Василий. — Тут робяты, маракуют того... Я, поди, еще побуду маленько... дак и ты, Кузьмич, давай к нашему салашу.

— Спасибо, братцы! Мне этого теперь — ни-ни!.. — Иван Кузьмич положил руку на ордена. — Барахлит что-то...

— Ну, ежели так, то конешно...

Иван Кузьмич, насажав полную машину попутной малышни, тоже уехал, и было видно, как скособочилась на одну сторону перегруженная старенькая машинка.

Поле постепенно пустело. Умчалась машина с веселыми пионерами. Вниз по склону покатили мотоциклы, велосипеды. Неспешно побрели и пешие, кому идти было недалеко, до ближайших деревень, что отсюда, с косогора, виднелись как на ладони.

— «Все отдал бы за ласки взорра-а...» — продолжал выкрикивать мужичонка, высовываясь из-за борта и опять оседая на дно кузова. — «И ты б... и ты б...»

Подошел Федор Бабкин, взял дядю Сашу под локоть:

— О чем, солдат, задумался? Пойдем, посидишь с нами.

Под скирдой уже пристроились Степан Холодов, Тихон Аляпин, дед Василий и еще несколько человек.

— Во, еще один орелик! — оживился дед Василий. — Садись-присаживайся. Какую-никакую, а поминку справим. По старому по нашему обычаю.

Фронтовики охотно раздвинулись, высвобождая дяде Саше место в кружку на соломе. Откуда-то объявилась стопка, налитая дополна, в дяди Сашину руку вложили помидор.

— Давай, товарищ лейтенант, — кивнул дед Василий. — А то говорить поговорили, а добрые слова не скрепили. Они и отлетят дымом, слова те.

Старшой на этот раз не отказывался и, подняв стопку, взглянул на обелиск.

— Ну, простите, братья! Пусть будет вам пухом...

— Вечная память... Вечная память, — нестройно и торопливо заговорили и остальные, опять снимая шапки. — Вечная вам память.

Дядя Саша выпил в молчаливом окружении старых солдат, опустивших седые скорбные головы.

Неожиданно появился Пашка, хотел что-то спросить, но, увидев склоненных людей, в нерешительности замялся.

— Тебе чего, Павел? — поднял глаза дядя Саша.

— Да... хотел узнать... Играть больше не будем?

— Нет.

— Тогда нам тоже можно порубать?

— Садись, пожалуйста, — подвинулся Федор.

— Да нет, спасибо. У нас своя компания. — Он постоял, разглядывая мужиков, потом с обидой сказал: — С нами так не стал, старшой.

— Иди, Павел, — попросил дядя Саша. — Я сейчас приду.

— Да чего уж, сиди, — сказал Пашка. — Я ведь только спросить, будем играть или пошабашили.

Что-то насвистывая, Пашка ушел к ребятам, где на поваленном плашмя барабане стояла бутылка и Жора, шурша бумагой, раскладывал закуски.

Федор Бабкин, поглядывая на женщин, уже рассевшихся по грузовым машинам, украдкой наливал, закрываясь полой, и обносил рюмку по кругу.

— Давай, Степ, бери... Тихон, твой черед...

Фронтовики торопливо выпивали, тыкали дольками помидоров в спичечный коробок, в мокрую розоватую кашицу соли и, не дожевав еще, лезли в карманы за куревом. А с машин нетерпеливо окликали:

— Эй, мужики! Вы чего там колдуете! Поехали!

—. Да сейчас! — отмахнулся Федор. — Сейчас едем.

— Ждать не будем! — кричали с машин.

— Ох, эти бабы! — подосадовал дед Василий, вставая. — Никакого понятия. В кои-то разы собираемся так вот. Может, и не свидимся больше.

Фронтовики нехотя начали подниматься.

— Так пусть себе едут, — сказал дядя Саша. — У меня тут своя бортовая. Тебе, Сорокин, куда?

— Да мы вот с ним, с Хмызовым, из Березовки. А Федору вот с Тихоном в Махотино надо. Дальше, за нами.

— Ну, не волнуйтесь, всех отвезем.

Обрадованный Федор побежал сказать, чтоб их не дожидались. Машины начали разъезжаться.

Вернувшись, Федор выкопал из-под скирды еще одну бутылку, принялся оделять по новому заходу. То обстоятельство, что теперь не надо было никуда спешить, располагало к воспоминаниям, и Степан Холодов оживленно хлопнул себя по колену:

— А вот, братцы, был у нас один случай!..

— Ну, ну, давай.

— Брали мы под Орлом одну высоту. И высотка-то не больно какая, а не подступишься: все открыто, ни кусточка, ни задоринки, а понизу — топь. Ну, раз сунулись — не вышло, в другой — никаких делов. Строчит и строчит из дота. Пробовали бить по нему из минометов — дым, пыль, ну, думаем, все, накрыли! Сунемся, а он опять: тра-та-та-та... Живой, гад! Оно б пальнуть из артиллерии, может, что и получилося, да не было при нас никакой артиллерии. Одни ротные минометы. Ну, а у тех силенок оказалось маловато: фук-фук, а немец цел. И потери у нас уже немалые. Командир батальона по телефону нашего ротного материт, чтоб к такому-то часу высота была захвачена, да и только!

— Ну дак вы б ее ночью-то, по-темному...

— Погоди ты, ночью... До ночи вон сколь было ждать. Да... Сидит наш ротный в траншее, курит, на сапоги плюет — злой-презлой. Мы тоже помалкиваем, отпыхиваемся после атаки. А что скажешь? Видит око, да зуб неймет. Вот тебе подсаживается к нему один солдатик, пацан пацаном. «Товарищ командир, говорит, отпустите вон в ту брошенную деревню. Если я найду, что мне нужно, — даю слово, после обеда сковырнем немца»...

— А что ж ему такое нужно-то было?

— Не перебивай. Сказать, так неинтересно будет. Слушай... Ну, отпустили его, пополз парень. Глядь — вертается, волокет что-то в мешке. Полдеревни, говорит, обшарил, а нашел. Только теперь надо обождать, когда солнце к немцу за спину зайдет...

— А-а! — засмеялся Федор. — Разгадал — зеркало.

— Ну, разгадал — нечего теперь и рассказывать...

— Давай, давай!..

— Изготовились мы к новой атаке, ждем. Только солнце начало к немцу воротить, парень и достал из мешка свою хитрость. А стекло во какое, с газету! Давай наводи, говорит ему командир. Ну и уцелил он что ни есть в самую амбразуру. Немцу, конечно, это не понравилось, а что он может сделать? Кинулись мы все как есть, немец давай пулять, да стрельба уже не та, а куда попало. А парень ему зеркалом-то все в рожу, в рожу! Ну конечно, там, окромя пулеметчика, и еще были, да мы их тут быстро разделали. Так потом и возили с собой зеркало, пуще глаза берегли. Как секретное оружие.

— Дак это ж на Одере так вот прожекторами ослепляли.

— Э-э, браток, на Одере когда было? А то еще под Орлом. Оно, может, потом про наш случай и до генералов дошло, до самой Ставки. Ну дак, ясное дело, у генералов вся техника в руках. А придумка, выходит, солдатская.

— А то вот раз было... — начал фронтовик в резиновых сапогах.

И пошло, и пошло... Заговорили мужики, закраснелись лицами, заблестели глазами — не от водки, нет! Что там водка, если вспомнить нечего! А уж вспомнить им было чего — и геройского, и горше горького...

Возле обелиска не осталось теперь ни одного человека, и он, серый, цементный, одиноко высился среди черной предзимней наготы полей.

— Сколько же их там лежит? — в раздумье спросил Степан Холодов.

— Сорок девять, — ответил дядя Саша.

— Да-а... Где-то сорок девять дворов осиротело. Деревня целая.

— Дак они из разных мест, должно.

— Ну, это я так, к примеру.

— Сорок девять еще немного. — Холодов полез за новой папироской.

— Бывало, и по сотне, а то и больше в одну яму клали. Наш полк в три дня целый батальон потерял.

— А говорят, будто только по нашей местности четыреста таких памятников будет поставлено, — сказал Холодов. — Лектор один приезжал, так рассказывал...

— Вполне может быть.

— Сколь же тогда по всей России? — прикидывал дед Василий.

— А вот и считай...

— Да еще по Польше, да по разным другим сторонам. Под Берлином одним триста тысяч легло.

— Сказано: всего двадцать миллионов.

— А немца сколь?

— Что-то миллиона четыре с небольшим, — сказал дядя Саша.

— И только-то? — удивился Холодов.

— А что — мало?

— Нда-а... Как же так, били-били, а только четыре мильона нахлопали? Выходит: мы его одного, а он наших пятерых...

— Дак, чудак человек, — сказал Федор. — Мы одних только ихних солдат, а они кого попадя: и баб наших, и пацанов. Вот у военкома — и женку, и обеих девчушек... А сколь в Германию поугнал, в лагерях сгноил. Вот двадцать миллионов и набралось.

— Ох, лихо, лихо, — вздохнул дед Василий. — Не заесть, не запить этова. Не заесть, не запить...

Дед Василий помолчал, но вдруг, пересев половчее, сказал как-то осиянно, осветясь лицом:

— А все ж, братцы мои, помереть солдатом в бою с неприятелем — святое дело, што ни говори! Из всех смертей смерть! Ну вот што я? Ну, покопчу свет маленько, годка три-четыре, да и помру на печи. Снесут за деревню и закопают. И вся недолга. Потому как помер от старости. А вот ежели бы я там, солдатом смерть принял — это уже смерть вон какая! Глядишь, и мне памятник бы поставили.

Долго дымили сигаретами. Было слышно, как возле барабана о чем-то спорили музыканты:

— Не, Жорик, мелькомбинату ничего не светит. Кому там играть, где у них форварды? Там кирюхи одни.

— Не скажи! Вот увидишь, воткнут.

— Слабо! Они даже райпотребсоюзу продули.

Степан Холодов поправил пустой рукав телогрейки, выбившийся из-под ремня.

— Ты говоришь — четыреста... — сказал он. — Оно ежели все памятники поставить, как и положено, по тем боям, что тут были, так и пахать негде будет.

Дед Василий, сощурившись, оглядел дальние косогоры, будто прикидывал, где они должны стоять, эти не воздвигнутые еще обелиски.

— Надо бы раньше начинать ставить-то, — сказал Федор. — По свежим следам. Молодняк вон подрос, должон видеть и знать, во что обошлось. А то уж подзарастать начало. Долго ли: плугом прошелся — и все. Равно, гладко, как ничего и не было.

— Я вам так скажу... — Дед Василий обтер ладонью усы. — Это вот пешку, к примеру, сшибли в игре, а в другой кон опять ставь, опять двигай. А у солдата жизнь одна-разъедина. Солдата не воротишь. Ну, а коли он свою голову сложил, то нету цены ей.

Возле барабана дружно смеялись ребята.

— Вот дает! Заливает!

— Чего? — кипятился Пашка. — У них один Зюзя чего стоит!

— Дерьмо твой Зюзя.

— Зюзя — дерьмо? Ха-ха! А ты видел, как он штрафной бил? Видел? Вот как от скирды до того памятника. С тридцати метров. Как врежет! Под самую планку.

Мужики помолчали, прислушиваясь к споривщим музыкантам.

— Н-да... — Тихон поскреб под черной путейской фуражкой. — Я как-то на совещание в Белгород ездил. В дистанцию пути. А там, может, видели, на площади Вечный огонь горит. А над огнем женщина пригорюненная такая. Из камня. Ночевать я не стал, думаю, уеду каким-нибудь товарняком. Иду часу во втором ночи-то через площадь, смотрю, пацаны возле Вечного огня колготятся. Лет по шестнадцати. Хохочут, на гитаре дрынчат. И девчатки с ними, все в белых платьицах. Гляжу, на граните бутылка, стакан. «Ах, говорю, поганцы вы этакие! Да разве для этого огонь тут зажгли?» — «А что, говорят, мы такое особенное делаем? Мы ж ничего не портим». — «Марш, говорю, по домам!» Осерчал я. А они и в толк не возьмут. «Мы тут до утра будем. Рассвет встречать. У нас, говорят, выпускной». Во как!

Сквозь тучи низко, у самого горизонта, пробилось солнце. Оно ударило багряными пучками по дальним угорам, что друг за другом необозримо убегали из виду. Его лучи отыскали среди этих холмов неприметную дотоле церквушку. Трепетный, бегучий свет быстро перемещался, накатываясь все ближе и ближе, и вот уже огнем полыхнула межевая цепочка тополей на соседнем склоне медным отливом затеплились пошни, и среди них радостно зазеленели полотнища озими.

Фронтовики, привалившись к теплому боку скирды, загляделись невольно на это неожиданное прозрение солнца, на торопливый и просветляющий бег лучей его по земле.

И вдруг на фоне темного неба, загроможденного тучами, пронзительно, как вспышка, высветилась кинжально острая грань обелиска. В этот предвечерний час он выглядел особенно отрешенным, как бы вознесшимся над будничной суетой, и, может быть, потому пышная кипень венков у подножия — эта пестрота бумажных цветов, сосновой зелени, черных и красных бантов — показалась дяде Саше каким-то тщетным и ненужным убранством. Как старый музыкант, не раз имевший дело с по-

гребениями, он не терпел венков. Скоро они пожелтеют, осыплется хвоя, дожди смоют с лент непрочные слова, написанные зубным порошком, и нет ничего печальнее видеть потом на могильной плите этот пожухлый мусор.

Солнце, посветив недолго, опять затянулось хмурой наволокой, и по краю разлилась багровая полоса заката. И вскоре предвечерняя синь и вовсе скорбно окутала холмы.

— Пора, однако, по домам. — Дед Василий оглядел небо. — Кабы дождя не натянуло. Второй день что-то мозжит нога, окаянная.

Остальные, вспомнив про разные свои дела, тоже засобирались, и дядя Саша пошел сказать своему шоферу, спавшему в кабине, чтоб тот развез фронтовиков по домам.

И вскоре, пофыркивая и покачиваясь на ухабах, машина увезла и деда Василия, и всех прочих.

К вечеру поутихло. Тучи присмирело сгрудились, непроницаемой толщей повисли над головой. Начало моросить — сперва одной только мокрой пылью, а потом посыпало и всерьез. Оркестранты, оставив лежать на жнивье инструменты, укрылись под застрехой обдерганной скирды.

Уже в который раз выходил дядя Саша на край пахоты, подолгу глядел в сторону большака, откуда вот уже два часа дожидались машины. Но кругом было глухо, как бывает только в осеннем, ненастном поле.

— Ну что, старшой? — нетерпеливо окликали его оркестранты.

Дядя Саша молча возвращался к стогу.

— Небось самогон трескает, — заключил о шофере Пашка. — Это точно.

Ребята угрюмо дымили сигаретами. Было слышно, как в душной утробе скирды пищали и возились мыши. Кто-то вспомнил, что сегодня наши играют на кубок с испанцами и что теперь не удастся посмотреть, потому что игру будут транслировать в семь, а уже начало седьмого.

— А у меня сегодня верная десятка гавкнула, — сказал альтовик Сохин, до самого подбородка обросший бакенбардами. — А то и побольше.

— А тебе куда? — поинтересовался Иван Бейный. — На «жмурика»?

— Ха, на «жмурика»... — Сохин брезгливо поморщился. — На «жмуриков» я уже давно не клюю. Это ты, поди, трояки там сшибаешь. На свадьбу в одно место приглашали.

— Свадьба — это дело, — согласился Иван. — Я быва-ал. Только играть помногу заставляют.

Иван Бейный принялся выдергивать слежало запахшую солому, долго по-собачьи уминал ее, подтыкал под бока и наконец затих. Вскоре раздался его мерный храп.

— Гаммы проигрывает, — усмехнулся Ромка.

Дождь заметно прибавил прыти, зачастил по плащам, парни, подбирая под себя ноги, все теснее жались к скирде. Один Иван Бейный беспечно похрапывал, не замечая сырости. Откуда-то налетела стая грачей, густо усеяла небо и полетела гомонящей полосой на восток, к ночевкам, исчезая, растворяясь в серой кисее дождя. С пролетом грачей вечер окончательно загустел, близко обступил скирду сумерками, и оттого время потянулось еще тягучей. Пашка снял с себя свою куцую «болонью», попробовал укрыться, но не улежал под нею, сырость и копившееся раздражение подняли его, он отшвырнул плащ, как затравленный хорек, свирепо зыркнул по сторонам.

— И на кой хрен надо было отдавать машину! — сплюнул он, яростно тряхнув за плевком рыжей всклокоченной головой. — Теперь вот припухай.

— Да, тут старшой перемудрил, — отозвался Сохин, неприязненно поглядывая, как дядя Саша взад-вперед прохаживался вдоль стога.

Остальные сдержанно помалкивали.

— Всего-то пару раз и сыграли. Стоило ли переться в такую даль! — продолжал распаляться Пашка. — Другого оркестра не могли найти, что ли? Да теперь в каждом колхозе полно духачей. — Он рывком опять натянул на себя плащ, ткнулся головой в солому и уже из-под «болоньи» выкрикнул: — Небось старшой сам и напросился!

— Да помолчи ты наконец! — оборвал его дядя Саша.

Сдерживая себя, он побрел к инструментам, тускло поблескивавшим в стерне. В сумерках едва не споткнулся о барабан, плашмя опрокинутый поодаль. На кожаной деке вокруг опорожненных бутылок мокли клочья газеты, яичная скорлупа, остатки недоеденной хамсы. Старшой весь закипел от гнева: хотя бы убрали за собой эту пакость, черт возьми! И, чувствуя, что уже не владеет собой, вдруг крикнул:

— Разобрать инструменты!

Парни, не поняв, что стряслось, затаенно остались лежать.

— Встать всем! — глухо проговорил дядя Саша, чувствуя, как немеют челюсти.

Музыканты, еще помедлив, нехотя завозились в соломе.

— А в чем дело, старшой? — с небрежной растяжкой осведомился Сохин. И, не получив ответа, пожал плечами. — Что это он, а?

Поеживаясь от дождя, на ходу вытряхивая из пиджаков и штанов полову, оркестранты понуро побрели разбирать трубы.

Послышались раздраженные голоса:

— Чья альтуха?

— Да тихо ты, козел, валторну раздавишь. Смотреть надо!

— Заткнись!
— Иван, забирай свою иерихонскую!
Дяда Саша, не дожидаясь, первым ступил на глыбистую, уже порядком промокшую пашню. Оркестранты, увязая в раскисшей земле, вразнобой плелись следом. На проселке старшой остановился и, когда выбрались все остальные, скомандовал:
— По три разбери-ись!
Ребята недовольно запротестовали:
— А зачем? Что мы, новобранцы, что ли? Кому это нужно?
— Прекратить разговоры!
Порядок построения оркестра все знали хорошо: корнеты — вперед, за ними тенора, альты, басы... Но было непонятно, зачем идти строем, да еще в дождь.
— Да брось фасонить, старшой, — снова попробовал отговорить Сохин. — Ну, чего ты?
— Стать в строй! — Голос дяди Саши звучал непривычно чужим и непреклонным.
— Ого! — отпрянул Сохин и с недоуменной усмешкой втиснулся между Курочкиным и Белибиным.
— Барабан здесь? — окликнул дядя Саша, оглядывая хмуро переминавшихся оркестрантов.
— Здесь! — подал голос Сева из заднего ряда.
— Бейный бас?
— Ну, вот он я... — неохотно отозвался Иван.
— Шагом ар-рш! — Дяда Саша круто повернулся и зашагал вниз. — И не отставать!
Шли в отчужденном молчании, было только слышно липкое чавканье подошв на осклизлом проселке да бряцанье труб, задевавших друг друга. Иногда кто-нибудь чиркал спичкой и, застясь от дождя, закуривал на ходу. И только Пашка продолжал недовольно бубнить, понося шофера, дорогу, погоду и свою горькую судьбу.
— И куда мы? — с язвительностью спросил Сохин.
— «Куда, куда!» — сразу пыхнул Пашка. — С кудыкиной горы — в тартарары.
— Ясное дело: теперь до большака, — предположил Жора.
— Ничего себе! Километров десять! Ну, а там что?
— А там — на попутку.
— Плевать! — фыркнул Пашка. — Идем до первой деревни.
— А на работу? — с растерянностью спросил Курочкин. — Мне завтра в первую заступать.
— А это старшой отвечает. Наше дело телячье.
Склон был крут, ноги ступали будто в пустоту. По сторонам все выше дыбились горбы соседних холмов, и все меньше оставалось над головой тускло-серого неба. Угор нескончаемо сбегал и сбегал вниз, дорога уже едва различалась, и оркестранты, скользя и разъезжаясь ногами, спускались будто

в преисподнюю, сокрытую дождем и надвигавшейся темнотой.

Где-то ниже вдруг охватило подвальным холодом, дохнуло стоялой водой, жухлой осокой. Под ногами зачавкала жижа.

— Все! Начерпал в корочки, — кисло объявил Пашка. — На той неделе тридцатку отдал, теперь хана им.

— А ты ходи по камушкам, — усмехнулся Ромка.

— По каким камушкам? Какие тут камушки — сплошное болото.

Дорогу обступили черные громады ракит, под которыми сразу стало темно, как в пещере. Дождь глухо шумел где-то высоко над головой, путаясь в чащобе веток, и лишь отдельные капли разреженно и тяжело колотили по спинам. Строй окончательно рассыпался, оркестранты брели как попало, прощупывая места потверже. Под ногами захрустел скользкий хворост, должно быть наваленный шоферами в топких колдобинах. Ветви пружинили, цеплялись за штаны, больно хлестались, из-под них при каждом шаге с хлюпом выбрызгивалась грязь. Иван Бейный вместе со своим басом залетел в какую-то канаву и долго шуршал кустами, отыскивая кепку. Выбравшись на твердое, он стал уверять, что идут вовсе не туда, не по той дороге, и вообще зря стронулись с места.

— Вот увидите, запремся куда-нибудь, — ворчал он, долговязо и неуклюже перепрыгивая по затонувшим слегам. — Днем, когда ехали, никакого болота не было.

— Это точно! — злорадствовал Пашка. — Завел Сусанин. И чтоб я еще куда поехал! Мотал я такую самодеятельность!

Дядя Саша остановился, подождал Пашку.

— Ты вот что, Павел, — сказал он, придерживая парня за рукав. — Возьми-ка у Севы барабан.

— А почему, спрашивается, я?

— Да потому, что у тебя одни тарелки.

— Пусть Курочкин несет, любимчик твой. С его мордой только барабан таскать.

— Нет, понесешь ты, — жестко сказал дядя Саша.

— Все Павел да Павел, — передразнил Пашка. — Целый день придираешься.

— Ну хорошо. Не возьмешь барабан — понесу я.

Пашка угрюмо молчал, пытаясь освободить рукав из крепко державших дяди Сашиных пальцев. И вдруг заорал:

— Севка, паразит, давай свое грохало!

— Ладно, дядь Саш, я сам, — откликнулся Сева. — Мне еще не тяжело.

— Отдай, отдай! — строго настоял дядя Саша и, отпустив Пашку, пошел вперед. — Пусть понесет.

Пашка сорвал с подошедшего Севы барабан, сунул ему тарелки и, зло выматерившись, дал парнишке пинка.

— У, оглоед!

Ребята гуськом проходили мимо Пашки, не ввязываясь в спор. А Пашка, усевшись на барабан, жадно курил и, когда все прошли, поплелся сзади, чтобы ни с кем не идти рядом.

Держась за хлипкие перильца, ощупью минули какой-то мосток, который то ли был, когда ехали сюда, то ли не был.

Наконец кончился ракитник, и постепенно начал угадываться подъем. Небо расширилось и, казалось, даже чуть посветлело. Все ожидали появления деревни. Но дорога, враз раскисшая, налившаяся водой по колеям и выбоинам, все тянулась куда-то с удручающей прямизной, все маячили надоедливо телеграфные столбы в серой хляби меркнущего неба, и ничего не было слышно, кроме дождя, хлеставшего по спинам и трубам. Парни нахохленно брели за дядей Сашей, уже не обходя ни луж, ни колдобин. Двенадцать пар башмаков, еще утром начищенных до щегольского сияния, нестройно и безразлично чавкали, осклизались, хлюпали в сметанно-вязкой жиже, и в этой беспорядочной толчее ног старшой улавливал скрытое недовольство самолюбивых, ничего еще не видевших мальчишек, почитавших себя на этом пути мучениками и жертвами несправедливости и произвола. В общем-то, конечно, получилось довольно нескладно, и дядя Саша испытывал неприятное чувство вины перед ними, но ведь должны же и они понимать то главное, ради чего он это сделал — отдал фронтовикам машину.

...В сорок третьем из запасного полка вывел он сотни три вот таких же зеленых, необстрелянных парней. И так же лили дожди и непролазны были дороги. Шли только ночами: остерегались авиации. К рассвету делали по тридцать — сорок километров. Тяжелые кирзачи, мокрые, разбухшие шинели, не успевающие просыхать за время коротких дневок, скудный паек и сон не вволю. Парни усыхали на глазах: осунулись, потемнели лицами. К концу недели засыпали на ходу: глядишь, идет, уронив голову, держится за соседа, как слепой. Несколько минут такого неодолимого забытья — и опять топает, месит нескончаемую грязь прифронтовой дороги. Последние тридцать верст уже не шли, а буквально домучивали. Помнится, как в рассветной мгле наконец завиднелись постройки пункта назначения. У всех билась одна только мысль: дойти, свалиться и спать, спать — все равно где, на чем...

И вдруг конный посыльный: прибывшее пополнение будет встречать сам командир полка. По колонне понеслось: «Подтянись! Разобраться по четыре! Оправить обмундирование!» На перекрестке в открытом «виллисе» стоял старый усатый подполковник. Он поднял руку к забинтованной голове, отдал честь едва тащившейся роте. «Поздравляю со вступлением в Дейст-

вующую армию! — хрипло выкрикнул командир полка. — Всем присваиваю звание гвардейцев!» И в тот же миг за его спиной оркестр грянул веселый праздничный марш: «Утро красит нежным светом...» Утро было хмурое, лохматое, в глинистых лужах пузырился осточертевший дождь. Понурые, забрызганные грязью солдаты как могли подровняли нестройные, разорванные шеренги, приподняли отяжелевшие головы, первые ряды даже попытались отбить строевым — так радостно, ободряюще гремела музыка, так звала она к чему-то прекрасному и необыкновенному! «Кипучая, могучая, никем не победимая!» — звонко, радостно пели трубы, и рота, воспрянувшая и слившаяся, вторила им тяжелым и грозным шагом. «Хорошо идете, товарищи гвардейцы! — перекрывая оркестр, крикнул дрогнувший лицом старый подполковник. — Благодарю за службу, сынки!»

В то утро дневки не было. Роте выдали оружие и вручили приказ на новый тридцатикилометровый формированный бросок.

Тем же вечером дядя Саша водил их в первую контратаку. Прорвавшийся враг был остановлен, но многие из них тогда не вернулись...

— Подтяни-ись! — подбодрил парней дядя Саша, прислушиваясь к разреженным шагам на дороге.

На взгорке возле крайней избы старшой остановился. Сквозь перехлест дождя из окон бил яркий и ровный электрический свет, выхватывавший из темноты мокрый почерневший штакетник, за которым в палисаднике взахлеб булькала переполненная кадка. Один по одному к избе молча подходили все остальные. Иван Бейный снял с плеча свою «иерихонскую», опрокинул раструбом книзу и вылил скопившуюся воду. Почуяв за воротами чужих, во дворе загремела цепью, заметалась собака. На ее хриплый, остервенелый брех в коридоре послышались шлепающие шажки, громыхнул деревянный засов, и в освещенных дверях появилась девушка в долгополом халате.

— Ой, кто это? — отпрянула она, увидев сверкавшие на свету трубы.

— Бременские музыканты, — нарочитым басом отозвался Ромка, всегда готовый потрепаться с девчатами.

— Ой, ничего я не знаю! Ма, а ма! — Девушка убежала, бросив дверь открытой. — Ма, там пришли-и...

В распахнутом коридоре были видны клеенчатый конторский диван с высокой спинкой, лопушистый фикус, белые цинковые ведра на деревянной скамье. Серый кот клубком спал на лоскутном коврике, постланном у порога на чистом крашеном полу. Потревоженный кот вытянул передние лапы в сладком зевке, поцарапал коврик и недоуменно уставился на незнакомых людей, столпившихся у крыльца.

Вышла женщина, круглолицая, полнеющая, в теплом платке на плечах. Дядя Саша сказал, кто они и откуда.

— Ой, лихо, в такой-то проливень! — сочувственно ужаснулась она, выглядывая за порог. — Да что ж вы стоите! Проходите уж, чего зря мокнуть.

Оркестранты стали было складывать инструменты на свету под окнами, но хозяйка запротестовала:

— И музыку заносите. Пропасть не пропадет, а кто ж ее знает... Машина невзначай колесами наедет или еще что... Чего ж бросать.

Ребята, пошмурыгав о траву туфлями, пообтрусив плащи, начали подниматься на крыльцо, сразу наполнив коридор запахом дождя и мокрой одежды. Кот предусмотрительно ушмыгнул в кухню. Не зная, оставаться ли им здесь или можно войти в дом, парни неловко теснились, озирались по сторонам.

— Проходите, проходите в горницу, — ободрила их женщина. — Машина мимо пойдет, никуда она не денется. По такой дороге не вот-то проскочит. Ее и в доме будет слыхать.

Покидав в коридоре плащи и башмаки, ребята присмирело, гуськом прошли через кухню в горницу.

Возле кафельной грубки, спрятав руки за спину, стояли четыре девушки, настороженно поглядывавшие на незваных гостей.

— Еще раз здрасте, — вкрадчиво сказал Ромка. Подойдя к девушке, открывавшей им дверь, протянул руку топориком, представился: — Рома.

Девушка пыхнула, некоторое время смущенно смотрела на Ромкину ладонь и, наконец решившись пожать ее, тихо промолвила:

— Вера.

— Очень приятно! — удовлетворился Ромка и передал ладонь другой девушке: — Рома.

— Серафима, — охотно назвала себя другая девушка, в черном спортивном костюме.

— Рома.

— Надя.

— Рома.

— Нонна.

— Очень, очень приятно. А это все моя охрана. — Ромка повел рукой, указывая на обступивших оркестрантов. — Знаете, как поется: «Ох, рано встает охрана!»

Девушки засмеялись.

Неловкость первых минут была преодолена, и вот уже Ромка, подкладывая хворост в занявшийся костерок беседы, допытывался:

— Значит, все четверо — родные сестры?

— Ага, сиамские близнецы, — подтвердила Серафима.

— Ясно.

— Бурачные побратимы, — уточнила Надя.

— А это уже неясно.

— Что ж тут неясного? Приехали в колхоз бурак копать.

— Значит, студенты! Так это вы в нас бураками кидались?

— Когда? — удивились девушки.

— Где? — спросил Ромка.

— Что где? — переглянулись девчата.

— Это вы спрашиваете — где.

Девушки, наконец разгадав подвох, расхохотались.

Дядя Саша остался на кухне с хозяйкой, только что принесшей со двора ведерко с прессованным углем.

Гремя совком, подбрасывая брикеты, мокро шипевшие на огне, она сетовала на дождь, которому можно было бы и повременить, поскольку в полях еще много свеклы. Ей-то дождь ничего, она работает под крышей, на ферме, а другим женщинам теперь достанется: благо ли возиться с бураками по такой земле! Вот и девочки из города у нее квартируют, прислали на уборку. Та вон, в халатике, — ее дочь Вера, а остальные приезжие. Только вернулись с поля, едва успели умыться, переодеться, а завтра чуть свет опять идти. И Вера с ними ходит, оторвали от занятий. В этом году десятый кончает, класс ответственный, а тоже не посмотрели, отправили на бурак.

Говорила она охотно, с той гостеприимной приветливостью, которая невольно усвоена безмужними деревенскими женщинами.

— Да вот решила угольком протопить, просушить девчачью одежку, а то пришли, как гуща. Можно б и русскую печь затопить, девок теплом побаловать, да опасливо — дымить начнет, столько времени нетопленная. Да теперь и редко кто топит печи, все больше плитами обходятся. Меньше хлопот. Это ж раньше сами хлеба пекли да скотине всякого варева на каждый день. А теперь все это отпало. Думала даже сломать печку-то, в доме попросторнеет, да как-то рушить жалко, привыкли. Еще девочкой на ней сиживала, уж годов, годов той печке!

— Дом-то вроде новый, — заметил дядя Саша, оглядывая ровный потолок и свежую матицу.

— Да домок-то, верно, новый, после войны ставленный, а печка старая, еще от той хаты. Это ж как немец спалил деревню, так одни печи и торчали. На нашей весь кирпич пулями да осколками поиссечен, такие щербатины были! Потом, правда, глиной позамазали, а если обмазку отколупнуть, так на ней, бедной, живого места не сыщешь. Она у нас геройская печка, хоть медаль цепляй, — улыбнулась хозяйка. — Жалко разорять теперь.

Из боковушки, опираясь о дверной косяк, выползла старуха в подшитых валенках, тихо, без интереса поздоровалась.

— Да вот, мам, про нашу печь заговорили, — чуть громче обратилась к ней женщина. — Как ее пулями-то посекло.

— А-а. — Старуха, придерживая одной рукой поясницу и опираясь о стол, медленно опустилась на табуретку. — Было, было. — Она уже оживленней поглядела на нового человека.

— От печки все и пошло. Вся наша жизнь теперешняя. Как немец-то ушел, — сказала женщина с добродушной веселостью, — вылезли мы из погреба на свет божий, а света божьего и нет. От нашего двора — ни былочки, ни поживочки, одна черная печка. Поглядела — а труба без крыши-то до того высокая да страшная! А окрест глянула — и деревни нету. Одна дорога. И поле — вот оно, совсем близко.

— Про щи скажи, Пелагеюшка, про щи, — напомнила старуха.

Женщина засмеялась:

— У нас щи перед тем в печи варились. Еще до пожара. Ну, сковырнули крышку-то, а там одна сажа.

Старуха улыбнулась слабо:

— Упарились.

— Ага... Ну дак что было делать, с чего начинать? Как жить? Стали мы нашу кормилицу плетнем оплетать да глиной плетень обмазывать. А сверху крышу из бурьяна накидали. Сарай не сарай, а затишок вроде вышел. С того и начали.

В кухню выскочила раскрасневшаяся Вера, хозяйкина дочь, спросила:

— Мам, можно яблок ребятам дать?

— Да разве жалко? — готовно согласилась Пелагея. — Свои, не купленные. Сходи, доченька, набери.

Девушка вышла в сени и, воротясь, быстро прошла в горницу с решетом крупной, улежалой антоновки. Из комнаты тянуло сигаретным дымом, дядя Саша слышал, как Ромка, видать уже освоившись, трепался там вовсю, и девчонки то и дело прыскали смехом.

— Может, и вы чего покушаете? — обернулась к дяде Саше хозяйка. — Весь-то день, поди, в поле играли, — и, не дожидаясь ответа, засуетилась у полки, достала хлеб, из крынки налила молока в кружку, обтерла донышко и поднесла гостю. — Оно бы лучше чего горяченького, да девчатки пришли, все подобрали.

— Кушай, кушай, — закивала старуха и, помолчав, спросила: — Это ж на каком поле играли, не расслышала я?

— Да вот там, за вашей деревней, — указал дядя Саша. — Как мосток перейти.

— Ага, ага...

— На заяружной пожне, мама, — пояснила Пелагея.

— Ага, ага... На заяружной... — повторила за дочерью старуха. — Дак там-то дюже сильные бои были. Сколь недель бились: он — наших, а наши — его, он вот как палит, а наши не уступают. Коса на камень. Уж так изрыта пожня была, так изрыта! А уж гранатов этих да всякого смертоубийства оставлено — как ребятишки убегут туды, аж сердце захолонет. Сколь покалечило беспонятных. Дикое поле сделалось, весны две не пахали, все, бывало, голодные собаки туда бегали.

Дядя Саша придвинул кружку, и, пока ел, обе женщины как-то вдруг смолкли и, пригорюнившись, с тихим вниманием, исподволь смотрели, как сидит он у них за столом, этот немолодой, усталый мужчина, как ест хлеб и прихлебывает молоко.

— Ох-хо-хо, — вздохнула каким-то своим думам старуха и темной рукой погладила на столе скатерку. А он, запивая хлеб молоком, чувствовал на себе их взгляды и думал, что, наверно, давно за этим столом не кормили мужчину и давно, должно быть, живет в этом доме тоска по хозяину.

Вера опять выбежала в сени с опорожненным решетом, и в горнице весело гомонили, наперебой хрустели яблоками.

— А чем рассчитываться будем за такой сервис? — слышался голос Ромки.

— Да что вы! Ничего и не надо, — отвечала Вера. — Вы уж лучше сыграйте что-нибудь.

— Это всегда пожалуйста.

Старуха, склонив голову, некоторое время тугоухо прислушивалась к разговору в комнате, потом сказала:

— Наш Лексей тоже, бывало, на гармошке играл. Вот так же соберутся, и ну шуметь.

— Дак и Коля тоже играл, — живо заметила Пелагея.

— И Коля, и Коля... — согласно закивала старуха. — Коля тоже веселый был. Они обои веселые были.

— Сыновья? — спросил дядя Саша.

— Сыно-очки, сыно-очки, — опять закивала старуха. — Вот ее, Пелагеюшкины, братья. Принеси, Пелагея, карточки-то, покажь человеку.

Пелагея сходила в темную, без света, боковушку, вынесла небольшую рамку с фотографиями, окрашенную голубой масляной краской, так же как и цветные горшки на подоконнике, как рукомойник в углу, и, на ходу протирая стекло передником, сказала извинительно:

— Висела в горнице, а Верка: сними да сними. Говорит, будто не вешают теперь всех заодно в одной раме, не модно. Теперь, дескать, в альбомах надо держать. Ну, я взяла и сняла, перевесила к маме в темную.

Хозяйка поставила рамку на стол, прислонила к стене. Старуха, щурясь, напрягаясь лицом, потянулась к фотографиям:

— Я дак теперь и не различаю, который тут где. Это вот не Лексей ли? Ну-ка, Пелагея, ты зрячая.

— Это Коля с дружками. Еще в эмтээсе снимались.

— Ага, ага... Дак а это кто же тогда, не пойму?

— И это тоже Коля. — И уж дяде Саше пояснила: — Колиных тут целых три карточки. Вот еще он. С Василием. Это наш, деревенский. Они в одной части были. А Лешина одна-разъединственная. Леша-то наш, вот он. Как же ты, мама, забыла? Он всегда у нас с этого краю был.

— Дак, может, переставили когда... — оправдывалась старуха. — А так, как же, помню... Лексей... сыночек...

Она дрожащими пальцами потрогала стекло в том месте, где была вставлена крошечная фотокарточка с уголком для печати. Дядя Саша и сам едва различил на ней уже слабые очертания лица, плохо пропечатанного каким-то фронтовым фотографом, погасшего от времени. На снимке просматривались одни только глаза да еще солдатская пилотка, косо сидевшая на стриженой голове. Вот-вот истают с этого кусочка бумаги последние человеческие черты, подернутся желтым налетом небытия. И дядя Саша подумал, что, должно быть, старуха мать, сама угасающая и полуслепая, уже не обращается к этой карточке: она давно для нее блеклая пустота. И даже, память, быть может, все труднее, все невернее воскрешает далекие, годами застланные черты. И только верным остается материнское сердце.

— Лексея-то помню... — как-то отрешенно, уйдя в себя, проговорила старуха. — Как же, первенец мой. Уже зубочки резались, а я все грудью баловала. Уж так прикусит, бывало... — Старуха провела по пустой ситцевой кофте и, наткнувшись на пуговицу, успокоила на ней мелко дрожащую руку.

— Ну, а это мы тут со Степой, — встревоженно метнув взгляд на мать, поспешно и даже весело сказала Пелагея. — Сразу как поженились. Это уже опосля войны. — Пелагея задержала тихий и грустный взгляд на фотографии, где она, простенько, на пробор причесанная девчонка, радостно-настороженная, едва доставала до плеча строгого, уже в летах мужчины. И уважительно, чуть дрогнувшим голосом добавила: — Со своим Степаном Петровичем...

Она помолчала, предоставляя дяде Саше поглядеть на себя молодую и на своего Степана.

— Ну, а это все двоюродные да тетки. Весь наш боковой корень. Только папы нашего здесь нет. До войны как-то не успел сняться, а потом просили-просили, чтоб с фронта прислал, так и не дождались. Все есть, а его нету...

Хозяйка взяла со стола рамку, опять отнесла ее в темную боковушку и, воротясь, подытожила:

— Четверо легло из нашего дома. А по деревне так и не счесть.

— А четвертый кто же? — спросил дядя Саша.

— А четвертый Степа мой. Мы с ним уже опосля войны поженились. Он-то до самой Германии дошел, а это потом смерть и его нашла, уже дома достала. Раны у него открылися. Перемогался, перемогался, лег в больницу, да больше и не вышел оттуда...

Лицо Пелагеи дернулось, и она быстро прошла к плите, высыпала из ведра остатки угля. Потом долго через конфорку шуровала кочергой, разгребала, уравнивала брикетины.

— Степа-то мой у себя лежит, ухоженный, — вздохнула она, не поворачиваясь от плиты. — И оградку мы ему поставили, и карточки подменяем. Я сразу десять штук увеличила, чтоб надолго хватило, пока сама жива. Да и так когда сходишь поплачешься, бабье дело... А уж как те мои родненькие лежат и где они... Ездила я года два назад поискать папину могилку. Сообщали, будто под Великими Луками он. Ну, поехала. В военкомате даже район указали. Около станции Локня. И верно, стоят там памятники. Дак под которым наш-то? Вечная слава, а кому — не написано. А может, и не под которым. Местные-то люди сказывают, будто и теперь еще из омшар да болот костяки достают... С тем и вернулась я... Ну, а Николай в морской авиации служил. — Пелагея понизила голос: — Того и искать нечего... А Леша наш до сего дня без похоронной... Я раньше тоже ждала, да что ж теперь... Столько лет прошло... Одна мама все надеется...

Старуха ревниво прислушивалась, потом подняла глаза в потолочный угол, выдохнула скорбный полушепот:

— Ох, светы мои батюшки! Ох, неприбранные лежат страдальцы наши!

— Что ты, мама! — испуганно возразила Пелагея. — Как так можно? Неприбранные! Выдумает тоже.

Дядя Саша молча курил, глядя на черные стекла ночного окна, по которым, подсвеченные из комнаты, косо чиркали трассирующие капли дождя. И опять ему привиделся тот неизвестный солдат на проволоке под дождем и пулями, синими руками просившийся к земле. И как потом осыпался он из своей шинели костьми и прахом...

А старуха, утвердив обе руки на коленях, безмолвно сидела, уставившись в малиновое поддувало, сидела так, как, наверно, привыкла за долгие годы сидеть в терпеливом ожидании чуда.

В соседней горнице девчата опять стали просить Ромку сыграть что-нибудь:

— Ну чего вы, правда! Что вам, воздуху жалко, что ли?

— Шейк? Боса-нова? — небрежно кинул Ромка.

— А играете? — обрадовались девушки.

— Спрашиваете!

— Ой, шейк, мальчики! Шейк!

— Ну как, братва, слабаем?

— Рванем!

— Ой, давайте, давайте! — Студентки забили в ладоши.

На пороге кухни появился Ромка, по-хозяйски навалясь на косяк, возбужденно сказал:

— Шеф, там девчонки шейк просят сбацать. Как смотришь?

Дядя Саша даже не понял сразу, о чем говорил ему Ромка.

Он не сразу оторвался от окна, посмотрел на него каким-то невидящим взглядом и опять отвернулся. Ромка озадаченно помолчал и спросил уже потише, поспокойней:

— Дядь Саш? А дядь Саш? Поиграть можно?

Тут подала голос старуха, она уловила Ромкин вопрос и, тронув дядю Сашу за руку, тоже попросила:

— Сыграй, милай, сыграй. У нас прежде в дому завсегда весело было. Лексей музыку любил. Он гармошку и на фронт забрал. Я ну его укорять: Леша, сынок, куда ж ты ношу такую, помеху-то? Будет ли тебе там когда играть? А он смеется: сгодится, мама, сгодится. Ну, да он и там время отыщет, он такой... Дак и Коля тоже любил... Сыграй, милай, сыграй.

Дядя Саша пристально вгляделся в старуху и услышал ее. В раздумье повернулся, посмотрел в вопрошающие Ромкины глаза, сказал негромко:

— Давай, правда, сыграем, Роман. — И убежденно добавил, вставая: — Несите-ка инструменты.

В комнате притихшие было ребята сразу загалдели, загремели стульями, живо вышли в сени за трубами. Подали и дяде Саше его черный чехол, и он вслед за Пелагеей шагнул в горницу. И старуха приковыляла, села в сторонку к окошку. Девчата уже поспешно составляли к стене стол, стулья, освобождали место под танцы.

— Ты что ж, Сим, так и будешь в тренировочном костюме?

— А что? Шейк ведь! Вон и Вера в халате.

— Я не буду, — замялась Вера. — Я не умею такие.

— Ну что ты! Чего тут уметь. Пойдем, пойдем, я тоже туфли надену.

И девушки скрылись за занавеской.

— А ты почему не взял инструмент? — Дядя Саша покосился на Сохина, в стороне жевавшего яблоко.

— Да я потанцую. Хватит вам и одного альта.

— Ты мне нужен как раз. Иди возьми.

Сохин передернул плечами, недовольно вышел.

Ребята, каждый со своим инструментом, окружив старшего, изготовились, поглядывали, как он распускал на чехле завязку, как не спеша обнажал свой прекрасный, сверкавший чистотой корнет. Делал он это как никогда торжественно, сосредоточенно, будто незрячий. Принаряженные девчата, сдержанно перего-

вариваясь, расселись возле Пелагеи, и та участливо осматривала их прически и платья.

Дядя Саша постучал ногтем по корнету.

Трубы замерли в изготовке.

И, глядя вниз, на свои пальцы, что уже лежали на клапанах, выждав паузу, он объявил, разделяя слова:

— Шопен... Соната... номер... два.

Какое-то время оркестранты смятенно смотрели на старшого, глазами, немотой своей как бы спрашивая: какая соната? При чем тут соната? Кто-то удивленно шепнул: «Чего это он?» Девчата тоже переглянулись. И только Пелагея, ничего не поняв, продолжала улыбаться и радостно ожидать музыки.

Дядя Саша опять постучал по трубе:

— Играем часть третью. Вы ее знаете.

— Ну, знаем, конечно...— сдержанно кивнул за всех Ромка.

— Прошу повнимательнее.

Он еще раз оглядел оркестр.

— Начали!

И, все еще недоумевая, думая, что произошла ошибка, оркестранты с какой-то обреченной неизбежностью грянули си-бемольный аккорд, низкий, тягучий, как глубинный подземный взрыв.

Пелагея, для которой слова «соната», «Шопен» означали просто музыку, а значит и веселье, при первых звуках вздрогнула, как от удара. Она с растерянной улыбкой покосилась на старуху, но та лишь прикрыла глаза и поудобнее положила одна на другую ревматические, сухие руки.

Дядя Саша кивком головы одобрил вступление и сделал знак повтора. Парни, все разом переведя дух и взяв чуть выше, уже уверенней, увлеченней повторили эти басовые вздохи меди. Ему было видно, как пристроившийся позади остальных Иван Бейный старательно надувал щеки, выперив смятенный взгляд в какую-то одну далекую точку.

Возле него маленький круглолицый Сева, давая отсчет тактам взмахами колотушки, отбивал тяжелую медленную поступь траурного марша. И Пашка с еще не просохшими после дождя взъерошенными волосами вторил Севе тарелками, которые всплескивались среди басов и баритонов тревожной медной звенью.

Звуки страдания тяжко бились, стонали в тесной горнице, ударялись о стены, в оконные, испуганно подрагивающие стекла.

Когда была проиграна басовая партия, вскинулись, сверкнув, сразу три корнета, наполнив комнату неутешным взрыдом.

Принаряженные девчата, потупив глаза, уставились на свои

туфли, обмякла плечами и Пелагея, и только старуха, держа большие темные руки на коленях, сидела недвижно и прямо.

Серое ее лицо, изрытое морщинами, оставалось спокойным, и можно было подумать, что она уснула под музыку и вовсе не слышит этого плача труб в ее бревенчатом вдовьем дому. Но она слышала все и теперь, уйдя, отрешившись от других и от самой себя, затаенно и благостно вбирала эту скорбь и эту печаль раненой души неизвестного ей Шопена таким же израненным сердцем матери.

И дядя Саша вспомнил, что именно об этой великой сонате кто-то, тоже великий, сказал, что скорбь в ней не по одному только павшему герою.

Боль такова, будто пали воины все до единого и остались лишь дети, женщины и священнослужители, горестно склонившие головы перед неисчислимыми жертвами...

И тут Вера, внучка, вдруг закрыв лицо руками, кинулась за занавеску.

Девушки тоже поднялись и одна по одной, ступая на носках, пошли к ней. И как проливается последний дождь при умытом солнце — уже без туч и тяжелых раскатов грома,— так и дядя Саша повел мелодию на своем корнете в тихом сопутствии одних только теноров: без литавр, басов и барабанов.

Это было то высокое серебряное соло, что, успокаивая, звучало и нежно, и трепетно, и выплаканно, и просветленно.

Освободившиеся от игры ребята — басы, баритоны — в немой завороженности следили за этим необыкновенным девичье-чистым пением дяди Сашиного корнета, звучавшим все тише и умиротвореннее. Печаль как бы истаивала, иссякала, и когда она истончилась совсем, завершившись как бы легким вздохом и обратясь в тишину, дядя Саша отнял от губ мундштук. Бледный, вспотевший, он торопливо, потерянно полез в карман за платком. Он почему-то не стал возвращаться к басовому началу, которое у Шопена повторялось в самом конце шествия. Видно, ему не хотелось заглушать свет этой успокаивающей и очищающей мелодии тяжелой эпитафией.

И когда он утер лицо и не спеша, устало принялся зачехлять трубу, в горнице все еще молчали. Было только слышно, как изредка всхлипывала за ситцевой занавеской Вера.

Старуха наконец встала и, отстранив рукой Пелагею, которая кинулась было поддержать ее, поковыляла одна, шаркая подшитыми валенками.

— Ну, вот и ладно... — проговорила она. — Хорошо сыграли... Вот и проводили наших... Спасибо.

И, остановившись посередине горницы, перекрестилась в угол.

Оркестранты молча закуривали.

Они шли к большаку непроглядным ночным бездорожьем. Все так же сыпался и вызванивал на трубах холодный невидимый дождь, все так же вязли и разъезжались мокрые башмаки.

Проходили набухшие водой низины, глухие распаханные поля, спящие деревни, откуда веяло палым садовым листом и редким дымком затухающих печей. Нигде уже не было ни огонька, и лишь недремные деревенские псы, потревоженные чавканьем ног на дороге, взахлеб брехали из глубины дворов.

Шли молча, сосредоточенно, перебрасываясь редкими словами, и старшой слышал близко, сразу же за собой, тяжелое, упрямое дыхание строя.

Как тогда, в сорок третьем...

И дядя Саша, придерживая рукой разболевшееся, глухо ноющее сердце, что донимало его последние годы, громко подбодрил оркестр:

— Ничего, ребята, ничего. Скоро дотопаем...

СОДЕРЖАНИЕ

Носов Е. И.

Н84 Усвятские шлемоносцы: Повесть, рассказы. — М.: Советский писатель, 1986. — 320 с.

В книгу известного русского советского писателя Евгения Ивановича Носова, издаваемую к 40-летию Победы, включены полюбившиеся широкому читателю произведения: повесть «Усвятские шлемоносцы», рассказы «Красное вино победы», «Во субботу, день ненастный», «И уплывают пароходы, и остаются берега», «Шопен, соната номер два».

Н $\frac{4702010200-123}{083(02)-86}$ 97—85

ББК 84.Р7

Евгений Иванович Носов

УСВЯТСКИЕ ШЛЕМОНОСЦЫ

М., «Советский писатель», 1986, 320 стр.

План выпуска 1985 г. № 97

Редактор *В. С. Рогов*

Художественный редактор *Е. И. Балашева*
Технический редактор *Н. Н. Талько*
Корректоры *Н. П. Задорнова*
и *А. В. Полякова*

ИБ № 4770

Сдано в набор 29.08.84. Подписано к печати 01.04.85. А10711. Формат 60×90¹/₁₆. Бумага офсетная № 1. Литературная гарнитура. Офсетная печать. Усл. печ. л. 20. Уч.-изд. л. 21,41. Тираж 100 000 экз. Цена 2 р. 60 к.

Ордена Дружбы народов издательство «Советский писатель», 121069, Москва, ул. Воровского, 11

Отпечатано с пленок ордена Трудового Красного Знамени Калининского полиграфического комбината Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, 170024, г. Калинин, пр. Ленина, 5.

Минская фабрика цветной печати, 220115, г. Минск, ул. Корженевского, 20. Заказ № 228

2 р. 50 к.